

ОДИН

ХАКСЛИ

ШУТОВСКОЙ ХОРОВОД



M I L L E N N I U M

Annotation

Теодору Гамбрилу опостылела его учительская жизнь. Эти бесконечные службы в школьной церкви утомительны. Но он уже знал, как ему нажить деньги. Сегодня утром во время церковной службы на него снизошло озарение. Дело в том, что скамьи в церкви слишком жёсткие. «На языке техники, — сказал Гамбрил Младший, — мои Патентованные Штаны можно описать как брюки с пневматическим сиденьем».

И Теодор Гамбрил — даже вместе со своими Патентованными Штанами — лишь часть одного большого хора, в котором вертятся его знакомые, и знакомые его знакомых, люди, так или иначе связанные с наукой или искусством.

© blin.exler.ru

-
- [Олдос ХАКСЛИ](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ГЛАВА IX](#)
 - [ГЛАВА X](#)
 - [ГЛАВА XI](#)
 - [ГЛАВА XII](#)
 - [ГЛАВА XIII](#)
 - [ГЛАВА XIV](#)
 - [ГЛАВА XV](#)
 - [ГЛАВА XVI](#)
 - [ГЛАВА XVII](#)
 - [ГЛАВА XVIII](#)
 - [ГЛАВА XIX](#)
 - [ГЛАВА XX](#)
 - [ГЛАВА XXI](#)
 - [ГЛАВА XXII](#)

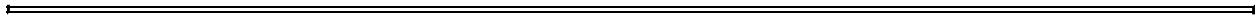
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)

- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)



Олдос ХАКСЛИ
Шутовской хоровод

ГЛАВА I

Гамбрил, Теодор Гамбрил Младший, Б. И. Оксф.,^[1] сидел на дубовой скамье в северной части школьной церкви и недоумевал, слушая первое поучение среди напряженного молчания полутысячи школьников, размышлял, глядя на широкое окно в противоположной стене, залитое синькой и желчью и кровью цветных стекол девятнадцатого столетия, теоретизировал по-своему — быстро, скачками — о существовании и природе Бога.

Стоя перед медным орлом с распростертыми крыльями и подкрепляясь в своих убеждениях шестой главой «Второзакония» (так как сегодня было первое воскресенье триместра и пятое воскресенье после Пасхи), его преподобие мистер Пслви говорил об этих вещах с завидной уверенностью.

— Слушай, Израиль, — гудел он над объемистой Библией, — Господь Бог наш, Господь един есть.

«Господь един» — мистер Пелви знал это: он изучал теологию. Но если есть теология и теософия, то почему бы не быть географии и теометрии, или теогномии, теотропии, теотомии, теогамии? Почему нет теофизики и теохимии? Почему не изобрести остроумную игрушку теотроп, или колесо богов? Почему не построить монументальный теодром?

На огромном витраже в противоположной стене юный Давид стоял на поверженном великане, как петух, кукарекающий на навозной куче. Посреди лба у Голиафа выпирал забавный нарост, похожий на прорезающийся рог нарвала. Может быть, это пущенный из пращи камень? Или намек на супружескую жизнь великана?

— ...всем сердцем твоим, — декламировал мистер Пелви, — . и всею душою твою, и всеми силами твоими.

Нет, серьезно, напомнил себе Гамбрил, разрешить этот вопрос не так-то просто. Бог как ощущение теплоты в сердце, Бог как ликование, Бог как слезы на глазах, Бог как прилив сил и мыслей — все это очень ясно. Но Бог как истина, Бог как $2 \times 2 = 4$ — это далеко не так ясно. Возможно ли, чтобы эти два бога были одно и то же? Можно ли перекинуть мост между этими двумя мирами? И может ли быть, чтобы его преподобие мистер Пелви, М. И.,^[2] бубнящий из-за спины императорской птицы, может ли это быть, чтобы он нашел ответ и ключ? Это казалось маловероятным — особенно тому, кто лично знал мистера Пелви. А Гамбрил его знал.

— И слова сип, которые я заповедую тебе сегодня, — ответил мистер Пелви, — да будут в сердце твоём.

В сердце или в голове? Отвечайте, мистер Пелви, отвечайте! Гамбрил проскочил между рогами дилеммы и высказался за другие органы.

— И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая.

«И внушай их детям твоим...» Гамбрил вспомнил свое детство: ему самому внушали не слишком-то усердно. «Тараканы, черные тараканы»: его отец страстно ненавидел священников. Другим его любимым словом было «идолопоклонники». Он был убежденным врагом церкви и атеистом старого закала. Нельзя сказать, впрочем, чтобы он очень уж ломал себе голову над подобными вопросами: он был слишком занят своим ремеслом архитектора-неудачника. Что же касается матери Гамбрила, то ее усердие не распространялось на догму. Она усердно делала добро, и только. Добро; добро? Теперь это слово произносят не иначе, как с презрительной усмешечкой. Добро. По ту сторону добра и зла? Теперь мы все по ту сторону. Или мы просто недоросли до них, как ухвертки? «Всякое дыхание да славит ухвертку».^[3] Гамбрил мысленно сделал соответствующий жест и продекламировал. Но она безусловно была доброй — это факт. Не милой, не просто *molto simpatica*^[4] — как чудесно эти иностранные словечки помогают нам называть лопату не лопатой, а как-нибудь иначе! Она была именно доброй. У тех, кто соприкасался с ней, появлялось такое чувство, точно она всем своим существом излучает доброту... Так неужели же это чувство менее реально, менее законно, чем дважды два?

Его преподобию мистеру Пелви нечего было ответить. Он с благочестивым смаком читал о «домах, наполненных всяким добром, которых ты не наполнял, и колодезях, высеченных из камня, которых ты не высекал, и виноградниках и маслинах, которых ты не садил».

Она была добрая, и она умерла, когда он был еще ребенком; умерла — но он узнал об этом гораздо позже — от незаметно подкравшейся мучительной болезни. Злокачественная опухоль — о, *saго nome!*^[5]

— Господа Бога твоего бойся, — сказал мистер Пелви.

Даже если язвы незлокачественны, ты все-таки должен бояться. Он приехал из школы повидаться с ней перед самой ее смертью. Он не знал, что она умирает, но когда вошел в комнату, когда увидел ее, бессильно распростертую на кровати, он вдруг неудержимо зарыдал. Но она проявила выдержку: она даже смеялась. И она говорила с ним. Всего несколько слов

— но в них заключена была вся мудрость, которой он должен был руководствоваться в жизни. Она говорила ему о том, каков он в действительности, и каким он должен стараться быть, и как ему сделаться таким, как нужно. И рыдая, все еще рыдая, он обещал, что будет стараться.

— И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, — сказал мистер Пелви, — дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь.

А исполнил ли он свое обещание, спросил себя Гамбрил, сохранил ли он свою жизнь?

— Здесь кончается первое поучение.

Мистер Пелви удалился от орла, и орган возвестил приближение «Te Deum».^[6]

Гамбрил поднялся: складки его бакалаврской мантии благородно заволновались на нем. Он вздохнул и помотал головой, словно отгоняя муху или назойливую мысль. Когда настало время петь, он запел. В другом конце церкви двое мальчиков пересмеивались и болтали, прикрывшись молитвенниками. Гамбрил, свирепо нахмурившись, посмотрел на них. Мальчики поймали его взгляд, и их лица сейчас же приняли тошнотворно-ханжеское выражение; они набожно запели. Два некрасивых, глупых на вид балбеса; их давно пора было обучить какому-нибудь полезному ремеслу. Но вместо этого они попусту тратили время — свое, своих учителей и своих более способных сверстников — на то, чтобы приобрести изящное литературное образование. Собаке никакой пользы, подумал Гамбрил, если учить ее по-человечьи.

— Господи, помилуй нас; Господи, помилуй.

Гамбрил пожал плечами и обернулся, разглядывая лица мальчиков. Господи, помилуй, помилуй нас, Господи, — в самом деле! Его несколько смутило то, что эта тема снова возникла, но уже в другой тональности, во втором поучении, извлеченном из Евангелия от Луки, глава 23.

— Отче! прости им, — сказал мистер Пелви своим неизменно сочным голосом, — ибо не ведают, что творят.

Да; ну, а если ведаешь, что творишь? Если, предположим, ведаешь это слишком хорошо? А ведь на самом деле «ведаешь» всегда. Не такие уж мы дураки.

Но все это ерунда, всяческая ерунда. Подумаем лучше о чем-нибудь более приятном. Как удобно было бы, например, если бы можно было приносить с собой в церковь резиновую подушку. Эти дубовые скамьи чертовски жесткие; они созданы для солидных, жирных педагогов, а не для таких костлявых заморышей, как он. Резиновая подушка, чудесный

пневматик.

— Здесь кончается, — пробубнил мистер Пелви, закрывая книгу на спине германского орла.

Как по мановению волшебной палочки, орган мистера Джолли начал Benedictus.^[7] Было положительно облегчением снова встать со скамейки: этот дуб тверд, как адамант. Но резиновые подушки, увы, — это был бы дурной пример для мальчиков. Выносливые юные спартанцы! Слушать божественное откровение без смягчающих пневматиков — это было одним из важнейших пунктов программы их воспитания. Нет, резиновые подушки не годятся. Вдруг ему пришло в голову, что идеальным средством были бы брюки с пневматическим сиденьем. На все случаи жизни, не только для церкви.

Одна из бесчисленных ноздрей органа издала тоненький звук, похожий на голос пуританского проповедника. «Верую...» Шумно, как перекачивается волна, все пятьсот голов повернулись к востоку. Вместо Давида и Голиафа все смотрели теперь на распятие в возвышенном стиле шестидесятых годов. «Отче, прости им; ибо не ведают, что творят». Нет, нет. Гамбрил предпочитал созерцать желобчатые каменные колонны, плавно поднимающиеся к сводчатому потолку по обеим сторонам большого окна в посточной стене; предпочитал размышлять, как истый сын архитектора, о том, что идеальный Перпендикуляр — а чем он выше, тем он ближе к идеалу — это самое лучшее, что есть в английской готике. Когда он невысок, а следовательно, далек от идеала, как в большинстве оксфордских колледжей, он ничтожен, неприятен и, если оставить в стороне некоторую живописность, просто безвкусен. Гамбрил чувствовал себя лектором: следующий снимок, пожалуйста. «И жизни будущего века. Аминь». Голос мистера Пелви звучал, как гобой: «Мир вам».

Для молитвы, подумал Гамбрил, должны быть пневматические наколенники. Впрочем, в те дни, когда он имел обыкновение молиться регулярно, он прекрасно обходился без них. «Отче наш...» Слова те же, что и тогда, но в исполнении мистера Пелви они звучали совсем иначе. По вечерам, когда он прижимался лбом к ее коленям, чтобы произнести эти слова — эти слова, о Господи! те самые, которые теперь мистер Пелви убивал своим похожим на гобой голосом, — платье у нее было всегда черное, шелковое, и от него пахло ирисовым корнем. А умирая, она сказала ему: «Помни притчу о сеятеле... и семена, упавшие на каменистую почву». Нет, нет! Аминь, самым решительным образом. «О Господи, буди милостив к нам», — пропел гобой Пелви, и тромбон Гамбрил ответил тоном низким и карикатурным: «И не оставь нас спасением Твоим». Ну конечно же,

пневматические колени нужны разве только членам общества религиозного возрождения и горничным; сиденье гораздо важнее. Профессий, требующих сидячего образа жизни, гораздо больше, чем таких, которые требуют коленопреклонений. Нужны плоские резиновые подушечки между тканью и подкладкой. А выше, под сюртуком, трубка с клапз-ном: вроде полого хвоста. Достаточно будет надуть ее — и самому костлявому человеку будет удобно сидеть даже на самом твердом камне. Как это греки выдерживали мраморные скамьи в театрах?

Теперь настало время для гимна. Было первое воскресенье летнего триместра; поэтому сегодня пели особый гимн, написанный директором школы на музыку д-ра Джолли специально для первых воскресений триместра. Орган спокойно набросал мелодию. Она была проста, возвышенна и мужественна.

Раз, два, три, четыре; раз, два ТРИ — 4.

Раз, два — и три — и четыре — и; Раз, два ТРИ — 4

РАЗ — 2, ТРИ — 4; РАЗ — 2 — 3 — 4

и раз — 2, ТРИ — 4; РАЗ — 2 — 3 — 4.

Раз, два — и три, четыре; Раз, два ТРИ — 4.

Пятьсот ломающихся мальчишечьих голосов подхватили мотив. Чтобы не подавать дурного примера, Гамбрил открывал и закрывал рот, но — беззвучно. Только на третьем стихе он дал волю своему сомнительному баритону. Ему особенно нравился третий стих; по его мнению, этот стих был величайшим достижением директора на поэтическом поприще.

(О Кто бездельник (dim.) и ленив,

(ml) Козней дьявола страшишь,

(IT) Чтоб тебя не ввергли в ад.

Здесь д-р Джолли сопровождал основную мелодию глухими аккордами в нижних регистрах, долженствовавшими изображать всю глубину, мрачность и отталкивающий вид обители сатаны.

(П) Чтоб тебя не ввергли в ад,
(О Ты трудись, (dim.) В труде (pp) молись.

Труд, думал Гамбрил, труд. Боже, как страстно он ненавидел труд! Пусть Остин трудится, сколько ему положено! Ах, если бы у него была своя самостоятельная работа, по вкусу, приличная работа, а не такая, какой приходится заниматься ради того, чтобы не умереть с голоду! Аминь! Д-р Джолли выпустил в воздух две пышных струи благоговейных звуков; Гамбрил аккомпанировал ему всем своим сердцем. Аминь, и точка.

Гамбрил снова сел. «Пожалуй, было бы удобней, — подумал он, — если бы хвост был настолько длинным, чтобы можно было надувать брюки, когда они надеты. В этом случае хвост придется обвертывать вокруг талии, как пояс; или нет, пожалуй, лучше сделать его петлей и прицеплять к подтяжкам».

— Девятнадцатая глава Деяний апостолов, стих тридцать четвертый, — загремел с кафедры громкий, резкий голос директора. — «Закричали все в один голос и около двух часов кричали: велика Артемида Ефесская!»

Гамбрил устроился как можно удобней на дубовой скамье. Видимо, предстоит одна из действительно головокружительных проповедей директора. Велика Артемида. А Афродита? О, эти скамьи, эти скамьи.

К вечерней службе Гамбрил не пошел. Он остался дома, чтобы проверить выпавшие на его долю шестьдесят три каникулярные письменные работы. Они лежали штабелями на полу возле кресла: шестьдесят три ответа на десять вопросов о Рисорджименто.^[8] И надо же было выдумать — Рисорджименто! Это был один из директорских капризов. В конце предыдущего триместра он созвал специальное собрание учителей, чтобы рассказать им все о Рисорджименто. Это было его последнее открытие.

— Рисорджименто, господа, является самым значительным событием в новейшей истории Европы. — И он стукнул по столу и вызывающе оглядел всех собравшихся: не вздумает ли кто-нибудь возражать?

Но никто ему не возражал. Никто никогда не возражал ему: все знали характер директора. Он был столь же свиреп, как и капризен. Он вечно делал какие-нибудь открытия. Два триместра тому назад это было подпаливание: после стрижки и до мытья головы необходимо подпалить волосы.

— Волос, господа, это трубка. Если его обрезать и оставить кончик

открытым, вода проникнет внутрь и трубка загниет. Поэтому, господа, такое большое значение имеет подпаливание. Подпаливая волосы, мы закрываем кончик трубки. Завтра, после утренней службы, я обращусь к мальчикам с речью на эту тему, и я надеюсь, что все классные наставники, — и он обвел всех присутствующих суровым взглядом из-под нависших бровей, — будут следить за тем, чтобы все мальчики регулярно подпаливали себе волосы после стрижки.

После его речи в течение нескольких недель все ученики, проходя, оставляли за собой удушливый и тошнотворный запах паленого, точно все они только что вышли из ада. Теперь это было Рисорджименто. А как-нибудь на днях, подумал Гамбрил, это будет мальтузианство, или десятичная система, или рациональная одежда.

Он взял первую попавшуюся пачку работ. К большинству из них были припилены отпечатанные вопросы.

«Дайте краткое описание характера и деятельности папы Пия IX, со всеми известными вам датами».

Гамбрил откинулся на спинку кресла и принялся размышлять о своем собственном характере, с датами. 1896: первая серьезная, сознательная и преднамеренная ложь. «Это ты разбил вазу, Теодор?» — «Нет, мама». Ложь эта лежала у него на совести почти целый месяц, мучая его все больше и больше. Наконец он сознался. Или, вернее, он не сознался: это было бы слишком трудно. Он вел нить разговора — очень тонко, как ему тогда казалось, — от вопроса о непластичности стекла через вопрос о поломках вообще к вопросу об именно этой разбитой вазе, он, по существу, заставил мать спросить его вторично. И тогда он разразился слезами и ответил: «Да». Ему всегда трудно было говорить о чем бы то ни было прямо, без подготовки. Его мать сказала ему, умирая... Нет, нет; не нужно об этом.

В 1898-м или 1899-м — ох уж эти мне даты! — он заключил со своей маленькой кухней Молли договор, согласно которому она должна была показать ему себя совсем раздетой, если он, со своей стороны, сделает перед ней то же самое. Она выполнила свое обязательство, а он, в припадке охватившего его в последнюю минуту стыда, нарушил свое обещание.

Затем, когда ему было, вероятно, лет двенадцать и он еще учился в начальной школе, в 1902-м или 1903-м, он провалился на экзамене, причем сделал это нарочно: он боялся своего одноклассника Садлера, который хотел получить награду. Садлер был сильнее, чем он, и гениально умел преследовать. Он провалился так позорно, что огорчил свою мать; а объяснить причину было невозможно.

В 1906-м он впервые влюбился — и гораздо более страстно, чем когда

бы то ни было впоследствии, — в одного из своих сверстников. Любовь эта была глубокой и платонической. В тот триместр он тоже учился плохо, но не нарочно, а из-за того, что помощь юному Виккерсу отнимала массу времени. Виккерс был дурак дураком. В следующем триместре он появился (подрастающему поколению) весь в пятнах и прыщах. Страсть Гамбрила улетучилась так же внезапно, как возникла. В этот триместр он, помнится, получил вторую награду.

Однако пора было подумать серьезно о Pio попо.^[9] Со вздохом отвращения и усталости Гамбрил взглянул на сочинения. Что мог сказать о первосвященнике Фалароп Старший? «Пий IX звали Ферретти. До того как стать папой, он был либералом. Добродушный человек с низесредними умственными способностями, он думал, что можно разрешить все трудности при помощи доброй воли, небольших реформ и политической амнистии. Он написал несколько энциклик и один силлабус».^[10] Фраза о низесредних умственных способностях привела Гамбрила в восторг: Фалароп Старший получит по крайней мере на единицу больше за то, что так хорошо заучил все это наизусть. Он обратился к следующему сочинению. Хиггс придерживался того мнения, что «Пий IX был добрым, но глупым человеком, который думал, что он может осуществить Рисорджименто при помощи небольших реформ и политической амбиции». Бид-дос проявил большую суровость. «Пий IX был нехороший человек, который сказал, что он непогрешим, а это показывает, что у него были низесредние умственные способности». Сопуит Младший разделял общепринятое мнение об умственных способностях Пия и обнаруживал близкое знакомство с неверными датами. Клегг-Уэллер был многословен и охотно выставлял напоказ свои познания. «Пий IX был не так умен, как его первый министр, кардинал Антонелли. Когда он вступил на папский престол, он был либералом. Меттерних сказал, что он никогда не рассчитывал на либерального папу. Тогда он сделался консерватором. Он был добрый, но не умный, и думал, что Гарибальди и Кавур удовольствуются небольшими реформами и амнистией». Наверху работы Гарстенга было написано: «Во время каникул я болел корью и успел прочесть только первые тридцать страниц книги. О папе Пии IX ничего не говорится на этих страницах, содержание которых я здесь вкратце изложу». Вслед за этим следовало краткое изложение. Гамбрил с удовольствием поставил бы ему высший балл. Но деловитый ответ Эплярда напомнил ему о его долге. «Пий IX стал папой в 1846-м и умер в 1878-м. Он был добрый человек, но его умственные способности были ниже...»

Гамбрил отложил сочинение и закрыл глаза. Нет, это просто невыносимо. Продолжаться дальше так не может, не может. В летнем триместре тринадцать недель, в осеннем снова тринадцать, а в весеннем одиннадцать или двенадцать; а потом опять летние тринадцать, и так далее до бесконечности, до бесконечности. Так больше нельзя. Он уедет и станет жить в нужде на свои триста фунтов в год. Или нет, он уедет и примется наживать деньги — да, это будет правильней, — наживать деньги, в большом количестве и без большого труда; он будет свободен, и он будет жить. Это будет впервые, что он заживет. Закрыв глаза, он видел себя живущим.

Вот он идет по устланным плюшем полам какого-нибудь обширного и развратного «Ритца»,^[11] медленно, непринужденно, уверенно; по устланным плюшем полам, а там, в конце длинной анфилады, там Майра Вивиш, — на этот раз она ждет его: в нетерпении устремляется к нему навстречу, теперь уже униженно любящая его, а не холодная, свободная, смеющаяся любовница, как-то раз презрительно уступившая его страстной и безмолвной настойчивости, а затем, через день, вновь отнявшая у него свой дар. По устланным плюшем полам — обедать. Нельзя сказать, чтобы он по-прежнему был влюблен в Майру, но месть сладка.

Вот он сидит в своем собственном доме. Китайские изваяния смотрят из ниш; статуи Майоля страстно предаются созерцанию, дремлют и кажутся более чем живыми. Картины Гойи висят по стенам, в ванной красуется Буше; а когда он входит со своими гостями — какой чудесный Пьяцетта^[12] красуется над камином в столовой! Прихлебывая старое вино, они ведут беседу, и он знает все, что знают они, и даже гораздо больше: он дает им, он вдохновляет, а они усваивают и обогащаются. После обеда исполняются квартеты Моцарта; он раскрывает папки и показывает своих Домье, своих Тьеполо, свои этюды Каналетто, свои рисунки Пикассо и Льюиса и чистоту линий своих обнаженных Энгров. А потом, уж если говорить об одалисках, идут оргии, без усталости и пресыщения, а женщины — как картины — само наслаждение, искусство.

По пустынным равнинам сорок лошадиных сил мчат его к Мантуе, рабадуб-адубадуб, с выключенным глушителем. К самому романтическому городу на свете.

Когда он говорит с женщинами — как непринужденно и дерзко говорит он теперь! — они слушают и смеются и лукаво смотрят на него из-под опущенных век, и в их взгляде сквозит согласие, призыв. Когда-то он сидел с Филлис — бог знает как долго — в теплой и безлунной тьме, не

говоря ни слова, не решаясь сделать ни одного жеста. И в конце концов они расстались, нехотя и все так же безмолвно. Теперь Филлис снова с ним, среди летней ночи; но на этот раз он говорит то нежно, то требовательно, еле слышным, полным желания шепотом, протягивает руки и берет ее, и она лежит обнаженная в его объятиях. Все случайные встречи, все приключения, какие он замыслил, повторяются вновь; теперь он знает, как жить, как пользоваться ими.

По пустынным равнинам к Мантуе, к Мантуе мчится он — легко, свободно, один. Он исследует ужасы римского общества: посещает Афины и Севилью. С Унамуно и Папини он непринужденно беседует на их родном языке. Он понял в совершенстве и без всяких усилий квантовую теорию. Своему другу Ши-руотеру он пожертвовал полмиллиона на физиологические исследования. Он посетил Шенберга и уговаривает его писать еще более хорошую музыку. Он доказывает политическим деятелям, как глубоко они невежественны и испорчены; он заставляет их работать ради спасения, а не гибели человечества. Когда раньше ему как-то пришлось выступить с речью, он нервничал так, что ему стало дурно; тысячи людей, внимающие ему теперь, склоняются подобно колосьям под ветром его красноречия. Но лишь мимоходом, изредка он берет на себя труд потрясать их. Теперь он с необычайной легкостью находит общий язык со всеми, кого встречает, он понимает все точки зрения, он умеет проникнуться духом самых чуждых ему людей. И Он знает, как кто живет, что значит быть ткачихой, мусорщиком, машинистом, евреем, англиканским епископом, мошенником. Раньше он привык беспрекословно примиряться с тем, что его вечно надувают и одергивают; теперь он постиг искусство быть грубым. Он как раз ставил на свое место того нахального портье в «Континентале», который объявил, что десять франков — это слишком мало (и который, если быть верным истории, получил еще пять), когда его квартирная хозяйка постучала, открыла дверь и сказала: «Пожалуйста обедать, м-р Гамбрил».

Слегка стыдясь того, что его застали за таким, с точки зрения его новой жизни, неблагородным и банальным занятием, Гамбрил спустился к своей жирной котлетке с зеленым горошком, Это был его первый обед с тех пор, как он дал волю своему воображению; и несмотря на все злополучное сходство этого обеда со всеми прежними, он ел этот обед в приподнятом и торжественном настроении духа, точно приобщаясь к таинству. Мысль о том, что наконец-то, наконец-то он делает что-то со своей жизнью, наполняла его энергией.

Доев котлетку, он поднялся к себе наверх и, наполнив два чемодана и

дорожный мешок своим наиболее ценным имуществом, принялся сочинять письмо к директору. Конечно, он мог бы уехать и без письма. Но ему казалось, что будет благородней, будет больше соответствовать его новому образу жизни, если он, уйдя, оставит оправдание — или, вернее, не оправдание, а обличение. Он взял ручку и стал обличать.

ГЛАВА II

Гамбрил Старший занимал высокий, узкоплечий и рахитичный дом на маленькой, незаметной площади, недалеко от Паддингтона. В доме было пять этажей и полуподвал, населенный тараканами, и почти сто ступеней, сотрясающихся, когда кто-нибудь чересчур быстро сбегал по ним. Это был преждевременно состарившийся и одряхлевший дом среди одряхлевшего квартала. Площадь, где он стоял, медленно, но верно приходила в упадок. Дома, которые несколько лет тому назад были заняты целиком почтенными семьями, теперь были разбиты на множество убогих квартирок, и орды ребятишек из близлежащих трущоб (которых, подобно многим другим неприятным вещам, буржуазные семейства умели не замечать) прибегали резвиться на некогда запретные для них тротуары.

Мистер Гамбрил был едва ли не последним из оставшихся здесь прежних обитателей. Он любил свой дом и любил свою площадь. Социальный упадок не коснулся четырнадцати платанов, украшающих маленький садик, и дикая прыготня грязных ребятишек не распугала скворцов, в летнее время каждый вечер устраивающихся на ночлег в ветвях деревьев.

В ясные вечера он обычно сидел на балконе, ожидая прилета птиц. И как раз на закате, когда небо становится особенно золотым, сверху раздавался щебет, и черные стаи бесчисленных скворцов пролетали над домом, направляясь после дневной охоты к месту ночлега, который они так капризно выбрали и которого так упорно держались год за годом, пренебрегая всеми остальными скверами и садами этого района. Почему выбор пал именно на эти четырнадцать платанов, м-р Гамбрил так и не мог понять. Вокруг было сколько угодно более обширных и более тенистых садов, но они оставались без птиц, между тем как каждый вечер от большой стаи отделялся верный его дому легион и шумно рассаживался на его деревьях. Они сидели и болтали до тех пор, пока сумерки не сменялись темнотой; иногда, без всякой видимой причины, все птицы внезапно умолкали, а потом, через несколько секунд, напряженное молчание снова сменялось, так же внезапно и бессмысленно, взрывом шумной болтовни.

Скворцы были самыми любимыми друзьями мистера Гамб-рила; не раз, в предательские летние вечера, наблюдая за ними с балкона и слушая их разговоры, он схватывал простуду или заболел ревматизмом, укладывавшим его в постель на долгие мучительные часы. Но эти мелкие

неприятности не охлаждали его привязанности к птицам; и каждый вечер, который можно было назвать хорошим, он сидел до наступления темноты на балконе и с увлечением смотрел сквозь круглые очки на четырнадцать платанов. Ветер раздувал его седые волосы, и длинные редкие пряди падали ему на лоб и на очки; тогда он нетерпеливо встряхивал головой, и его костлявая рука, перестав на минуту расчесывать и сучить жидкую седую бородку, откидывала назад растрепавшиеся пряди и приводила в порядок взлохмаченную голову. Скворцы болтали, рука снова сучила и расчесывала бородку; еще порыв ветра; потом наступала темнота, и газовые фонари на площади освещали свисающие наружу листья платанов, изумрудным светом озаряли кусты бирючины за решеткой сквера; дальше, за ними, была непроницаемая ночь; вместо подстриженного газона и клумб с геранями там была тайна, там были бездонные глубины. И только тогда наконец замолкали птицы.

Мистер Гамбрил вставал со своего чугунного кресла, расправлял руки и отекавшие, застывшие ноги, входил через стеклянную дверь в комнату и принимался за работу. Птицы были для него развлечением; когда они замолкали, можно было заниматься, более серьезными вещами.

Сегодня, впрочем, он не работал: каждое воскресенье вечером его старый друг Портьюз приходил к нему пообедать и поболтать о том о сем. Гамбрил Младший, явившись неожиданно в полночь, застал их перед газовым камином в кабинете отца.

— Дорогой мой, какими судьбами? — При входе сына Гамбрил Старший взволнованно вскочил с места. Тонкие шелковистые волосы заколыхались, превратились на мгновение в серебряный ореол и снова улеглись.

Мистер Портьюз продолжал сидеть, невозмутимый и солидный, как почтовый ящик. Он носил монокль на черной ленте, черный галстук шалью, над двойными складками которого виднелась узкая полоска белого крахмального воротничка, двубортный черный сюртук, светлые клетчатые брюки и лакированные ботинки с матерчатым верхом. Мистер Портьюз очень следил за своей внешностью. Встретив его в первый раз, вы ни за что не догадались бы, что мистер Портьюз специалист по поздней латинской поэзии; и он был бы очень доволен, что вы не догадались. Рядом с мистером Портьюзом Гамбрил Старший, худоша-вый, сутулый и поджарый, казался в своем свободном, помятом костюме каким-то живым пугалом.

— Какими судьбами? — повторил свой вопрос старый джентльмен. Гамбрил Младший пожал плечами.

— Мне стало скучно, и я решил бросить службу. — Он говорил деланно-небрежным и легкомысленным тоном. — Как поживаете, мистер Портыюз?

— Благодарю вас, как всегда, хорошо.

— Ну что ж, — сказал Гамбрил Старший, снова усаживаясь в кресло, — должен сказать, что меня это не удивляет. Гораздо удивительней то, что ты выдержал так долго, хотя педагогика вовсе не твое призвание. Не понимаю, что заставило тебя сделаться учителем. — Он посмотрел на сына сначала сквозь очки, потом поверх них, но мотивы поведения Гамбрила Младшего так и остались для него неясными.

— А что же мне оставалось делать? — спросил Гамбрил Младший, пододвигая кресло к камину. — Ты дал мне педагогическое образование, а потом умыл руки. Никакого выбора, никаких перспектив. Другого выхода не было. А теперь ты же меня и упрекаешь.

Мистер Гамбрил сделал нетерпеливый жест.

— Перестань говорить глупости, — сказал он. — Единственный смысл такого воспитания, какое получил ты, — что оно дает молодому человеку возможность понять, что, собственно, его интересует. По-видимому, ничто не интересовало тебя настолько...

— Меня интересует все, — перебил Гамбрил Младший.

— Что в конце концов сводится к тому же, — в скобках добавил отец. И он продолжал с того места, на котором его прервали: — Ничто не интересовало тебя настолько, чтобы ты захотел посвятить себя этому. Вот почему ты обратился к последнему прибежищу слабых умов, получивших классическое образование, и сделался учителем.

— Полегче, полегче, — сказал мистер Портыюз. — Я сам тоже немножко преподаватель; прошу не нападать на мою профессию.

Гамбрил Старший перестал сучить бородку и откинул волосы, порывом негодования сброшенные ему на глаза.

— Я нападаю вовсе не на профессию, — сказал он. — Совсем нет. Преподавание заслуживало бы всяческих похвал, если бы все те, кто посвящает себя этой профессии, так же интересовались им, как вы, Портыюз, вашей работой или я — моей. Все дело портят такие неустойчивые субъекты, как Теодор. До тех пор, пока все учителя не будут гениями и энтузиастами, никто никогда не научится ничему — кроме того, что он изучает сам.

— И все-таки, — сказал мистер Портыюз, — я очень жалею, что мне пришлось так много учиться самому. Я потратил массу времени, стараясь узнать, как приняться за работу и где найти то, что мне нужно.

Гамбрил Младший закурил трубку.

— Я пришел к заключению, — заговорил он, раскуривая трубку, — что большинство людей... вообще не следовало бы... ничему учить. — Он бросил спичку. — Да простит нас Бог, но ведь они же собаки. Какой смысл учить их чему бы то ни было, кроме умения вести себя прилично, работать и повиноваться? Факты, теории, мировые истины — какая им польза от всего этого? Учить их понимать — да ведь это же только запутывать их; они из-за этого перестают воспринимать простую видимую реальность. Только один процент учащихся, не больше, извлекает какую-нибудь пользу из научного или литературного образования.

— К этому проценту ты причисляешь и себя? — спросил его отец.

— Само собой разумеется, — ответил Гамбрил Младший.

— Возможно, что вы не так уж далеки от истины, — сказал мистер Портьюз. — Когда я думаю о своих детях, скажем... — Он вздохнул. — Я думал, что их будет интересовать то, что интересовало меня; но их ничто не интересует — им нравится только одно: вести себя подобно обезьянам, и к тому же не слишком человекообразным. В возрасте моего старшего сына я просиживал целые ночи над латинскими текстами. А он просиживает — вернее, простаивает, прогуливает, проплясывает — целые ночи за танцами и выпивкой. Помните св. Бернарда? «*Vigilet tota nocte luxuriosus non solum patienter*» (только аскеты и школяры терпеливо наблюдают); «*sed et libenter, ut suam expleat voluptatem*».^[13] То, что умный человек делает из чувства долга, дурак делает для забавы. А как я старался заставить его полюбить латынь!

— Да, но зато вы не старались, — сказал Гамбрил Младший, — напичкать его историей. Вот это — единственный непростительный грех. А я как раз этим и занимался вплоть до сегодняшнего вечера: заставлял пятнадцати- и шестнадцатилетних мальчиков специализироваться на истории, заставлял их определенное число часов в неделю читать обобщения плохих писателей на темы, обобщать которые позволяет нам только наше невежество; учил их воспроизводить эти обобщения в гнусных сочиненьицах; а по существу — отравлял их мозги тухлой, безвкусной жвачкой; просто возмутительно. Если этих тварей и нужно учить, то, уж во всяком случае, чему-нибудь твердому и определенному. Латынь — прекрасно. Математика, физика. Пускай себе читают историю для развлечения. Но, Бога ради, не превращайте ее в краеугольный камень образования!

Гамбрил Младший говорил с величайшей серьезностью, точно школьный инспектор, делающий доклад. Он глубоко перегрелся, о чем

говорил; он всегда глубоко переживал все темы своих разговоров, пока говорил.

— Сегодня вечером я написал директору большое письмо о преподавании истории, — добавил он. — Это очень важно. — Он задумчиво покачал головой. — Очень важно.

— *Nota novissima, tempora pessima sunt, vigilemus,*^[14] — отозвался мистер Портьюз словами св. Петра Домианского.

— Совершенно верно, — поддержал его Гамбрил Старший. — И если уж говорить о тяжелых временах — разреши спросить тебя, Теодор, что ты намерен делать в дальнейшем?

— Я начну с того, что немного разбогатею.

Гамбрил Старший положил руки на колени, подался всем телом вперед и расхохотался. Смех у него был низкий, похожий на удары колокола; казалось, это квакает очень музыкальная большая лягушка.

— Ничего у тебя не выйдет, — сказал он и покачал головой так энергично, что волосы упали ему на глаза. — Ничего не выйдет. — И он снова захохотал.

— Чтобы разбогатеть, — сказал мистер Портьюз, — нужно интересоваться деньгами.

— А его они не интересуют, — сказал Гамбрил Старший. — Так же, как и всех нас.

— Когда мне приходилось очень тяжело, — продолжал мистер Портьюз, — мы жили по соседству с одним русским евреем-скорняком. Вот он так действительно интересовался деньгами. Они были его страстью, его блаженством, его идеалом. Он мог бы жить спокойно, в довольстве, и все-таки отложить себе кое-что на старость. Но ради своего высокого идеала он страдал больше, чем Микеланджело ради своего искусства. Он работал по девятнадцати часов в сутки; остальные пять он спал у себя под прилавком, в грязи, дыша вонью и волосною пылью. Теперь он разбогател, но со своими деньгами он ничего не делает, не хочет делать, или, вернее, не умеет. Он не стремится ни к власти, ни к наслаждениям. Его страсть к наживе была совершенно бескорыстной. Как страсть к науке у броунинговского «Грамматика». Я искренно восхищаюсь им.

Страстью самого мистера Портьюза были стихи Ноткера Бальбула и святого Бернарда. Почти двадцать лет пришлось ему жить вместе с семьей в одном доме с евреем-скорняком. Но он говорил, что ради Ноткера стоило пойти на это; ради Ноткера стоило мириться и с малокровием жены, работавшей сверх сил, и с жалким видом истощенных и оборванных детей. Он только поправлял монокль и продолжал жить, как жил. Случалось и так,

что монокля и аккуратного, приличного костюма бывало недостаточно, чтобы сохранять хорошее настроение. Но теперь эти времена прошли; Ноткер принес ему наконец нечто вроде славы, а также, между прочим, и некоторую обеспеченность.

Гамбрил Старший снова обратился к сыну.

— А как ты собираешься разбогатеть? — спросил он. Гамбрил Младший объяснил. Он обдумал все это в кебе, по дороге с вокзала.

— Это пришло ко мне сегодня утром, — сказал он, — в церкви, во время службы.

— Возмутительно! — вставил Гамбрил Старший с неподдельным негодованием. — Возмутительны эти средневековые пережитки в школах! Церковь, действительно!

— Это пришло ко мне, — продолжал Гамбрил Младший, — как откровение, внезапно, как божественное вдохновение. Мне пришла в голову величественная и прекрасная идея — идея Гам-бриловских Патентованных Штанов.

— А что такое Гамбриловские Патентованные Штаны?

— Благоедеяние для тех, кого профессия вынуждает вести сидячий образ жизни. — Гамбрил Младший уже составил в уме проспект и первые объявления: — Неоценимое удобство для всех путешественников, изобретенный цивилизацией суррогат стеатопигии,^[15] необходимый завсегдатаям премьер, любителям концертов и...

— *Lectulus Dei floridus*, — возгласил мистер Портьюз, — *Gazophylacium Ecclesiae*, *Cithara benesonans Dei*, *Cymbalum jubilationis Christi*, *Promptuarium mysteriorum fidei*, *ora pro nobis*.^[16] Ваши штаны неотразимо напоминают мне литании, которые я когда-то сочинял, Теодор.

— Мы требуем технического описания, а не литаний, — сказал Гамбрил Старший. — Что такое Гамбриловские Патентованные Штаны?

— На языке техники, — сказал Гамбрил Младший, — мои Патентованные Штаны можно описать как брюки с пневматическим сиденьем, надуваемым при помощи трубки, снабженной вентилем; все вместе сконструировано из прочной красной резины, не имеет швов и заключено между верхом и подкладкой.

— Должен сказать, — заметил Гамбрил Старший тоном несколько ворчливого одобрения. — что мне приходилось слышать о худших изобретениях. Вы слишком полны, Портьюз, чтобы оценить эту идею. Мы, Гамбрилы, народ костлявый.

— Когда я возьму патент, — продолжал его сын очень деловито и

холодно, — я либо продам его какому-нибудь капиталисту, либо сам займусь его коммерческой эксплуатацией. В обоих случаях я разбогатею, чего, по совести сказать, не сумел сделать ни ты, ни все остальные Гамбрилы.

— Совершенно верно, — сказал Гамбрил Старший, — совершенно верно. — И он весело засмеялся. — Да и ты не сумеешь. Будь благодарен своей несносной тетке Фло за то, что она оставила тебе триста фунтов ренты. Они тебе еще пригодятся. Но если ты в самом деле хочешь стать капиталистом, — продолжал он, — я могу познакомить тебя с одним человечком. Он страдает манией покупать тюдоровские дома и делать их еще более тюдоровскими. Я разобрал на части штук шесть полуразвалившихся домишек и снова собрал их для него — с небольшими вариациями.

— Не внушает доверия, — сказал его сын.

— Ах, но это же только его слабость. Он этим развлекается. Он занимается... — Гамбрил Старший замялся.

— Чем же он занимается?

— Да, пожалуй, всем на свете. Патентованными средствами, коммерческими газетами, товарами обанкротившихся табачников — да мало ли еще чем; он рассказывал мне о такой массе вещей. Он порхает, как мотылек в поисках меда, или, вернее, денег.

— И он их находит?

— Он исправно платит мне гонорар, покупает все новые тюдоровские дома и угощает меня завтраками у Ритца. Больше я ничего не знаю.

— Что ж, попробуем — попытка не пытка.

— Я напишу ему, — сказал Гамбрил Старший. — Его фамилия Болдеро. Он или поднимет тебя на смех, или воспользуется твоей идеей и ничего тебе не заплатит. Но если, — он посмотрел на сына поверх очков, — если ты, сверх всяких ожиданий, станешь когда-нибудь богатым; если, если, если... — и, как бы подчеркивая всю несбыточность своего предположения, он при каждом новом повторении этого слова еще выше поднимал брови и еще энергичнее размахивал левой рукой, — итак, если — на этот случай у меня есть для тебя замечательная вещица. Посмотри, какая чудесная идея пришла мне в голову сегодня утром. — Он сунул руку в карман сюртука и, немного порывшись, извлек сложенный вчетверо лист бумаги, на котором был набросан перспективный план дома. — Для человека с лишними восемью или десятью тысячами фунтов это было бы — это было бы... — Гамбрил Старший пригладил волосы и замялся, подыскивая выражение достаточно сильное, чтобы его можно было

приложить к его идейке, — пожалуй, это было бы слишком хорошо для любого толстопузого черта с лишними восемью или десятью тысячами.

Он передал лист Гамбрилу Младшему, который взял его и вытянул руку так, чтобы рисунок был виден и ему, и мистеру Портьюзу. Гамбрил Старший поднялся с кресла и, став позади, принялся объяснять рисунок.

— Понимаете, какова моя мысль, — сказал он, опасаясь, что его могут не понять. — В центре трехэтажный корпус, а по обеим сторонам одноэтажные флигеля, кончающиеся павильонами в два этажа. На плоских крышах флигелей можно разбить сады: видите, с севера их защищает стена. В восточном флигеле — кухня и гараж, в восточном павильоне — комнаты для прислуги. Западный — библиотека; его фасад — лоджия с аркадами. Над восточным павильоном вместо тяжелой надстройки — открытая ротонда на кирпичных колоннах. Видите? А вдоль всего главного корпуса на уровне второго этажа тянется балкон испанского типа; изумительная горизонталь. Что же касается перпендикуляров, то здесь имеются углы и поднятые панели. А по крыше флигелей с той стороны, где висячий сад не защищен стеной, идет балюстрада. Все это из кирпича. Это вид со стороны сада; передний фасад, с улицы, тоже будет замечателен. Ну как, нравится?

Гамбрил Младший кивнул.

— Очень, — сказал он.

Его отец вздохнул и, взяв рисунок, положил его обратно в карман.

— Постарайтесь разбогатеть как можно скорей, — сказал он. — И вы, Портьюз, и ты. Я столько лет ждал случая построить вам великолепный дом.

Мистер Портьюз рассмеялся и встал с кресла.

— И прождете еще столько же, дорогой Гамбрил, — сказал он. — Ибо мой великолепный дом будет построен не на этом свете, а жить вам осталось еще очень, очень долго. Очень, очень долго, — повторил мистер Портьюз и тщательно застегнул свой двубортный сюртук, тщательно, словно пригоняя точный инструмент, вставил в глаз монокль. Потом, очень прямо и четко, похожий не то на солдата, не то на почтовый ящик, он зашагал к двери. — Я что-то поздно засиделся у вас сегодня, — сказал он. — Бессовестно поздно.

Парадная дверь тяжело закрылась за мистером Портьюзом. Гамбрил Старший вернулся в большую комнату на втором этаже, приглаживая волосы, опять растрепавшиеся, пока он стремительно подымался по лестнице.

— Хороший он малый, — сказал он о только что ушедшем госте, —

замечательный малый.

— Замечательней всего монокль, — сказал Гамбрил Младший, по-видимому, без всякой связи с предыдущим. Но его отец сейчас же уловил эту связь.

— Думаю, без монокля он не мог бы прожить. Это его символ, его знамя. Бедность невзрачна и отнюдь не прекрасна. Но с моноклем это выглядит иначе, понимаешь? Я страшно благодарен судьбе за то, что у меня было небольшое состояние. Иначе я не протянул бы. Для этого нужна сила — больше силы, чем есть у меня. — Он захватил бородку рукой у самого подбородка и на мгновение замолчал, погруженный в размышления. — У профессии Портюза есть одно преимущество, — задумчиво продолжал он, — можно работать в одиночку, без сотрудников. Он может не обращаться ни к кому за помощью, не иметь ни с кем дела, когда ему этого не хочется. С архитектурой гораздо трудней. Она не может оставаться частным делом архитектора; раньше, чем удастся что-нибудь сделать, придется претерпевать столько всяческих мытарств с клиентами, с подрядчиками, со всей этой публикой. Просто возмутительно! Я не умею ладить с людьми. Я не люблю людей, не люблю, — с силой повторил мистер Гамбрил. — Мне трудно с ними сговариваться: это не мое дело. Мое дело — архитектура. Но так редко удается заняться ею на практике. Очень редко.

Гамбрил Старший грустно улыбнулся.

— И все-таки, — сказал он, — кое-что я могу сделать. У меня есть талант, у меня есть воображение. Этого у меня никто не отнимет. Пойдем посмотрим, что я недавно сделал.

Он первым вышел из комнаты и взбежал, шагая через две ступеньки, на верхний этаж. Он открыл дверь комнаты, которая в порядочном доме служила бы спальней для хозяев, и скользнул в темноту.

— Только не врывайся сюда, — окликнул он сына, — Бога ради, не врывайся сюда. Ты все переломаешь. погоди, пока я не зажгу свет. Вечно эти ослы монтеры поставят выключатель где-нибудь за дверью, где его ни за что не сыщешь.

Гамбрил Младший слышал, как отец натывается в темноте на какие-то предметы; потом зажегся свет. Он вошел в комнату.

Вся ее обстановка состояла из двух длинных столов. На столах, на камине и на полу были разбросаны, как элементы рассыпавшегося на составные части города, бесчисленные макеты зданий. Здесь были соборы, здесь были ратуши, университеты, публичные библиотеки, здесь было три или четыре элегантных маленьких небоскреба, здесь были торговые

помещения, огромные склады, фабрики и, наконец, десятки великолепных загородных поместий со ступенчатыми садами, наружными лестницами, фонтанами и орнаментальными прудами и каналами с величаво переброшенными через них мостами, с причудливыми павильонами и беседками.

— Ну, не прекрасны ли они? — с энтузиазмом обратился Гам-брил Старший к сыну. Растрепанные пряди длинных седеющих волос колыхались над головой, очки сверкали, а за ними восторженно горели глаза.

— Прекрасны, — согласился Гамбрил Младший.

— Когда ты разбогатеешь, — сказал отец, — я построю тебе дом в таком вот духе. — И он показал на небольшой поселок из загородных вилл, сгруппировавшихся на конце длинного стола, вокруг собора, грандиозного и величественного, как собор Св. Петра. — Взгляни вот на этот, скажем. — Он ловко пробрался в другой конец комнаты, схватил небольшую настольную лампу, стоявшую на камине между вокзалом и баптистерием, и так же быстро вернулся, зацепив длинным проводом от лампы верхушку одного из небоскребов, стоявших перед камином. — Взгляни, — повторил он, — взгляни. — Он вставил штепсель и сказал, двигая лампу вправо и влево, вверх и вниз перед фасадом миниатюрного дворца: — Видишь, как красиво ложатся тени. Вот здесь, под этим огромным, нависающим карнизом — хорошо, не правда ли? И посмотри, какие великолепные вертикальные линии образуют пилястры. А затем — солидность всей постройки, ее размеры, ее массивная, внушительная строгость! — Он вскинул руки, он поднял глаза, точно он стоял, потрясенный, у подножья настоящего огромного отвесного фасада. Тени дико плясали по всему городу дворцов и куполов, когда он в экстазе потрясал над головой лампой. — А вот, — он внезапно нагнулся, он снова рассматривал детали и показывал их сыну, — а вот главный вход, весь разукрашенный богатой резьбой. Как великолепно и неожиданно расцветает он на голой стене. Точно колоссальные письма Дария, точно фигуры, высеченные на оголенном обрыве в Бехистуне,^[17] — неожиданные и прекрасные и такие человеческие, человеческие среди окружающей пустыни.

Гамбрил Старший откинул волосы назад и повернулся к сыну, с улыбкой глядя на него поверх очков.

— Очень хорошо, — кивнул ему Гамбрил Младший. — Но не слишком ли слепая эта стена? Для такого обширного палаццо у тебя, моему, слишком мало окон.

— Верно, — ответил отец, — совершенно верно. — Он вздохнул. —

Боюсь, что для Англии этот проект не подойдет. Он предназначен для страны, где стараются по возможности избегать солнечного света. Окна — проклятие нашей отечественной архитектуры. Стены приходится делать как сита: все в дырках, и это очень грустно. Если хочешь, чтобы я построил тебе этот дом, переселяйся, скажем, на Барбадос или куда-нибудь еще.

— С большим удовольствием, — сказал Гамбрил Младший.

— Другое неопенимое преимущество жарких стран, — продолжал Гамбрил Старший, — в том, что человек может жить там как аристократ, вдали от всех, сам по себе. Там не приходится смотреть на грязный мир; там не нужно, чтобы грязный мир смотрел на тебя. Возьми, например, этот большой дом, смотрящий на мир несколькими темными бойницами и похожим на пещеру главным входом. Но загляни внутрь. — Он держал лампу над двором, находившимся в самом сердце дворца. Гамбрил Младший нагнулся и посмотрел. — Вся жизнь обращена вовнутрь — на прелестный внутренний двор, на это более чем испанское *patio*.^[18] Взгляни на эти три яруса арок, на сводчатые коридоры для прохладных задумчивых прогулок, на тритона, извергающего белую воду в мраморный пруд посреди двора, на мозаику, расцветающую на полу и по стенам, яркую на фоне белой штукатурки. А вот и ворота, ведущие в сад. А теперь иди-ка сюда, посмотри на фасад, обращенный к саду.

Держа в руках лампу, он обошел вокруг стола. Внезапно раздался треск: провод от лампы задел стоявший на столе собор. Он валялся на полу, весь обращенный в развалины, точно разрушенный землетрясением.

— Ад и смерть! — сказал Гамбрил Старший в припадке елизаветинской ярости. Он поставил лампу на стол и кинулся смотреть, насколько непоправимо несчастье. — Они обходятся страшно дорого, эти макеты, — объяснил он, склоняясь над развалинами. Он нежно собрал осколки и положил их на стол. — Могло быть и хуже, — сказал он наконец, отряхивая пыль с рук. — Боюсь, впрочем, что этот купол никогда уже не будет таким, каким он был раньше. — Снова подняв лампу, он держал ее высоко над головой и стоял так, с меланхоличным удовлетворением оглядывая свои произведения. — И подумать только, — сказал он после недолгого молчания, — что все эти годы я потратил на то, чтобы проектировать образцовые коттеджи для рабочих в Блечли! Конечно, мне повезло, что я получил эту работу; но подумать только, что цивилизованному человеку приходится заниматься подобными вещами! Это уж слишком. В прежнее время эти твари сами строили свои лачуги, и получалось очень неплохо. Архитекторы занимались архитектурой, которая выражает достоинство и величие человека, выражает его протест, а не

смирненную покорность. Много ли протеста можно выразить в коттедже ценою в семьсот фунтов? Самую малость, конечно, можно протестовать: можно придать коттеджу приличные пропорции, можно избежать убожества и вульгарности, но и только: весь протест сводится к отрицанию. Протест положительный и активный возможен лишь тогда, когда от мизерного человеческого масштаба переходишь к постройкам для великанов, когда строишь ради духа и воображения человека, а не ради его презренного тела. Образцовые коттеджи, действительно!

Мистер Гамбрил негодуяще фыркнул.

— Когда подумаешь об Альберти! — И он подумал об Альберти — об Альберти, самом благородном из всех римлян, о единственном подлинном римляnine. Ибо сами римляне вели в действительности жалкую и сумасбродную жизнь внутри своей вульгарной империи. Альберти и его последователи эпохи Возрождения жили жизнью идеальных римлян. Они вкладывали в свою архитектуру Плутарха. Они брали гнусного подлинного Катона, исторического Брута и, превратив их в римских героев, учились у них и подражали им. До Альберти не было подлинных римлян, а со смертью Пиранези их раса начала снова вымирать.

— А когда подумаешь о Брунеллески! — Гамбрил Старший принялся страстно вспоминать архитектора, который подвесил на восьми изящно взлетающих ввысь мраморных опорах самый легкий и самый чудесный из всех куполов.

— А Микеланджело! Огромная мрачная апсида... А Врен и Палладио. Когда я думаю обо всех них...^[19] — Гамбрил Старший взмахнул руками и замолчал. То, что он чувствовал, думая о них, нельзя было выразить словами.

Гамбрил Младший взглянул на часы.

— Половина третьего, — сказал он. — Пора спать.

ГЛАВА III

— Мистер Гамбрил! — (К удивлению примешивалось удовольствие.) — Как я рад! — (Теперь основным чувством, которое выражал голос, доносившийся откуда-то из темных глубин мастерской, было удовольствие.)

— Это я, мистер Бодженос, должен радоваться. — Гамбрил закрыл за собой дверь мастерской.

Маленький человечек в сюртуке выскочил из каньона, или, вернее, черного ущелья, образованного двумя отвесными слоистыми стенами демисезонных костюмов, и, выйдя в открытое пространство перед дверью, поклонился со старомодной учтивостью, показав при этом перламутровый череп, слегка прикрытый длинными влажными темными прядями скудной растительности.

— И разрешите мне узнать, сэр, чему я обязан этой радостью? — Мистер Бодженос лукаво посмотрел снизу вверх, склонив голову набок, так, что дрогнули торчащие кончики его нафиксатуаренных усов. Пальцы его правой руки были засунуты за борт сюртука, и он стоял носки врозь, в первой позиции классического балета. — Легкое весеннее пальто, может быть? Или новый костюм? Должен заметить, — и его взгляд профессионала окинул длинную, худую фигуру Гамбрила с головы до ног, — должен заметить, что те одежды, которые вы теперь носите, мистер Гамбрил, выглядят — как бы это сказать? — несколько неглиже, как сказали бы французы, чуточку неглиже!

Гамбрил взглянул на свой костюм. Его огорчило «неглиже» мистера Бодженоса; этот поклеп обидел его, оскорбил. Неглиже? А он-то воображал, что вид у него вполне приличный и даже элегантный (но ведь у него всегда был такой вид, даже в лохмотьях), — вернее сказать, безупречный, как у мистера Портюза, очень подтянутый в этой черной куртке, опереточных брюках и лакированных ботинках. А черная фетровая шляпа — разве она не была именно тем иностранным, южным штрихом, который спасал всю композицию от банальности? Он рассматривал себя, стараясь увидеть свой костюм — свои одежды, как назвал их мистер Бодженос, одежды, Боже милосердный! — глазами опытного портного. Перегруженные карманы отвисали складками, на жилете было пятно, брюки вздувались пузырями, точно голые колени на рубенсовском портрете Елены Фурмбн в мехах, в Венской галерее. Да, все это было страшно

неглиже! Он почувствовал себя угнетенным; но изысканная профессиональная корректность мистера Бодженоса несколько успокоила его. Этот сюртук, например. Он точно сошел с какой-то очень современной картины — какая гладкая, без единой складочки, цилиндрическая грудь, какая чистая абстрактная форма конуса в слегка закругленных полах! Ничто не могло быть менее неглиже. Он окончательно успокоился.

— Я хочу, — сказал он наконец, с важным видом прочищая горло, — я хочу, чтобы вы сшили мне брюки по моим указаниям. Это новая мысль. — И он вкратце описал Патентованные Штаны Гамбрила.

Мистер Бодженос внимательно слушал.

— Для вас я могу их сделать, — сказал он, когда описание было закончено. — Я могу их сделать для вас... если вам в самом деле этого хочется, мистер Гамбрил, — добавил он.

— Благодарю вас, — сказал Гамбрил.

— И разрешите мне узнать, мистер Гамбрил, вы намереваетесь носить подобные... подобные одежды?

Гамбрил стыдливо отрекся.

— Лишь для того, чтобы практически осуществить мысль, мистер Бодженос. Я, понимаете, занят коммерческой эксплуатацией этой идеи.

— Коммерческой? Понимаю, мистер Гамбрил.

— Может быть, вы хотите войти в долю? — предложил Гамбрил.

Мистер Бодженос покачал головой.

— Боюсь, мистер Гамбрил, что для моих клиентов это не подойдет. Вряд ли можно ожидать, что «сливки общества» станут носить подобные вещи.

— Вы так думаете?

Мистер Бодженос продолжал качать головой.

— Я их знаю, — сказал он, — я знаю «сливки общества». Да. — И он добавил, с непоследовательностью, которая была, возможно, только кажущейся: — Между нами, мистер Гамбрил, я большой поклонник революции...

— Я также, — сказал Гамбрил, — теоретически. Но ведь я ничего не теряю. Я могу позволить себе быть ее поклонником. Тогда как вы, мистер Бодженос, вы благоустроенный буржуа... о, только в экономическом смысле, мистер Бодженос...

Мистер Бодженос принял объяснение с одним из своих старомодных поклонов.

— Вы были бы одним из первых, кто пострадал бы, если бы кто-нибудь начал ломку у нас.

— Разрешите мне сказать вам, мистер Гамбрил, что тут-то вы и ошибаетесь. — Мистео Болженос вынул руку из-за пазухи и принялся двигать ею, подчеркивая жестами наиболее важные места своей речи. — Когда настанет переворот, мистер Гамбрил, — великий и необходимый переворот, по выражению олддермэна Бекфорда, человек будет иметь неприятности не оттого, что он имеет немного денег, а из-за своих классовых привычек, мистер Гамбрил, своего классового языка, классового воспитания.

— Боюсь, что вы правы, — сказал Гамбрил.

— Я в этом убежден, — сказал мистер Бодженос. — Ведь ненависть вызывают именно мои заказчики, мистер Гамбрил, «сливки общества». Именно их самоуверенность, их непринужденность, их привычку приказывать, создаваемую деньгами и положением в свете, их манеру считать свое общественное положение законным, их престиж все остальные люди с огромным наслаждением отняли бы у них, да не могут — ведь как раз это больше всего раздражает, мистер Гамбрил.

Гамбрил кивнул. Он сам завидовал способности своих более обеспеченных друзей игнорировать всех, кто не принадлежит к одному с ними классу. Чтобы овладеть в совершенстве этой способностью, надо с детства жить в большом доме, полном слуг-автоматов, надо никогда не нуждаться в деньгах, никогда не заказывать в ресторане более дешевое блюдо вместо более изысканного; надо смотреть на полисмена лишь как на оплачиваемого защитника от посягательств низшего класса и никогда не сомневаться в своем божественном праве делать — в границах приличия — все, что заблагорассудится, не обращая внимания ни на кого и ни на что, кроме собственной персоны и собственного удовольствия. Гамбрил вырос среди подобных блаженных существ, но сам не принадлежал к их числу. Увы? Или к счастью? Он сам не знал.

— А какая польза будет, по-вашему, от революции, мистер Бодженос? — спросил он наконец.

Мистер Бодженос снова положил руку за борт.

— Никакой, мистер Гамбрил, — сказал он. — Решительно никакой.

— Но свобода, — предложил Гамбрил, — равенство и так далее. Как насчет этого, мистер Бодженос?

Мистер Бодженос улыбнулся снисходительно и добродушно, как он улыбнулся бы человеку, предложившему, скажем, носить при вечернем костюме засученные до колен брюки.

— Свобода, мистер Гамбрил? — сказал он. — Неужели, по-вашему, хоть один здравомыслящий человек воображает, что революция принесет

свободу?

— Революционеры всегда требуют именно свободы.

— А получают они ее когда-нибудь, мистер Гамбрил? — Мистер Бодженос игриво склонил голову набок и улыбнулся. — Обратимся к истории, мистер Гамбрил. Сначала французская революция. Народ требует политической свободы. И получает ее. Потом — билль о реформах, потом сорок восьмой год, потом всякие там освободительные акты и избирательное право для женщин — с каждым разом все больше и больше политической свободы. А в результате что, мистер Гамбрил? Ровно ничего. Кто стал свободней благодаря политической свободе? Ни одна душа, мистер Гамбрил. Более гнусного издевательства не знала история. А как подумаешь о несчастных молодых людях, вроде Шелли, которые о ней говорили, так просто жалко становится, — сказал мистер Бодженос, качая головой, — по-человечески жалко. Политическая свобода — надувательство, потому что никто не тратит время на то, чтобы заниматься политикой. Время тратят на сон, еду, немного на развлечения и на работу — больше всего на работу. Когда они получили все политические свободы, какие им хотелось — или каких им даже, собственно, и не хотелось, — они начали понимать это. Вот теперь они и заговорили об индустриальной революции, мистер Гамбрил. Да Господь с вами, ведь это новое надувательство, почище старого. Может ли быть при какой-нибудь системе свобода? Сколько вы ни делите прибыли между рабочими, сколько ни устанавливаете у них самоуправление, или создавайте гигиенические условия, или строите коттеджи или площадки для игр, самое главное рабство все равно останется — подневольный труд. Свобода? Да ее не существует! Свободы в этом мире нет; только позолоченные клетки. Да наконец, мистер Гамбрил, представьте себе, что удалось бы как-нибудь избавиться от необходимости работать, представьте себе, что у человека все время будет свободным. А сам он станет ли от этого свободней? Я ничего не говорю об естественном рабстве еды, сна и так далее, мистер Гамбрил; об этом я ничего не говорю, потому что тут уж пойдет отвлеченная метафизика. Но я спрашиваю вас вот о чем, — и мистер Бодженос почти сердито погрозил пальцем своему сонному собеседнику, — будет ли свободным человек с неограниченным досугом? Я говорю, что нет. Он будет свободным, только если он окажется, как мы с вами, мистер Гамб-рил, человеком здравомыслящим и независимым в суждениях. Рядовой человек свободным не будет. Потому что убивать свой досуг он умеет только теми способами, какие навяжут ему другие люди. В наше время никто не умеет развлекаться сам по себе; все предоставляют

другим развлекать их. Что им подсунешь, то они и глотают. Им приходится глотать, хотя бы они этого или нет. Кино, газеты, журналы, граммофоны, футбольные матчи, радио — попробуйте-ка обойтись без них, если вы хотите развлекаться. Рядовой человек без них не обойдется. Он пользуется ими; а что это, как не рабство? Так что видите, мистер Гамбрил, — и мистер Бодженос улыбнулся с каким-то лукавым торжеством, — даже в чисто гипотетическом случае, когда у человека будет неограниченное количество свободного времени, сам он свободным не станет... А случай этот, как я уже сказал, чисто гипотетический; по крайней мере поскольку дело касается людей, стремящихся к революции. Что же до тех, кто умеет пользоваться досугом, так я вам скажу, мистер Гамбрил, что мы с вами оба хорошо знакомы со «сливками общества» и знаем, что свобода, кроме разве свободы половых общений, это у них слабое место. А что такое половая свобода? — драматически спросил мистер Бодженос. — Мы с вами, мистер Гамбрил, знаем, — конфиденциально ответил он. — Это ужасное, отвратительное рабство. Вот что это такое. Или, может быть, это не так, мистер Гамбрил?

— Так, так, вы совершенно правы, мистер Бодженос, — поспешил ответить Гамбрил.

— А отсюда следует, — продолжал мистер Бодженос, — что для всех людей, кроме немногих избранных, вроде нас с вами, мистер Гамбрил, свободы не существует. Это химера, мистер Гамбрил. Гнусная выдумка.

— Но в таком случае, мистер Бодженос, почему вам так хочется, чтобы произошла революция? — осведомился Гамбрил.

Мистер Бодженос задумался и еще больше заострил кончики своих нафиксатуаренных усов.

— Все-таки, — сказал он наконец, — все-таки перемена. Я всегда стоял за перемены и небольшие встряски. К тому же есть еще научный интерес. Вы ведь никогда не знаете, чем кончится опыт, разве не так, мистер Гамбрил? Я помню, когда я был маленьким, мой старик отец — он был великий садовод, можно сказать, настоящий флорикультурист — устроил опыт по прививке глазка розы Gloire de Dijon^[20] к кусту черной смородины. И поверите, мистер Гамбрил, розы вышли черные, черные, как уголь. Никто этого бы не подумал, если бы он не попробовал. Вот то же я говорю и о революции. Нипочем не узнаешь, что из этого выйдет, пока не попробуешь. Черные розы, голубые розы — кто знает, мистер Гамбрил, кто знает?

— В самом деле, кто? — Гамбрил посмотрел на часы. — Кстати о брюках... — добавил он.

— Об этих одеждах, — поправил его мистер Бодженос. — Ах да. Скажем, в будущий вторник?

— Что ж, скажем, в будущий вторник. — Гамбрил открыл дверь мастерской. — До свиданья, мистер Бодженос.

Мистер Бодженос проводил его таким поклоном, точно он был принцем крови.

Сияло солнце, и небо в пролете улицы было голубое. Полупрозрачная даль расплывалась в нежных и светлых тонах; казалось, каждая улица затянута золотистым шелковым газом, который чем дальше, тем становился плотней. На деревьях Ганновер-сквера молодые листья еще не потеряли свежести и были похожи на языки зеленого пламени, а закопченные стволы казались более черными и грязными, чем всегда. Если бы закуковала кукушка, это было бы как нельзя более уместно и приятно. Но даже и без кукушки день был чудесный. Такой день, подумал Гамбрил, лениво шагая по улице, что хочется влюбиться.

Из мира портных Гамбрил перешел в мир торговцев искусственным жемчугом; он не торопясь брел по тротуару благоухающей Бонд-стрит, еще острее ощущая влюбленность, разлитую в воздухе в этот ясный весенний день. С чувством глубокого удовлетворения он вспомнил шестьдесят три письменных работы о Рисорджименто. Как приятно болтаться без дела! Особенно на Бонд-стрит, где из этого занятия можно извлечь массу удовольствия. Он прошелся по залам весенней выставки в Гровноре и вышел, немного жалея в душе о восемнадцати пенсах, истраченных на входной билет. После этого он сделал вид, будто собирается купить концертный рояль. Кончив играть свои любимые пассажи на великолепном инструменте, который ему подобострастно предоставили, он заглянул на несколько минут к Содби, подышал пылью старинных книг и побрел дальше, любясь сигарами, прозрачными флаконами духов, носками, старыми мастерами, изумрудными колье — одним словом, всеми предметами во всех витринах, мимо которых он проходил.

«В Скором Времени Открывается Выставка Картин Казимира Липиата». Афиша привлекла его взгляд. Значит, старина Липиат снова на боевой тропе, подумал он, толкая дверь выставочного зала Олбермэла. Бедный старина Липиат! Или, пожалуй, даже — милый старина Липиат. Он любил Липиата. Конечно, у него есть свои недостатки. Забавно было бы снова встретиться с ним.

Гамбрил очутился среди угнетающего собрания гравюр. Он просмотрел их, спрашивая себя, как это получается, что в наши дни, когда ни одному художнику не удастся продать своих картин, любой дурак,

умеющий нацарапать банальный вид с двумя лодками, намеком на облако и плоским морем, без всякого труда сбывает свои произведения дюжинами, и к тому же по гинее за штуку. Его размышления были прерваны приближением молодого человека, на чьей обязанности лежало водить посетителей по выставке. Он подошел робко и неуверенно, но с решимостью человека, задавшегося целью выполнить свой долг, и выполнить его с честью. Это был очень молодой человек с бесцветными волосами, которым густой слой бриолина придавал удивительный сероватый оттенок; младенчески-круглые щеки делали его похожим на маленького мальчика, играющего во взрослого. Он работал здесь всего несколько недель и находил свою работу очень трудной.

— Вот это, — заметил он, слегка кашлянув, чтобы обратить на себя внимание, и показывая на один из видов с двумя лодками и плоским морем, — это более ранний вариант, чем тот. — И он показал на другой вид, где лодок было по-прежнему две, а море казалось все таким же плоским — хотя при более близком рассмотрении оно могло показаться, пожалуй, еще более плоским.

— В самом деле, — сказал Гамбрил.

Его холодность, видимо, задела молодого человека. Он покраснел, но заставил себя продолжать.

— Некоторые знатоки, — сказал он, — предпочитают более ранний вариант, хотя в нем меньше законченности.

— Да?

— Замечательно передан воздух, не правда ли? — Молодой человек склонил голову набок и с видом ценителя сложил свои детские губки сердечком.

Гамбрил кивнул.

В полном отчаянии молодой человек ткнул пальцем в затененную корму одной из лодок.

— В этом пятне столько настроения, — сказал он, краснея еще больше.

— Масса экспрессии, — сказал Гамбрил. Молодой человек благодарно улыбнулся ему.

— Вот именно, — сказал он в восторге. — Экспрессия. Вы совершенно правы. Масса экспрессии. — Он повторил это слово несколько раз, точно стараясь запомнить его на тот случай, когда им можно будет воспользоваться снова. Он изо всех сил старался с честью выполнять свой долг.

— Кажется, здесь скоро будет выставка Липиата, — заметил Гамбрил,

которому порядком надоели лодки.

— Как раз в эту минуту он окончательно договаривается с мистером Олбермэлом, — торжествующе сказал молодой человек с видом фокусника, в самый критический момент извлекающего из своей шляпы кролика.

— Да что вы говорите! — Фокус произвел на Гамбрила должное впечатление. — Тогда я подожду его здесь, — сказал он, усаживаясь спиной к лодкам.

Молодой человек вернулся к своему столу и взял вечное перо с золотым колпачком, подаренное тетушкой на Рождество, когда он впервые поступил на службу. «Масса экспрессии, — написал он заглавными буквами на листке из блокнота. — В этом пятне масса экспрессии». Несколько секунд он пристально смотрел на бумажку, потом аккуратно сложил ее и спрятал в жилетный карман. «Бери все на заметку». Это был один из его девизов; он сам старательно написал его тушью, старинным готическим шрифтом. Он висел у него над кроватью между изречением «Господь — мой пастырь» (подарок матери) и цитатой из доктора Фрэнка Крэйна: «Улыбка на лице продаст больше товара, чем острый язык». Однако молодому человеку не раз приходило в голову, что острый язык — вещь весьма полезная, особенно на этой службе. Он спрашивал себя, можно ли сказать, что композиция картины полна экспрессии. Он заметил, что конек мистера Олбермэла — композиция. Но, пожалуй, благоразумней придерживаться более обычного «удачная композиция»: выражение, правда, несколько избитое, но зато безопасное. Надо будет спросить мистера Олбермэла. И еще все эти разговоры о пластической линии и чистой пластичности. Он вздохнул. Все это ужасно сложно! Прямо из кожи вон лезешь, чтобы быть на высоте положения; но когда речь заходит обо всех этих воздухах, и экспрессии, и пластичности — ну что тут будешь делать? Брать на заметку. Больше ничего не остается.

В кабинете мистера Олбермэла Казимир Липиат стукнул кулаком по столу.

— Масштаб, мистер Олбермэл. — говорил он, — масштаб, и сила, и идейная содержательность — у стариков все это было, а у нас нет... — И он подкреплял свои слова жестами. Выражение его лица все время менялось, а зеленые глаза, глубоко сидящие в темных, словнообугленных впадинах, светились беспокойным огнем. Лоб у него был крутой, нос длинный и острый, губы непропорционально большие и толстые для костлявого скуластого лица.

— Вот именно, вот именно, — сказал мистер Олбермэл Своим сочным голосом. Это был кругленький гладенький человечек с яйцевидной головой;

в его манерах была напыщенная торжественность старого мажордома, которую сам он, видимо, считал весьма аристократической.

— Я задался целью возродить все это, — продолжал Липиат, — возродить масштабы и мастерство старых мастеров.

Когда он говорил, он чувствовал, как его заливают волна теплоты, его щеки пылали, и горячая кровь пульсировала в его глазах, словно он выпил глоток бодрящего красного вина. Его собственные слова возбуждали его, он размахивал руками, как пьяный, и он действительно был точно пьяный. Он чувствовал в себе величие старых мастеров. Он мог сделать все, что делали они. Не было ничего, что было бы ему не по силам.

Яйцеголовый Олбермэл сидел перед ним, безупречный мажордом, раздражающе невозмутимый. Олбермэла тоже следовало бы заставить гореть. Он еще раз стукнул по столу и снова взорвался.

— Такова была моя миссия, — кричал он, — все эти годы! Все эти годы... Время обнажило его виски; высокий крутой лоб казался еще выше, чем он был на самом деле. Теперь ему было сорок; юному бунтарю Липиату, объявившему некогда, что никто не может создать ничего дельного после тридцати лет, было теперь сорок. Но в минуты неистовства он забывал о своих годах, он забывал о разочарованиях, о непроданных картинах, о ругательных отзывах.

— Моя миссия, — повторил он, — и будь я проклят, если я не сумею ее выполнить!

Кровь горячо пульсировала в его глазах.

— Безусловно, — сказал мистер Олбермэл, кивая яйцом. — Безусловно.

— А как все измельчало в наше время! — продолжал с пафосом Липиат. — Как банальны сюжеты, как ограничены возможности! У нас нет ни художников-скульпторов-поэтов, как Ми-келанджело; ни художников-ученых, как Леонардо; ни математиков-придворных, как Боскович; ни композиторов-импресарио, как Гендель; ни всесторонних гениев, как Врен. Я восстаю против этой унижительной специализации. Я один противостою ей своим примером. — Липиат поднял руку. Он стоял, как статуя Свободы, колоссальный и одинокий.

— Однако же... — начал мистер Олбермэл.

— Художник, поэт, композитор, — не унимался Липиат. — Я все вместе. Я...

— ...имеется опасность — как бы это сказать — распылить свои силы, — настойчиво продолжал мистер Олбермэл. Он незаметно посмотрел на часы. Разговор, по его мнению, слишком затянулся без всякой

к тому необходимости.

— Современным художникам угрожает гораздо большая опасность, — возразил Липиат. — Опасность застоя и медленного умирания. Разрешите мне поделиться своим опытом.

Что он и сделал, весьма многословно.

В выставочном зале, окруженный лодками, видами венецианских каналов и устья реки Форт, безмятежно размышлял Гам-брил. Бедный старина Липиат, думал он. Или, пожалуй даже, милый старина Липиат, несмотря на всю его фантастическую самовлюбленность. Такой скверный художник, такой бездарный поэт, такой громогласный и чувствительный пианист-импровизатор. И год за годом все одно и то же, твердит все об одном и том же — и всегда скверно! И вечно без гроша, вечно живет среди удручающей грязи! Великолепный и трогательный старина Липиат!

Вдруг дверь распахнулась, и в зал ворвался громкий срывающийся голос, то низкий и грубый, то пронзительно-визгливый.

— ...как Веронезе, — говорил он, — огромная, сильная, головокружительная композиция, — («головокружительная композиция» — мысленно молодой человек взял эти слова на заметку), — но, конечно, гораздо более серьезная, гораздо более значительная, гораздо более....

— Липиат! — Гамбрил встал со стула, повернулся, сделал несколько шагов, протягивая руку.

— А, Гамбрил! Вот это здорово! — И Липиат сжал протянутую руку с мучительной сердечностью. По-видимому, он был в приятно-возбужденном состоянии. — Мы договаривались с мистером Олбермэлом насчет моей выставки, — объяснил он. — Вы знакомы с Гамбрилом, мистер Олбермэл?

— Очень рад познакомиться, — сказал мистер Олбермэл. — У нашего друга, мистера Липиата, — добавил он покровительственно, — подлинно артистический тем...

— Это будет нечто великолепное.

Липиат не мог ждать, пока кончит говорить мистер Олбермэл. Он энергично хлопнул Гамбрила по плечу.

— ...Артистический темперамент, как я уже говорил, — продолжал мистер Олбермэл. — Он, разумеется, слишком нетерпелив и слишком полон энтузиазма для нас, простых смертных, — снисходительная княжеская улыбка сопровождала этот акт самоуничижения, — живущих в мире прозаической, деловой повседневности.

Липиат разразился громким и не весьма мелодичным хохотом. По-видимому, он не возражал против обвинения в артистическом темпераменте: наоборот, оно даже нравилось ему.

— Огонь и вода, — сказал он афористически, — соединенные вместе, дают пар. Мы с мистером Олбермэлом мчимся вперед, как паровоз. Пш, пш! — он задвигал руками, как поршнями. Он хохотал; но мистер Олбермэл только улыбался, холодно и вежливо. — Я рассказывал сейчас мистеру Олбермэлу, какое распятие я сейчас пишу. Оно такое же большое и головокружительное, как у Веронезе, но гораздо более серьезное, более...

За их спиной молодой человек объяснял красоты гравюр какому-то новому посетителю. «В этом пятне, — говорил он, — масса экспрессии». И в самом деле, тень падала на корму лодки с крайне выразительной настойчивостью. «А какая удачная, какая... — на мгновение он замялся, и его лицо под бесцветными напояженными волосами густо покраснело, — ...какая головокружительная композиция». Он с тревогой посмотрел на посетителя. Но тот и глазом не моргнул. Молодой человек почувствовал огромное облегчение.

Они вместе ушли с выставки. Липиат шел впереди, очень быстро, с великолепной грубостью пробивая себе дорогу сквозь элегантную и праздную толпу, размахивая руками и разглагольствуя. Шляпу он нес в руке; галстук у него был ярко-оранжевый. Все на него оборачивались, и ему это нравилось. Лицо у него было действительно замечательное: такое лицо по праву должно было принадлежать гению. Липиат это знал. «Гений, — любил он говорить, — носит на челе нечто вроде печати Каина, по которой люди сразу узнают его; а узнав, обычно побивают камнями», — добавлял он с тем особым смешком, каким он сопровождал все свои горькие или циничные замечания; этот смешок должен был показывать, что горечь и цинизм, даже если они оправдывались обстоятельствами, на самом деле были всего лишь маской, а под этой маской скрывалась неизменная трагически невозмутимая улыбка художника. Липиат очень много думал об идеальном художнике. Эта титаническая абстракция заполняла его всего. Он был ею — только, пожалуй, немного слишком сознательно.

— На этот раз, — повторял он, — они у меня разинут рты от удивления. На этот раз... Это будет нечто потрясающее. — И Липиат начал описывать картины, которые он выставит, и с каждым его словом горячая кровь все сильнее билась у него в глазах и ликующее сознание своей силы, уверенность в ней все росли и росли в нем; он говорил о своем предисловии к каталогу, о стихотворениях, которые будут помещены там в качестве литературных дополнений к картинам. Он говорил и говорил. Гамбрил слушал не слишком внимательно. Он спрашивал себя, как это можно говорить так громко и так бесстыдно хвастать. Впечатление было такое, точно Липиату нужно было кричать, чтобы убедить себя в своем

собственном существовании. Бедный Липиат! Гамбрил подумал, что за последние годы он, наверное, не раз сомневался в этом. Да, но на этот раз, на этот раз они у него разинут рты от удивления.

— Так, значит, вы довольны своими последними работами. — сказал он в конце одной из длинных тирад Липиата.

— Доволен? — воскликнул Липиат. — Еще бы мне не быть довольным.

Гамбрил мог бы ему напомнить, что он не раз бывал доволен своими работами, но что «они» до сих пор еще ни разу не раскрывали ртов от удивления. Однако он решил ничего не говорить. Липиат продолжал разглагольствовать на тему о масштабах и универсальности старых мастеров. Подразумевалось, что сам он принадлежит к их числу.

Они расстались на углу Тоттенхэм-Корт-род; Липиат отправился на север в свою мастерскую на Мэпл-стрит, Гамбрил — в свою холостяцкую квартиру на Грет-Рассел-стрит. Почти год назад он снял две маленькие комнатки над бакалейной лавкой, обещая себе делать в них бог знает что. Но почему-то из этого «бог знает что» ничего не получалось. И тем не менее ему нравилось изредка заходить туда, когда он бывал в Лондоне, и думать, сидя в одиночестве перед газовым камином, что ни одна живая душа во всем мире не знает, где он. У него было детское пристрастие к тайнам и секретам.

— До свиданья, — сказал Гамбрил, поднимая в знак прощания шляпу. — И я приглашу еще кое-кого к ужину в пятницу. — (Они сговорились встретиться снова.) Он пошел прочь, думая, что за ним осталось последнее слово; но он ошибся.

— Да, кстати, — сказал Липиат, быстрыми шагами догоняя Гамбрила. — Нет ли у вас случайно пяти фунтов взаймы? Знаете, только до выставки. Я что-то остался почти без денег.

Бедный старина Липиат! Но со своими банковыми билетами Гамбрил расстался не очень охотно.

ГЛАВА IV

У Липиата была привычка, которую иные из его друзей находили несколько утомительной — и не только друзья, потому что Липиат был готов посвящать в тайны своего вдохновения и просто знакомых, и даже совершенно чужих людей, — привычка читать при всякой возможности свои стихи. Он декламировал громким дрожащим голосом, с выражением, никогда не менявшимся, какова бы ни была тема стихотворения, добрых четверть часа без перерыва; декламировал и декламировал до тех пор, пока его слушателям не становилось так неловко и стыдно, что они краснели и не решались смотреть друг другу в глаза.

Сейчас он тоже декламировал, обращаясь не только к своим друзьям, но и ко всей публике в ресторане. Стоило ему произнести первые строки своей последней вещи, — «Конквистадора», как за всеми столиками начали поворачивать головы и вытягивать шеи. Люди, пришедшие в этот ресторан на Сохо, потому что он пользовался славой «артистического», многозначительно переглядывались и кивали друг другу. На этот раз деньги были заплачены не даром. А Липиат продолжал читать с видом человека, который впал в экстаз и не замечает окружающего.

«Смотри на Мексику, Конквистадор» — таков был припев.

Под Конквистадором Липиат, очевидно, подразумевал художника, а Мексиканская долина, на которую он смотрел, с городами, окруженными башнями: Тлакопан и Чалеко, Истипалапан и Те-ночититлан, символизировала — собственно, трудно было сказать, что именно. Может быть. Вселенную?

— Смотри, — вскричал Липиат вибрирующим голосом.

Смотри, Конквистадор,
Там на ковре долины, средь озер.
Блестят алмазы городов;
Там Тлакопан и там Чалеко
Ждут приближенья Человека.
Смотри на Мексику, Конквистадор, —
Страну твоих алмазных грез.

— Нельзя ли без «грез»? — сказал Гамбрил, отставляя стакан, который он осушил до дна. — Нельзя же говорить в стихах о «грезе».

— Зачем вы меня прерываете? — накинулся на него Липи-ат. Уголки его широкого рта вздрогнули, все его длинное лицо возбужденно задвигалось. — Почему вы не даете мне кончить? — Его рука, патетически поднятая над головой, медленно опустилась на стол. — Болван! — сказал он и снова взялся за нож и вилку.

— Но право же, — не унимался Гамбрил, — нельзя же писать о «грезе». Разве можно так писать теперь? — Он уже выпил добрую половину бутылки бургундского и пришел в настроение добродушное, упрямое и немного воинственное.

— Почему нет? — спросил Липиат.

— Ах, просто потому, что нельзя. — Гамбрил откинулся на спинку стула, улыбнулся и погладил белокурые свисающие усы. — Во всяком случае, в году от Рождества Христова тысяча девятьсот двадцать втором.

— Но почему? — возбужденно повторял Липиат.

— Потому что сейчас уже не время, — объявил изящный мистер Меркаптан, рыча, как истый конквистадор, но затем, в конце фразы, впадая в бесславное замешательство.

Это был мягкий, уютный молодой человек с гладкими каштановыми волосами, разделенными посредине прямым пробором и зачесанными за уши, где они образовывали влажные мягкие завитки. Его лицу следовало бы быть более изысканным, более утонченным — в духе *dix-huitième*, чем оно было на самом деле. К сожалению, оно было грубоватым и даже несколько свиноподобным и мало гармонировало с неподражаемо грациозным стилем мистера Меркаптана. Потому что у мистера Меркаптана был свой стиль, восхитительная печать которого лежала на всех его статьях, выходивших в литературных еженедельниках. Но самым изысканным его произведением был тот томик «опытов», стихотворений в прозе, виньеток и парадоксов, где он с таким блеском развивал свою излюбленную тему о мелкотравчатости, обезьяньей ограниченности и глупой претенциозности так называемого *Homo Sapiens*.^[21] Те, кому доводилось знакомиться с мистером Меркаптаном, после встречи с ним нередко приходили к заключению, что, в конце концов, он, может быть, вовсе не так уж не прав в своей суровой оценке человечества.

— Уже не время, — повторил он. — Времена изменились. *Sunt lacrymae rerum, nos et mutamur illis*.^[22] — И он рассмеялся в знак

одобрения самому себе.

— Quot homines, tot disputandum est,^[23] — сказал Гамбрил, снопа прихлебывая свое Beaune superieure.^[24] В данный момент он был целиком на стороне Меркаптана.

— Да почему уже не время? — настаивал Липиат.

Мистер Меркаптан сделал изящный жест.

— Ca se sent, mon cher ami, — сказал он, — да ne s'explique pas.^[25]

Говорят, сатана носит ад в своем сердце; то же можно было сказать и о мистере Меркаптоне: где бы он ни находился, это был Париж.

— Грезы в тысяча девятьсот двадцать втором!.. — Он пожал плечами.

— После того, как мы приняли мировую войну, проглотили голод в России, — сказал Гамбрил. — Грезы!

— Они принадлежат к эпохе Ростана,^[26] — сказал мистер Меркаптан, слегка хихикая. — Le Rgve^[27] — ah!

Липиат шумно уронил нож и вилку и перегнулся через стол, готовый броситься в атаку.

— Теперь я с вами расправляюсь, — сказал он. — теперь вы от меня не уйдете. Вы себя выдали с головой. Выдали тайну своей духовной нищеты, своей слабости, и мелочности, и бессилия...

— Бессилия? Вы клеветеете на меня, милостивый государь, — сказал Гамбрил.

Шируотер заерзал на своем стуле. Все это время он сидел молча, сгорбив плечи, положив локти на стол, склонив большую круглую голову над прибором; насколько можно было судить, он был совершенно поглощен тем, что медленно и методически крошил кусок хлеба. Изредка он клал себе в рот корку, и тогда его челюсти под темными топорщащимися усами двигались медленно и как-то боком, точно у коровы, пережевывающей жвачку. Он ткнул Гамбрила локтем в бок.

— Осел, — сказал он, — замолчите. Липиат неукротимо продолжал:

— Вы боитесь идеалов, вот что. Вы не смеее признаться в своих грезах. Да, я зову их грезами, — добавил он в скобках. — Пускай меня считают дураком или старомодным — мне наплевать. Слово короткое и всем известное. К тому же «грезы» рифмуются с «грозы». Ха-ха-ха! — И Липиат разразился своим хохотом титана; казалось, этот цинический хохот отрицал, но на самом деле, для посвященных, он только подчеркивал скрывавшуюся за ним высокую положительную мысль. — Идеалы — для вас, цивилизованных молодых людей, они, видите ли, недостаточно шикарны. Вы давно выросли из подобных вещей: ни грез, ни религии, ни

морали.

— Верую во единого печеночного глиста, — сказал Гамбрил. — Ему нравилось это маленькое изобретение. Это было удачно; это было метко. — Печеночным глистом делаешься ради самосохранения, — объяснил он.

Но мистер Меркаптан не хотел признать себя печеночным глистом ради чего бы то ни было.

— Не понимаю, почему мы должны стыдиться, что мы цивилизованные люди, — сказал он голосом, похожим то на рев быка, то на чириканье реполова. — Нет, если я и верую во что-нибудь, то разве только в свой будуар в стиле рококо, и в разговоры за столом красного дерева, и в нежные, остроумные, тонкие любовные сцены на широкой софе, в которой пребывает дух Кребильона Младшего.^[28] Надеюсь, нам не обязательно всем быть жителями Утопии. Номо ай naturel, — и мистер Меркаптан приложил большой и указательный палец к своему — увы! — слишком похожему на пяточок носу, — са рие. А Номо а ла Герберт Уэллс — са пе рие pas assez.^[29] Во что я верую, так это в цивилизацию, в золотую середину между вонью и стерильностью. Дайте м не немного мускуса, немного опьяняющих женских испарений, букет старого вина и клубники, саше с лавандой под каждой подушкой и курильницы по углам гостиной. Читательные книги, приятные разговоры, цивилизованные женщины, утонченное искусство и сухие вина, музыка, спокойная жизнь и необходимый комфорт — вот все, чего я прошу.

— Кстати, о комфорте, — вставил Гамбрил, раньше чем Липиат успел обрушить на мистера Меркаптана свои обличительные громы, — я должен рассказать вам о споем новом изобретении. Пневматические брюки, — пояснил он. — Надуваются воздухом. Незаменимое удобство. Понимаете мою мысль? Образ жизни у вас сидячий, Меркаптан, вам необходимо заказать у меня две-три пары.

Мистер Меркаптан покачал головой.

— Чересчур в духе Уэллса, — сказал он. — Чересчур утопично. В моем будуаре они будут ужасно неуместны. К тому же софа у меня и без того достаточно мягкая.

— Ну, а как же Толстой? — заорал Липиат, дав волю своему раздражению.

Мистер Меркаптан помахал рукой.

— Русский, — сказал он, — русский.

— А Микеланджело?

— Альберти, — очень серьезно сказал Гамбрил, подсовывая им

целиком точку зрения своего отца, — Альберти, уверяю вас, был гораздо лучшим архитектором.

— Уж если говорить о претенциозности, — сказал мистер Меркаптан, — я лично предпочитаю старика Борромини и барокко.

— А как же Бетховен? — продолжал Липиат. — А как же Блейк? Куда вы отнесете их по вашей системе?

Мистер Меркаптан пожал плечами.

— Они остаются в передней, — сказал он. — В будуар я их не допускаю.

— Возмутительно, — сказал Липиат с растущим негодованием, все неистовей размахивая руками, — вы возмущаете меня — вы и ваша мерзкая, фальшивая цивилизация под восемнадцатый век; ваша уринальная поэзия, ваше искусство для искусства — а не для Бога; ваши гнусенькие совокупления без любви и без страсти; ваш скотский материализм; ваше животное равнодушие к чужим страданиям и ваша твякающая ненависть ко всему великому.

— Прелестно, прелестно, — пробормотал мистер Меркаптан, поливая салат прованским маслом.

— Как вы можете надеяться создать что-либо достойное или прочное, если вы даже не верите в достоинство и прочность? Я смотрю вокруг себя, — и Липиат блуждающим взглядом обвел полный зал, — и вижу, что я одинок, духовно одинок. Я борюсь один против всех. — Он ударил себя в грудь: титан, одинокий титан. — Я поставил перед собой задачу: снова возратить живописи и поэзии принадлежащее им по праву место среди великих моральных сил. Слишком долго они служили забавой, игрушкой. За это я положу свою жизнь. Свою жизнь. — Его голос дрогнул. — Надо мной смеются, меня ненавидят, побивают камнями, осмеивают. Но я иду своим путем. Ибо я знаю, что правда на моей стороне. И в конце концов эту правду признают все. — Это был разговор с самим собой, только вслух. Впечатление было такое, точно Липиат занялся саморекламой.

— И все же, — сказал Гамбрил с жизнерадостным упрямством, — я настаиваю, что слово «грезы» недопустимо.

— Inadmissible,^[30] — отозвался мистер Меркаптан, переводом на французский придавая этому слову какое-то новое значение. — В эпоху Ростана — сколько угодно. Но теперь...

— Теперь, — сказал Гамбрил, — это всего лишь намек на Фрейда.

— Все дело тут в литературном такте, — объяснил мистер Меркаптан. — Неужели у вас его нет?

— Слава Богу, нет, — с ударением сказал Липиат. — У меня вообще

нет такта. Я говорю и действую прямо, без обиняков, как подсказывает мне чувство. Ненавижу компромиссы.

Он стукнул по столу. Этот жест совершенно неожиданно вызвал взрыв надтреснутого мефистофельского смеха. Гамбрил, Липиат и мистер Меркаптан быстро подняли глаза; даже Ширу-отер вскинул огромную шарообразную голову и повернул широкий диск своего лица в ту сторону, откуда раздался звук. Перед столиком стоял молодой человек с белокурой веерообразной бородой, глядевший на них сверху вниз блестящими голубыми глазами и улыбавшийся так двусмысленно и загадочно, словно мысли его были проникнуты каким-то непонятным и фантастическим ехидством.

— Come sta la sua Terribilta?^[31] — спросил он и, сняв свой неопиcуемый котелок, отвесил Липиату глубокий поклон. — Узнаю тебя, Буонарроти! — с чувством закончил он.

Липиат принужденно рассмеялся: теперь он не казался титаном.

— Узнаю тебя, мой Колмэн! — слабо отозвался он.

— Напротив, — поправил его Гамбрил, — почти не узнаю тебя. Эта борода, — показал он на белокурый веер, — чего ради, разрешите узнать?

— Подражание русским, руссианнзм, — сказал мистер Меркаптан, качая головой.

— Ах, в самом деле, чего ради? — Колмэн понизил гол ос до конфиденциального шепота. — Из религиозных соображений, — сказал он и перекрестился.

Христу подобный и личной жизни,
Как ревностный католик,
Я в подражание Спасителю
Отращиваю бороду.

Есть бобры, обобрившие себя ради царствия небесного. Но есть также и бобры, бывшие таковыми еще во чреве матери.^[32] — Он разразился кощунственным смехом, который прервался так же внезапно и намеренно, как и начался.

Липиат покачал головой.

— Мерзость, — сказал он, — мерзость.

— К тому же, — продолжал Колмэн, не обратив никакого внимания, — у меня есть другие, — увы! — гораздо менее благочестивые поводы для этой перемены наружности. Борода позволяет человеку завязывать

восхитительные знакомства. Проходишь, например, по улице и слышишь «Бобер»: предлог начать разговор и познакомиться. Этому драгоценному символу, — и он нежно погладил золотую бороду ладонью, — я обязан восхитительно-опасными связями.

— Замечательно, — сказал Гамбрил и выпил в одиночестве. — Немедленно перестаю бриться.

Шируотер оглядел собеседников: брови у него поднялись, лоб покрылся морщинами.

— Этот разговор, кажется, выше моего понимания, — серьезно сказал он. Под огромными усами, под густыми кустистыми бровями рот был маленьким и наивным, кроткие серые глаза смотрели по-детски вопросительно. — Что означает в данном контексте слово «бобер»? Полагаю, вы имеете в виду не грызуна Castor Fiber?^[33]

— Но это же великий человек, — сказал Колмэн, подымая котелок. — Скажите мне, кто он такой?

— Наш друг Шируотер, — сказал Гамбрил, — физиолог. Колмэн поклонился.

— Физиологический Шируотер, — сказал он, — преклоняюсь перед тобой! Перед тем, кто не знает, что такое бобер, я отрекаюсь от всяких прав на превосходство. Во всех газетах только и пишут, что о бобрах. Скажите, вы никогда не читаете «Дейли экспресс»?

— Нет.

— «Дейли мейл»?

Шируотер покачал головой.

— «Миррор»? «Скетч»? «Грэфик»? И даже — я совсем забыл, что физиологдолжен быть по убеждениям либерал, — даже «Дейли ньюс»?

Шируотер продолжал качать своей большой шарообразной головой.

— И вечерние газеты?

— Нет.

Колмэн снова обнажил голову.

— О всемогущая и праведная Смерть! — воскликнул он, надевая котелок. — Вы никогда не читаете никаких газет — и даже восхитительных статей нашего друга Меркаптана в еженедельниках? Кстати, как поживают нынче ваши прочие статьи? — И Колмэн концом своей массивной трости легонько ткнул мистера Меркаптана в живот. — *Ca marche — les tripes?*^[34] А? — Он снова повернулся к Шируотеру. — Даже их не читаете?

— Никогда, — сказал Шируотер. — Я занят более серьезными вещами.

— Какими серьезными вещами, разрешите узнать?

— Ну, в данный момент, — сказал Шируотер, — преимущественно почками.

— Почки! — Колмэн в экстазе забарабанил по полу железным наконечником палки. — Почки! Расскажите мне все о почках. Это страшно важно. Это подлинная жизнь. И я сяду за ваш столик, не спрашивая позволения у нашего Буонарроти, и наплюю на Меркаптана, а что касается этого вот гамбрилоида, так на него я вообще не стану обращать внимания. Я сяду и...

— Кстати о сидении, — сказал Гамбрил. — Мне хотелось бы уговорить вас заказать себе пару моих патентованных пневматических брюк. Они...

Колмэн только отмахнулся.

— Не сейчас, не сейчас, — сказал он. — Я сяду и буду слушать, как физиологус говорит о почках, а сам тем временем буду поедать их — sautes. Sautes,^[35] обратите внимание.

Он положил шляпу и палку на пол подле себя и подсел на уголок, между Липиатом и Шируотером.

— Двое верующих, — сказал он, на минуту кладя руку на плечо Липиата, — и трое жестокосердных неверных — лицом к лицу. Так, Буонарроти? Мы с вами оба croyants et pratiquants,^[36] как сказал бы Меркаптан. Я верую и единого дьявола, отца недержателя мочи и кала, в Самаэля и в супругу его, всепорочную девку. Ха-ха! — Он рассмеялся своим жестоким искусственным смехом.

— Попробуйте вести тут цивилизованные разговоры, — пожаловался мистер Меркаптан, с присвистом произнося ц, любовно задерживаясь на в и растягивая первые два и в слове «цивилизованные». В его устах это слово, казалось, приобретало какую-то новую значимость.

Колмэн не обратил на него ни малейшего внимания.

— Расскажите мне, физиологус, — продолжал он, — расскажите мне о физиологии Архетипа.^[37] Это страшно важно; Буонарроти, я знаю, разделяет мое мнение. Есть ли у него boyau rectum,^[38] как сказал бы тот же самый Меркаптан, или нет? Вольтер понял, много лет назад, что от этого зависит все. О его ногах мы знаем из высокоавторитетных источников, что они были «прямые; а подошвы его ног были, как копыта теленка». Но внутренности... вы должны рассказать нам о его внутренностях. Ведь правда, Буонарроти? А где мои rognons sautes?^[39] — крикнул он официанту.

— У меня желчь разливается, когда я вас слушаю, — сказал Липиат.

— Надеюсь, это не смертельно? — Колмэн заботливо посмотрел на своего соседа; потом покачал головой. — Тяжелый случай; кажется, смертельно. Поцелуй меня, Стиви, и я умру счастливой. — Он изобразил воздушный поцелуй. — А чего копаются физиологус? Ну, толстокожее, — раз, два, три! Отвечайте. В ваших руках ключ от всего на свете. Ключ, понятно вам это? Помнится, когда я околачивался еще в школе и торчал там в биологической лаборатории, вскрывая лягушек, — мы распинали их булавками пузом вверх, как зелененьких христосиков, — так вот, когда я сидел как-то там, размышляя над лягушечьими кишками, вошел лабораторный служитель и обратился к нашему биологу: «Пожалуйста, сэр, не дадите ли вы мне ключ от Абсолюта». И вы только подумайте — биолог спокойно сунул руку в карман штанов, извлек оттуда маленький французский ключ и, не говоря ни слова, передал его мальчишке. Что за жест! Ключ от Абсолюта. Надо сказать, впрочем, что нашему мальцу нужен был всего только абсолютный спирт — вероятно, чтобы замариновать какой-нибудь мерзкий выкидыш. Упокой, Господи, душу его. А теперь, Castor Fiber, давайте-ка нам ваш ключ. Расскажите нам об Архетипе, расскажите нам о первозданном Адаме, расскажите нам все о прямой кишке.

Шируотер медлительно переместил на стуле свое неуклюжее тело; откинувшись на спинку, он принялся изучать Колмэна со спокойным, добродушным любопытством; глаза под дикарскими бровями смотрели мягко и нежно; обезоруживающая улыбка, похожая на улыбку младенца, увидевшего соску, проступала под наводящей ужас маской усов. Широкий выпуклый лоб был невозмутимо спокоен. Он провел рукой по густым каштановым волосам, задумчиво почесал затылок и, всесторонне изучив, поняв и занеся в соответствующую рубрику это странное явление, именуемое Колмэном, раскрыл рот и благодушно рассмеялся.

— В свое время, — сказал он наконец своим тягучим низким голосом, — вопрос Вольтера казался образчиком непревзойденной иронии. Если бы он спросил, есть ли у Бога почки, этот вопрос показался бы его современникам столь же ироническим. Теперь мы знаем о почках немного больше. Если бы он спросил меня, я бы ответил: а почему бы нет? Почки организованы так совершенно, они выполняют свои регулирующие функции с такой чудодейственной или даже — трудно подобрать более подходящее слово — с такой божественной точностью, с таким знанием и мудростью, что вашему Архетипу, или как его там, не должно было бы быть стыдно обладать парой почек.

Колмэн захлопал в ладоши.

— Ключ, — вскричал он, — ключ! Он в брючных карманах младенцев и грудных детей. Единственный подлинный французский ключ! Как хорошо я сделал, что пришел сюда сегодня! Но, клянусь сефирами, вот и моя фея.

Он поднял палку, вскочил со стула и стал пробираться между столиками. У двери стояла женщина. Колмэн подошел к ней, молча показал палкой на столик и вернулся, подталкивая ее впереди себя, слегка похлопывая палкой по ее крупу, точно он вел на бойню послушное животное.

— Разрешите представить вам, — сказал Колмэн, — ту, что делит со мной радость и горе. *La compagne de mes mitts blanches et de mes jours plutot sales.* Одним словом, Зоэ. *Qui ne comprend pas le franc.ais, qui me deteste avec une passion egale a la mienne, et qui mangera, ma foi, des rognons pour faire honneur au physiologue.* ^[40]

— Не угодно ли бургундского? — И Гамбрил взялся за бутылку.

Зоэ кивнула и пододвинула стакан. У нее были темные волосы, бледное лицо и глаза, как ягоды черной смородины. Рот у нее был маленький, пухлый и красиво изогнутый. Одета она была довольно безвкусно, точно картина Августа Джона: в голубое с оранжевым. Выражение лица у нее было мрачное и злобное, и она смотрела на всех с видом глубочайшего презрения.

— Шируотер на самом деле мистик, — флейтой пропел мистер Меркаптан. — Мистик-ученый; сочетание, надо сказать, несколько неожиданное.

— Вроде либерального римского папы, — сказал Гамбрил. — Бедный Меттерних, помните? Пио-Ноно. — И он разразился смехом, понятным только ему самому. — Нижесредние умственные способности, — в восторге пробормотал он, наливая себе еще вина.

— Только люди, намеренно ослепившие себя, могут считать такое сочетание неожиданным, — негодуяюще вмешался Липиат. — Что такое наука и искусство, что такое религия и философия, как не способы выразить в образах и понятиях, доступных для человека, какую-то сверхчеловеческую реальность? Ньютон, и Бёме, и Микеланджело — все они выражали различными способами различные стороны одного и того же.

— Альберти, прошу вас, — сказал Гамбрил. — Уверяю вас, он был гораздо лучшим архитектором.

— *Fi done!* — сказал мистер Меркаптан. — *San Carlo alle Quattro*

Fontane...^[41] — Но ему не удалось закончить. Липиат уничтожил его одним жестом.

— Единственная реальность, — прокричал он, — существует только одна реальность.

— Одна реальность, — Колмэн протянул руку через стол и погладил голую белую руку Зоэ, — и она прекраснoзадая. — Зоэ ткнула его вилкой в руку.

— Все мы пытаемся говорить о ней, — продолжал Липиат. — Физики формулируют законы — жалкие рабочие гипотезы, объясняющие лишь какую-то ее часть. Физиологи проникают в тайны жизни, психологи — в тайны сознания. А мы, художники, пытаемся выразить то, что открывается нам, когда мы смотрим на моральную природу, на индивидуальное начало этой реальности, имя которой — Вселенная.

Мистер Меркаптан сделанным ужасом поднял руки.

— О, barbaridad, barbaridad!^[42] — только чистое кастильское наречие могло выразить его чувства. — Но это совершенная бессмыслица!

— В отношении химиков и физиков вы совершенно правы, — сказал Шируотер. — Они вечно кричат, что подошли к истине ближе нас. Свои абстрактные гипотезы они выдают за факты и навязывают их нам, тогда как мы имеем дело с жизнью. О, их теории, конечно, священны. Они величают их законами природы и противопоставляют свои непреложные истины нашим биологическим фантазиям. Какой шум они поднимают, когда мы говорим о жизни! Проклятые идиоты! — кратко выругался Шируотер. — Только идиот способен говорить о механизме перед лицом почек. А ведь есть и такие болваны, которые говорят о механизме наследственности и размножения.

— Однако же, — очень серьезно начал мистер Меркаптан, горя желанием отрицать свое собственное существование, — есть почитаемые всеми авторитеты. Конечно, я могу лишь цитировать их слова. Я не претендую на какие-нибудь знания в этой области. Но...

— Размножение, размножение, — в экстазе бормотал Кол-мэн. — Какой это восторг и какой ужас — как подумаешь, что все они приходят к этому, даже самые неприступные девственницы; что все эти суки созданы для этого, несмотря на их фар-форово-голубые глазки. Интересно, какую мартышку произведем на свет мы с Зоэ? — спросил он, обращаясь к Шируотеру. — Как мне хотелось бы иметь ребенка, — продолжал он, не дожидаясь ответа. — Я ничему не стал бы его учить: даже родному языку. Будет дитя природы. Выйдет из него, вероятно, чертенок. А как смешно

будет, если вдруг он скажет «бекос»,^[43] как дети у Геродота. Наш Буонарроти изобразит его на аллегорической картине и напишет эпическую поэму под названием «Неблагородный дикарь». А Castor Fiber изучит его почки и сексуальные инстинкты. А Меркаптан напишет о нем одну из своих неподражаемых статей. А Гамбрил сошьет ему пару патентованных брюк. А мы с Зоэ будем смотреть родительским взглядом и лопаться от гордости. Правда, Зоэ? — Лицо Зоэ неизменно сохраняло мрачное и презрительное выражение: она не снизошла до того, чтобы отвечать. — Ах, как это будет чудесно! Я томлюсь о потомстве. Я живу только этой надеждой. Я пробьюсь сквозь все предохранительные преграды. Я...

Зоэ швырнула кусок хлеба, угодивший ему в щеку, немного пониже глаза. Колмэн откинулся на спинку стула и хохотал до тех пор, пока у него из глаз не покатались слезы.

ГЛАВА V

Один за другим они вступали в вертящуюся дверь ресторана и, потоптавшись в движущейся стеклянной клетке, выходили в прохладу и мрак улицы. Шируотер поднял свое широкое лицо и два-три раза глубоко вздохнул.

— Там внутри было слишком много углекислоты и аммиака, — сказал он.

— Какое несчастье, что стоит двоим или троим сойтись во имя Божие или хотя бы в более цивилизованное имя восхитительного автора еженедельных статей... — Меркаптан проворно отпарировал предназначавшийся его животу удар трости Колмэна, — какая грусть, что при этом они обязательно отравляют воздух.

Липиат поднял глаза к небу.

— Какие звезды, — сказал он, — и какие изумительные провалы между ними!

— Ночь прямо как в оперетке. — И Меркаптан принялся напевать баркаролу из «Сказок Гофмана»: — *Liebe Nacht, du schöne Nacht, oh stille mein...* ^[44] та-та-та. — Здесь его познания в немецком языке изменили ему. — Та, там... Та, там... Восхитительный Оффенбах. Ах, будь у нас сейчас опять империя! Еще один Наполеончик! Париж снова стал бы Парижем. Тидди, там-ти-та-там.

Они шли без всякой цели, просто для того, чтобы прогуляться этой мягкой прохладной ночью. Колмэн указывал дорогу, при каждом шаге постукивая по тротуару железным наконечником своей трости.

— Слепой в роли поводыря, — объяснил он. — Ах, если бы нам по дороге попалась канава, расщелина, большая яма, кишащая ядовитыми сколопендрами, полная навоза. С каким наслаждением я завел бы вас всех туда!

— Знаете что? — серьезно сказал Шируотер. — Вам не мешало бы пойти к доктору.

Колмэн от восторга даже завыл.

— Вам не приходит в голову, — продолжал он, — что мы идем в эту минуту среди семи миллионов людей, и каждый из них живет своей личной, обособленной от всех жизнью, и каждому из них в высокой степени наплевать на всех нас? Семь миллионов человеческих личностей, каждая из которых считает себя столь же значительной, как любой из нас.

Из них несколько миллионов сейчас спят в отравленной атмосфере. Сотни тысяч пар в эту минуту предаются взаимным ласкам, которые слишком отвратительны, чтобы их описывать, но ничем не отличаются от тех, которыми каждый из нас восторженно, страстно и красиво выражает свою любовь. Тысячи женщин мучаются в родовых схватках, и тысячи особей обоего пола умирают от самых разнообразных и удивительных болезней или попросту оттого, что они зажились на свете. Тысячи пьяных, тысячи обожравшихся, тысячи полуголодных. И все они живы, все они неповторимы, индивидуальны, чувствительны, как мы с вами. Ужасная мысль! Эх, взять бы да завести их всех в большую яму со сколопендрами!

Он постукивал по тротуару с таким видом, точно искал эту расщелину. Потом он запел во всю глотку.

— Всякая тварь и скотина да хулит Господа; да хулит Его и да проклинает и ныне и присно и во веки веков!

— Ох уж эта м не религия, — вздохнул Меркаптан. — Вот тоже удовольствие — с одной стороны, мускулистый христианин-художник Липиат, с другой — Колмэн, воющий черную мессу... Ужас! — Он сделал итальянизированный жест и повернулся к Зоэ. — А вы что скажете обо всем этом?

Зоэ кивнула головой в сторону Колмэна.

— Я скажу, что он — свинья, каких мало.

Это были первые слова, произнесенные ею с тех пор, как она присоединилась к их компании.

— Слушайте, слушайте! — закричал Колмэн, размахивая палкой.

В теплом желтом свете кафе-ларька на углу Гайд-парка стояла небольшая группа людей. Среди картузов с козырьками и шоферских пыльников, среди потрепанных рабочих блуз и грязных фуляровых платков ярким пятном выделялось нечто элегантное. Высокий цилиндр и пальто с шелковыми отворотами, атласное мантио огненного цвета и большой испанский черепаховый гребень с инкрустациями в ярких медно-красных волосах.

— Провалиться мне на этом месте, — сказал Гамбрил, когда они приблизились, — если это не Майра Вивиш!

— Она самая, — подтвердил Липиат, тоже всматриваясь. Он вдруг зашагал с напускной небрежностью, и при каждом шаге ноги у него заплетались. Созерцая себя со стороны, он прозорливым взглядом проникал сквозь оболочку цинического наплевательства и усматривал под ней кровоточащее сердце. Но он не хотел, чтобы об этом догадывался кто-нибудь еще.

— А, это Вивиш! — Колмэн быстрее застучал тростью по тротуару — А кто очередной избранник? — показал он на цилиндр.

— Неужели Бруин Оппс? — с сомнением в голосе сказал Гамбрил.

— Оппс! — прокричал Колмэн. — Оппс!

Цилиндр повернулся, обнаруживая манишку, длинное серое лицо и блестящее круглое стеклышко в левом глазу.

— А вы кто такой, милостивый государь? — Голос был грубый и надменно-оскорбительный.

— Я — это я, — сказал Колмэн. — Но за мной следуют, — и он указал на Шируотера, Гамбрила и Зоэ, — один физиолог, один педагог, один приапагог; всякие там художники и журналисты, чьи титулы не кончаются магическим слогом, в счет не идут. И наконец, — показывая на самого себя, — перед вами Гулящий Бродяга, что в каббалистической интерпретации означает: Господь Бог. Весь к вашим услугам. — Он снял шляпу и отвесил поклон.

Цилиндр снова повернулся к испанскому гребню, осведом — лясь:

— Кто этот жуткий пьяница?

Миссис Вивиш ничего не ответила и пошла навстречу вновь прибывшим. В одной руке она держала крутое яйцо без скорлупы, в другой — толстый ломоть хлеба с маслом; в промежутках между фразами она откусывала то от одного, то от другого.

— Колмэн! — воскликнула она; когда она говорила, создавалось такое впечатление, будто она вот-вот испустит дух и будто каждое ее слово — последнее слово, исходящее из уст человека, лежащего на смертном одре, и поэтому полное какого-то особого, глубокого, неизъяснимого смысла. — Целую вечность я не слышала вашего бреда. А вы, милый Теодор, — почему я никогда не вижу вас теперь?

Гамбрил пожал плечами.

— Вероятно, вы не очень стремитесь к этому, — сказал он.

Майра засмеялась и откусила еще хлеба с маслом. Другой рукой, в которой она держала недоеденное яйцо, она оперлась о плечо Липиата. Титан, погруженный в созерцание ночного неба, с видимым удивлением обнаружил ее присутствие.

— Ах, это вы? — сказал он, улыбаясь и вопросительно морща лоб.

— Кажется, я должна позировать вам завтра, Казимир?

— Значит, вы не забыли?

Оболочка на мгновение спала. Бедный Липиат!

— И счастливый Меркаптан? Как всегда, счастливый?

Меркаптан галантно поцеловал руку, державшую яйцо.

— Я мог бы быть счастливей, — пробормотал он, и его карие свиные глазки бросили на нее многозначительный взгляд. — *Puis-je esperer?*^[45]

Миссис Вивиш испустила свой предсмертный смех и остановила на нем, не говоря ни слова, пристальный взгляд своих бледно-голубых глаз. Ее глаза обладали необыкновенной способностью смотреть без всякого выражения; они были похожи на те бледные голубые глаза, что глядят из черной бархатной маски сиамского кота.

— *Bellissima*,^[46] — пробормотал Меркаптан, расцветая в их прохладном свете.

Миссис Вивиш обратилась ко всей компании.

— Мы совершенно изумительно провели вечер, — сказала она. — Правда ведь, Бруин?

Бруин Оппс ничего не ответил; он только нахмурился. Ему совсем не нравилась вся эта публика, нарушившая его *tete-a-tete* с Майрой. Кожа его нахмуренного лба перелилась через оправу монокля и закрыла кусочек блестящего стеклышка.

— Я подумала, что было бы забавно, — продолжала Майра, — заехать в этот ресторанчик на Гэмптон-Корт, где можно поужинать на острове и потанцевать.

— Почему острова, — в восхитительно-причудливых скобках заметил Меркаптан, — так располагают к наслаждению? Цнтера, Монки-Айленд, Капри. *Je me demande*.^[47]

— Начинается! Еще одна очаровательная статейка! — Кол-мэн угрожающе поднял трость; мистер Меркаптан проворно отскочил в сторону.

— Тогда мы взяли машину, — говорила миссис Вивиш, — и пустились в путь. Но какую машину, Господи Боже мой! С одной только скоростью, и к тому же минимальной. Автомобиль прошлого столетия, музейный экспонат, коллекционный экземпляр! До места назначения ехали несколько часов. А когда наконец добрались, какую подали еду, какими напитками угощали! — Миссис Вивиш стонала в неподдельном ужасе на своем вечном смертном одре. У всех кушаний был такой вкус, точно их добрую неделю вымачивали в воде, прежде чем подавать; это было похоже на водоросли, да еще с восхитительным тифозным ароматом воды из Темзы. Темза была даже в шампанском. Они не в силах были проглотить ничего, кроме корки хлеба. Изнемогая от голода и жажды, они отплыли на своем средневековом такси обратно, — и вот наконец здесь, на первом форпосте цивилизации, едят для сохранения своей драгоценной жизни. — О, какой

ужасный вечер, — закончила миссис Вивиш. — Единственное, что меня развлекало, — это вид Бруина в скверном настроении. Вы представить себе не можете, Бруин, до чего курьезным вы иногда бываете.

Бруин пропустил это замечание мимо ушей. С трудом подавляя отвращение, он доедал крутое яйцо. Капризы Майры становятся с каждым разом все невыносимей. Одного этого ресторана на Гэмптон-Корт было более чем достаточно; но когда дело дошло до того, чтобы есть на улице, среди грязных рабочих, — нет, знаете, это уж чересчур.

Миссис Вивиш посмотрела по сторонам.

— Я так никогда и не узнаю, кто эта загадочная личность? — Она указала на Шируотера, который стоял в стороне, прислонившись к ограде парка и задумчиво глядя себе под ноги.

— Физиолог, — объяснил Колмэн, — и у него есть ключ. Ключ, ключ! — Он забарабанил тростью по асфальту.

Гамбрил представил Шируотера более общепринятым способом.

— Вы, кажется, не слишком интересуетесь нами, мистер Шируотер? — голосом умирающей произнесла Майра. Ширу-отер поднял глаза: миссис Вивиш напряженно смотрела на него светлым пристальным взглядом, улыбаясь при этом той странной улыбкой, от которой уголки губ опускались книзу; эта улыбка придавала ее лицу выражение страдания, замаскированного смехом. — Вы, кажется, не интересуетесь нами? — повторила она.

Шируотер покачал своей тяжелой головой.

— Нет, — сказал он, — не интересуюсь.

— Отчего?

— А чего ради мне интересоваться вами? Времени на все ведь не хватит. Интересоваться можно лишь тем, что стоит того.

— А мы не стоим того?

— Для меня лично нет, — чистосердечно ответил Шируотер. — Великая Китайская стена, политические события в Италии, биология плоских глистов — все эти предметы сами по себе крайне интересны. Но я ими не интересуюсь; не позволяю себе интересоваться ими. У меня нет лишнего времени.

— А чем же тогда вы позволяете себе интересоваться?

— Не пора ли нам? — нетерпеливо сказал Бруин; ему удалось проглотить последний кусок крутого яйца. Миссис Вивиш не ответила ему, даже не удостоила его взглядом.

Шируотер на мгновение замялся и приготовился было говорить, но Колмэн ответил за него.

— Будьте почтительны, — сказал он Майре Вивиш. — Это великий человек. Он не читает газет, даже тех, в которых так замечательно пишет наш Меркаптан. Он не знает, что такое бобер. И он живет ради одних только почек.

Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась.

— Почки? Что за *memento mori*!^[48] Есть ведь и другие части организма. — Она откинула мантию, обнажив руку, голое плечо и треугольник грудной мышцы. Она была одета в белое платье, оставлявшее обнаженными спину и плечи; на груди его поддерживал золотой шнурок, охватывающий шею. — Хотя бы это, — сказала она и, вытянув свою стройную руку, несколько раз повернула ее то вверх ладонью, то вниз, точно желая продемонстрировать работу сочленений и игру мускулов.

— *Memento vivere*, — последовал уместный комментарий мистера Меркаптана. — «*Vivamus, mea Lesbia, atque amemus*».^[49]

Миссис Вивиш опустила руку и снова накинула мантию. Она взглянула на Шируотера, прилежно и внимательно следившего за всеми ее движениями; он кивнул с вопросительным выражением, словно спрашивая: а дальше что?

— Мы все знаем, что у вас красивые руки, — сердито сказал Бруин. — Вовсе незачем выставлять их напоказ, на улице, в двенадцать часов ночи. Идем отсюда. — Он положил ей руку на плечо, точно желая ее увести. — Лучше бы нам уйти. Господь его ведает, что там творится позади нас. — Кивком головы он указал на клиентов вокруг стойки кафе. — Чернь волнуется.

Миссис Вивиш оглянулась. Шоферы и прочие посетители ночного кафе окружили любопытным и сочувствующим кольцом какую-то женщину, похожую на огромный узел, обмотанный черной бумажной тканью и завернутый в непромокаемый плащ; она сидела на высоком табурете хозяина кафе, безжизненно прислонившись к стенке палатки. Мужчина, стоявший рядом с ней, пил чай из толстой белой чашки. Все говорили разом.

— Разве этим несчастным нельзя говорить? — спросила миссис Вивиш, снова оборачиваясь к Бруину. — Ни разу в жизни не видела человека, который столько думал бы о низших классах.

— Я их ненавижу, — сказал Бруин. — Все бедные, больные и старики внушают мне отвращение. Не переносу их; меня буквально тошнит от них.

— *Quelle ame bien-pêe*!^[50] — пискнул мистер Меркаптан. — И как честно и прямо выражаете вы то, что мы все чувствуем, но не

осмеливаемся сказать!

Липиат разразился негодующим хохотом.

— Когда я был маленьким, — продолжал Бруин, — помню, дедушка рассказывал мне о своем детстве. Он рассказывал, что, когда ему было пять или шесть лет, как раз перед биллем о реформах тридцать второго года, существовала такая песня, которую пели все благомыслящие люди; припев там был примерно такой: «К черту народ, к дьяволу народ, к сатане рабочий класс». Жаль, я не знаю остальных слов и мотива. Должно быть, хорошая была песня.

Песня привела Колмэна в восторг. Он перекинул трость через плечо и принялся маршировать вокруг ближайшего фонарного столба, распевая слова на мотив бравурного марша. «К черту народ, к дьяволу народ...» Он отбивал такт, тяжело стуча каблуками по тротуару.

— Ах, если бы изобрели слуг с двигателями внутреннего сгорания, — почти жалобно сказал Бруин. — В самом вышколенном слуге иногда обнаруживается человек. А это — просто невыносимо.

— Нет горше мук нечистой совести, — вполголоса процитировал Гамбрил.

— Но мистер Шируотер, — сказала Майра, переводя разговор на более удобную для нее почву, — не сказал нам еще, что он думает о руках.

— Ровно ничего, — сказал Шируотер. — В данный момент я работаю над кровообращением.

— Неужели он говорит правду, Теодор? — воззвала она к Гамбрилу.

— Думаю, что да. — Гамбрил ответил словно откуда-то издалека и без всякого интереса. Он прислушивался к разговору тех, кого Бруин обозвал «черню», и вопрос миссис Вивиш казался несколько неуместным.

— Я работал ломовиком, — говорил человек с чашкой. — Была у меня тележка и старенький пони. Ничего, жили помаленьку и не жаловались. Вот только с мебелью да с тяжелыми вещами была беда. В Индии я подцепил малярию — я был там во время войны...

— И даже — вы заставляете меня перешагнуть границы приличия — и даже, — не отставала миссис Вивиш, страдальчески улыбаясь, произнося слова хрипло, как в предсмертной агонии, — о ногах?

Эти слова привели в действие кощунственный механизм, скрытый в мозгу Колмэна.

— Ни ноги мужчины не радуют его, — заорал он и с преувеличенной страстью обнял Зоэ, которая поймала его руку и укусила.

— Как чуть устанешь, так она и начинает тебя трепать, малярия-то. — Лицо у говорившего было изжелта-бледное, и во всем его нищенском виде

было что-то особенно беспокойное и безнадежное. — А как она тебя начнет трепать, тут и сила вся пропадет — перышка поднять не можешь.

Шируотер покачал головой.

— И даже сердце? — Миссис Вивиш подняла брови. — Ах, теперь, когда произнесено неизбежное слово, на сцену выступает единственная подлинная тема всякого разговора. Любовь, мистер Шируотер!

— Но я ничего не говорю, — снова уступил человек с чашкой, — жили помаленьку, да и не так уж плохо. Грех было бы жаловаться. Верно я говорю, Флорри?

Черный узел в знак согласия качнул своей верхней оконечностью.

— Эта тема, — сказал Шируотер, — принадлежит к тому же роду, что и Китайская стена или биология плоских глистов: я не позволю себе интересоваться ею.

Миссис Вивиш рассмеялась, еле слышно прошептав удивленное и недоверчивое «Господи», и спросила:

— А почему?

— Нет времени, — объяснил он. — Вам, людям праздным и обеспеченным, думать больше не о чем. Я занят делом и поэтому, естественно, меньше интересуюсь этой темой, чем вы; и, больше того, я нарочно ограничиваю имеющийся у меня к ней интерес.

— И вот еду я как-то через Л юдгэт с грузом для одного типа в Клеркенвелле. Веду это я Джерри под уздцы вверх по холму; Джерри — это наш старый пони...

— Нельзя иметь все сразу, — объяснил Шируотер, — во всяком случае, одновременно нельзя. Теперь я устроил свою жизнь так, чтобы работать. Я женат, я мирно удовлетворяю свои потребности в домашней обстановке.

— Quelle horreur!^[51] — сказал мистер Меркаптан. Сидевший в нем аббат восемнадцатого века был потрясен и возмущен этими словами.

— Но любовь? — спросила миссис Вивиш. — Любовь?

— Любовь! — отозвался Липиат. Он смотрел на Млечный путь.

— Вдруг на меня налетает фараон. «Сколько лет твоей лошади? — говорит он. — Она не может возить тяжести, она припадает на все четыре ноги», — говорит. «Неправда», — говорю я. «Не смей мне возражать, — говорит он. — Распрягите ее сию же минуту».

— Но я уже знаю все о любви. Тогда как о почках я знаю невероятно мало.

— Но, дорогой Шируотер, как можете вы знать все о любви, если вы не занимались ею со всеми женщинами на свете?

— Ну, мы и пошли, я и фараон и лошадь, прямехонько в полицейский участок...

— Или вы принадлежите к числу тех кретинов, — продолжала миссис Вивиш, — которые говорят о женщине с большого Ж и утверждают, будто мы все одинаковы? Бедный Теодор, вероятно, думает так в минуты слабости. — Гамбрил неопределенно улыбнулся откуда-то издали. Он входил вслед за человеком с чашкой чая в душный полицейский участок. — И конечно, Меркаптан, потому что все женщины, сидевшие на его софе Louis Quinze,^[52] походили одна на другую, как две капли воды. Возможно, Казимир тоже: все женщины похожи на его безумный идеал. Но вы, Шируотер, вы человек умный. Неужели вы верите в подобную чепуху?

Шируотер покачал головой.

— Фараон давал показания против меня. «Припадала на все четыре ноги», — говорит. «Ничего не припадала», — говорю я, а полицейский ветеринар за меня заступился: «С лошадью, — говорит, — обращались очень хорошо. Но она старая, очень старая». «Знаю, что старая, — говорю я. — А где я, по-вашему, возьму денег купить себе молодую?»

— $x^2 - y^2$, — говорил Шируотер, — $= (x + y)(x - y)$. И уравнение сохраняет силу при любых значениях x и y ... То же самое и с вашей любовью, миссис Вивиш. Уравнение остается таким же, независимо от того, каковы личные свойства подставляемых в него величин. Мелкие индивидуальные тики и особенности — какое они, в конечном счете, имеют значение?

— Какое, в самом деле? — сказал Колмэн. — Тики — всего лишь тики. Тики, и таки, и токи, и туки, и минеральные удобрения...

— «Лошадь нужно уничтожить, — говорит полисмен. — Она слишком стара, чтобы работать». «Она-то стара, — говорю я, — да я не стар. Что, мне разве станут платить пенсию в тридцать два года? Как я стану зарабатывать себе на хлеб, если вы заберете у меня лошадь?»

Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась.

— Вот человек, который считает, что личные особенности пошлы и незначительны, — сказала она. — Вы, значит, даже не интересуетесь людьми?

— «Что вы будете делать, это меня не касается, — говорит он. — Мое дело — привести в исполнение закон». «Странные у вас законы, как я погляжу. — говорю я. — Что это за закон такой?»

Шируотер почесал в затылке. Потом под его огромными черными усами показалась наивная детская улыбка.

— Нет, — сказал он. — Похоже на то, что не интересуюсь. Пока вы не

сказали, мне это в голову не приходило. Но похоже на то, что нет. Нет. — Он рассмеялся, по-видимому, в восторге от этого открытия насчет самого себя.

— «Какой закон? — говорит он. — Закон о жестоком обращении с животными. Вот какой закон», — говорит.

Насмешливая и болезненная улыбка появилась и погасла.

— В один прекрасный день, — сказала миссис Вивиш, — они, может быть, покажутся вам более достойными внимания, чем теперь.

— А до тех пор... — сказал Шируотер.

— Здесь работу не найдешь, а как работал я сам за себя, хозяином, то и на пособие по безработице мне рассчитывать нечего. И когда мы прослышали, что в Портсмуте есть места, мы решили попытаться, даже если бы пришлось переть туда пешком.

— К тому же у меня — мои почки.

— «И не надейтесь, — говорит он мне, — и не надейтесь. Человек двести явилось, а мест всего три». Что ж нам оставалось делать? Мы и пошли назад. На этот раз четыре дня шагали. Ей стало плохо по дороге, очень плохо. Она у меня на шестом месяце. У нас это первый. А когда родится, еще трудней станет.

Из черного узла раздалось негромкое рыдание.

— Послушайте, — сказал Гамбрил, внезапно врываясь в разговор. — Какая ужасная история! — Он горел негодованием и состраданием, он чувствовал себя пророком в Ниневии. — Тут два несчастных создания. — И Гамбрил вполголоса рассказал им все, что он слышал. — Это ужасно, ужасно. Всю дорогу в Портсмут и обратно пешком, полуголодные; а женщина в положении.

Колмэна взорвало от восторга.

— В положении, — повторил он, — в положении, положении. Закон всемирного положения, впервые сформулированный Ньютоном, а ныне исправленный и дополненный божественным Эйнштейном. Бог сказал: да будет Ньюштейн, и бысть свет. И Бог сказал: да будет свет, и бысть тьма на земле от шестого часа до девятого. — Он хохотал во всю глотку.

Они собрали пять фунтов. Миссис Вивиш взялась передать их черному узлу. Шоферы расступились перед ней; наступило неловкое молчание. Черный узел поднял лицо, старое и изнуренное, как лицо статуи на портале средневекового собора; старое лицо, но при взгляде на него было ясно, что принадлежит оно женщине еще молодой. Ее рука дрожала, когда она взяла банкноты, а когда она открыла рот и произнесла едва слышные слова благодарности, стало видно, что у нее не хватает нескольких зубов.

Компания распалась. Каждый пошел своей дорогой: мистер Меркаптан направился в свой будуар рококо, в свою миленькую спальню барокко на Слон-стрит; Колмэн с Зоэ — к бог знает каким сценам интимной жизни в Пимлико; Липиат — в свою мастерскую в районе Тоттенхэм-Корт-род, одинокий, грустно-мечтательный и, быть может, чересчур сознательно сгибаясь под тяжестью несчастий. Но несчастье бедного Титана было вполне реальным, потому что разве он не видел, как миссис Вивиш уехала в одном такси с этим неотесанным болваном Опп-сом? «Нужно закончить танцами», — прохрипела Майра со смертного одра, на котором вечно пребывал ее беспокойный и усталый дух. Бруин послушно дал адрес, и они уехали. А после танцев? О, неужели возможно, что этот жуткий ублюдок — ее возлюбленный? И чем он ей нравится? Неудивительно, что Липиат шел согнувшись, как Атлас под тяжестью Вселенной. И когда на Пиккадилли запоздалая и неудачливая проститутка выскользнула из темноты навстречу ему, шагавшему, не замечая ничего вокруг — до такой степени он был поглощен своим горем, — и окликнула его безнадежным «развеселись, мальчик», Липиат откинул голову назад и титанически рассмеялся с жуткой горечью благородной и страждущей души. Даже на несчастных уличных женщин действовало горе, излучавшееся из него волна за волной, подобно музыке, как он это любил себе представлять, в ночную тьму. Даже уличные женщины. Он шагал и шагал, еще более безнадежно согбенный, чем раньше; но больше он никого не встретил.

Гамбрил и Шируотер жили оба в Паддингтоне: они вместе молча зашагали через Парк-лейн. Гамбрил переменил шаг на ходу, чтобы попасть в ногу со своим спутником. Идти не в ногу, когда шаги так громко и гулко звучат на пустом тротуаре, было, по его мнению, неприятно, неловко и даже почему-то опасно. Шагая не в ногу, человек, так сказать, выдает себя, дает ночи почувствовать, что идут два человека, тогда как, если шаги звучат в унисон, можно подумать, что идет только один человек, ступающий тяжелей, внушительней и уверенней, чем каждый в отдельности. Итак, они шли в ногу по Парк-лейн. Полисмен и три поэта, повернувшиеся друг к другу спиной, каждый у своего фонтана, — вот и все человеческие существа, кроме них двоих, пребывавшие в сиреновом свете электрических лун.

— Это ужасно, это возмутительно, — сказал наконец Гамбрил после очень долгого молчания, в продолжение которого он смаковал свое возмущение по поводу всего этого. — Жизнь, видите ли...

— Что возмутительно? — осведомился Шируотер. Он шел, наклонив свою большую голову, сжимая шляпу руками, заложенными за спину; шел

неуклюже, на каждом шагу переваливаясь всем своим грузным телом. Где бы ни находился Шируотер, он всегда занимал столько места, сколько заняли бы два или три обыкновенных человека. Освежающие пальцы прохладного ветра перебирали его волосы. Он обдумывал опыт, который намеревался поставить у себя в физиологической лаборатории в ближайшие дни. Нужно посадить человека за эргометр в нагретой камере и заставить его работать по несколько часов подряд. Он, разумеется, будет усиленно потеть. Нужно будет устроить приспособления, чтобы собирать пот, взвешивать его, анализировать и так далее. Интересно будет посмотреть, что получится через несколько дней. Из его организма выйдет столько солей, что может измениться состав крови; могут произойти также и другие весьма любопытные вещи. Опыт будет замечательный. Восклицание Гамбрила нарушило ход его мыслей. — Что возмутительно? — спросил он несколько раздраженно.

— Эти люди в ночном кафе, — ответил Гамбрил. — Возмутительно, что человеческим существам приходится жить так. Хуже, чем собакам.

— Собакам жаловаться не на что. — Шируотер ухватился за какое-то боковое ответвление его мысли. — Равно как и морским свинкам и крысам. Все эти проклятые антививисекциони-сты шумят, сами не зная из-за чего.

— Но вы только подумайте, — воскликнул Гамбрил, — что пришлось пережить этим несчастным! Пешком всю дорогу до Портсмута в поисках работы; а женщина — беременная. Это ужасно. А потом, как ужасно обращаются с людьми, принадлежащими к их классу. Это невозможно себе представить, пока сам не испытаешь. На войне, например, когда полковые врачи выслушивали у вас легкие, они обращались с вами так, точно вы тоже принадлежите к низшему классу, точно вы тоже один из этих несчастных. Это раскрывало вам глаза на многое. Вы чувствовали себя как корова, которую втолкнули в товарный вагон. И подумать только, что большинство наших ближних всю свою жизнь подвергается таким вот издевательствам!

— Гм, — сказал Шируотер. «Если человек будет потеть и потеть до бесконечности, — решил он, — он в конечном счете умрет».

Гамбрил посмотрел сквозь ограду в глубокую тьму парка. Тьма была огромна и меланхолична; то здесь, то там ее пронизывала нить уходящих вдаль огней.

— Ужасно, — сказал он и несколько раз повторил это слово: — Ужасно, ужасно.

Все безногие солдаты, вертящие шарманку, все лоточники в рваных башмаках, продающие безделушки на мокрых тротуарах Стрэнда; на углу

Карситор-стрит и Чансери-лейн старуха со спичками, вечно держащая у левого глаза платок, такой же желтый и грязный, как зимний туман. Что у нее с глазом? Он никогда не осмеливался взглянуть и проходил мимо, будто не замечая ее, или порой, когда туман был особенно холодный и промозглый, останавливался на мгновение и, отвернувшись, бросал ей медную монетку на поднос со спичками. И убийцы, которых вешают в восемь часов утра, когда человек смакует в сладостном полузабытьи последние остатки сновидений. И чахоточная поденщица, приходившая работать к его отцу до тех пор, пока не ослабела окончательно и не умерла. И влюбленные, отравлявшиеся газом, и разорившиеся лавочники, бросавшиеся под поезд. Имеет ли человек право быть довольным и сытым, имеет ли он право на образование и на хороший вкус, право на знания и на разговоры и на утонченную сложность любви?

Он еще раз взглянул сквозь ограду на непроницаемую древесную тьму парка, на бусы огней. Он взглянул — и вспомнил другую ночь, много лет назад, в годы войны, когда огней в парке не было, а электрические луны на улицах были почти все в затмении. Он шел один по этой же улице, обуреваемый меланхолией, которая, хотя причина ее была иной, как две капли воды походила на меланхолию, переполнявшую его душу сегодня. В то время он был влюблен до безумия.

— Что вы думаете, — внезапно спросил он, — о Майре Вивиш?

— Что я о ней думаю? — сказал Шируотер. — Пожалуй, я вообще ничего о ней не думаю. Она ведь не очень подходящий материал для размышлений, не правда ли? Как женщина, впрочем, она показалась мне довольно привлекательной. Я обещал пообедать с ней в четверг.

Гамбрил вдруг почувствовал потребность излить душу.

— Было время, — сказал он деланно безразличным, легкомысленным и небрежным тоном, — много лет назад, когда я совершенно потерял из-за нее голову. Совершенно... — Эти влажные пятна от слез на подушке, такие холодные, когда в темноте положишь на них щеку; и нестерпимая боль, когда плачешь, бессмысленно, о чем-то, что ровно ничего не значит, что значит все на свете! — Это было в конце войны. Помню, я шел однажды ночью по этой мрачной улице, в полной темноте, корчась от ревности. — Он замолчал. Как привидение, как темный, преследующий дух, он ходил за ней по пятам, безмолвно, безмолвно умоляя, взывая о любви. «Слабый безмолвный человек», — говорила она о нем. Однажды, на два или на три дня, из жалости, а может быть, просто из желания отделаться от утомительного призрака, она дала ему то, о чем он молча безнадежно молил, — дала только для того, чтобы почти сейчас же отнять у него свой

дар. В ту ночь, когда он шел по этой же улице, желание выпило из него всю жизнь, и его тело казалось опустошенным, до боли, до страдания пустым; ревность неустанно напоминала ему, с беспощадной злобой, о ее красоте — о ее красоте и о тех ненавистных руках, что теперь ласкали ее, о тех глазах, что теперь смотрели на нее. Все это было давным-давно.

— Она безусловно хороша, — сказал Шируотер, с запозданием отвечая на одну из последних фраз Гамбрила. — Я охотно признаю, что она может доставить человеку, связавшемуся с ней, немало тяжелых минут. — Ему вдруг пришло в голову, что после одного или двух дней непрерывного потения человеку, возможно, будет приятнее утолять жажду морскою водой, чем пресной. Это было бы очень занятно.

Гамбрил разразился дьявольским хохотом.

— Но было и другое время, — развязно продолжал он, — когда другие люди ревновали ее ко мне. — О, месть, месть! В лучшем мире воображения можно было расплатиться за старые обиды. Какие демонические вендетты доводились в этом мире до благополучного конца! — Помню, я как-то написал ей французское четверостишие. — (Он написал его через несколько лет, когда все уже давным-давно кончилось, он никогда никому его не посылал; но это не имело значения.) — Как это там было? Ага, вспомнил. — И он продекламировал, сопровождая стихи соответствующими жестами:

Puisqu' nous sommes la, jc dois
Vous avertir, sans trop de honte,
Que je n'egale pas le Comte
Casanovesque de Sixfois. [\[53\]](#)

Льщу себя надеждой, что получилось довольно изящно. Вернее — элегантная грубость.

Хохот Гамбрила раскатывался под Мраморной Аркой. Но на углу Эджуэр-род он внезапно смолк. Гамбрил вдруг вспомнил мистера Меркаптана, и эта мысль охладила его пыл.

ГЛАВА VI

Липиат жил и работал в «Божественных Конюшнях», как он выражался со свойственным ему пристрастием к философским каламбурам, между Уайтфилд-стрит и Тоттенхэм-Корт-род. Нужно было пройти под неоштукатуренной, почерневшей от копоти кирпичной аркой (ночью, когда зеленый газовый фонарь бросал полупрозрачный свет и огромные архитектурные тени, можно было подумать, что находишься у входа в какую-нибудь тюрьму с гравюры Пиранези), чтобы попасть в длинный тупик, окаймленный с обеих сторон низкими строениями, где помещались стойла для лошадей, а над ними, в чердачных помещениях, — менее комфортабельные стойла для людей. Старомодный запах конюшни смешивался с более современной вонью перегоревшего бензина. Воздух здесь, казалось, был более спертый, чем на других улицах, и даже в самые ясные дни очертания предметов становились с каждым шагом все расплывчатей и неопределенней, краски все гуще и темней. «Во всем мире не найти лучшего места, — говаривал Липиат, — для того, чтобы изучать перспективу». Вот почему он поселился здесь. Но у собеседников Липиата всегда создавалось впечатление, что в его шутливом отношении к своим несчастьям, пожалуй, чересчур уж много самодовольства.

Такси миссис Вивиш проехало под пиранезовской аркой, медленно въехало в тупик — медленно и как бы неохотно, словно боясь замарать свои белые колеса о такую грязную мостовую. Шофер вопросительно посмотрел на миссис Вивиш.

— Сюда?.. — спросил он.

Затянутым в белую перчатку пальцем миссис Вивиш два или три раза ткнула в воздух, указывая этим, что нужно ехать прямо вперед. В середине тупика она постучала по стеклу; шофер остановил машину.

— Никогда в жизни не был в этих местах, — сказал он, чтобы немного поговорить, пока миссис Вивиш отыскивала деньги. Он смотрел на нее с вежливым и слегка ироническим любопытством, к которому примешивалось откровенное восхищение.

— Ваше счастье, — сказала миссис Вивиш. — Мы, несчастные упадочные дамы, — видите сами, до чего мы доведены. — И она протянула ему флорин.

Шофер медленно расстегнул куртку и опустил монету во внутренний карман. Он следил за ней, пока она переходила грязную улицу, переставляя

ноги с пунктуальной точностью по одной линии, точно она шагала по лезвию ножа между бог знает какими незримыми пропастями. Она, казалось, не шла, а порхала, — слегка подпрыгивая на каждом шагу, и юбка ее летнего платья — оно было белое, сплошь украшенное черным набивным узором — легкомысленно раздувалась в такт ее раскачивающейся походке. Да уж точно, что упадочные дамы! Шофер рванул машину с ничем не оправданной яростью; он почему-то пришел в совершенное негодование.

Между широкими двойными воротами, через которые лошади проходили на кормежку и на отдых, помещались узенькие дверцы для людей — для йэху, ^[54] как по своей склонности к намекам любил говорить Липиат; при этом он громогласно и цинично смеялся, с видом непонятого и преисполненного горечью Прометей. Миссис Вивиш остановилась у одной из этих дверей для йэху и постучалась настолько громко, насколько позволял маленький, туго поворачивающийся на петлях молоточек. Она терпеливо ждала; несколько грязных ребятишек собралось поглазеть на нее. Она постучала снова и снова подождала. С дальнего конца тупика пробежало еще несколько ребятишек; на пороге соседнего дома появились две пятнадцати-шестнадцатилет-ние девицы, немедленно разразившиеся невеселым смехом, похожим на лай гиены.

— Ты когда-нибудь читал о гамельнском крысолове? — спросила миссис Вивиш у ближайшего мальчишки. Тот в ужасе отпрянул. — Я так и думала, что нет, — сказала она и постучала снова.

Наконец послышался звук шагов, медленно спускавшихся по крутой лестнице; дверь открылась.

— Добро пожаловать в палаццо! — Такова была героическая формула гостеприимства Липиата.

— Наконец-то открыли! — оборвала его миссис Вивиш, подымаясь следом за ним по узкой, темной лестнице, крутой, как стремянка. На Липиате была бархатная куртка и парусиновые брюки, давно утратившие белизну. Волосы у него были растрепанные, а руки грязные.

— Вы стучали больше, чем один раз? — спросил он, оглядываясь назад.

— Не меньше двадцати раз, — как и полагается в таких случаях, преувеличила миссис Вивиш.

— Простите, Бога ради, — оправдывался Липиат. — Знаете, я так увлекся работой. Вы долго ждали?

— Ребятам это доставило массу удовольствия. — Миссис Вивиш раздражало подозрение, возможно, необоснованное, что Казимир увлекся

работой нарочно; что он слышал ее первый стук и еще глубже погрузился в те глубины вдохновения, в коих пребывает или должен пребывать подлинный художник, — погрузился для того, чтобы при третьем ее стуке вернуться к действительности, медленно, неохотно, может быть, даже проклиная назойливый мир, прерывающий своим шумом поток его вдохновения. — Как странно они глазают на людей, — продолжала она, и в ее умирающем голосе послышалось раздражение, причиной которого были, очевидно, не ребята. — Неужели я такое чучело?

Липиат распахнул дверь в конце лестницы и остановился на пороге, ожидая ее.

— Странно? — повторил он. — Нисколько. — И когда она прошла вслед за ним в комнату, он положил руку ей на плечо и пошел с ней в ногу, отпустив дверь, с шумом захлопнувшуюся за ними. — Скорее пример инстинктивной ненависти толпы к аристократической личности. И только. «Ах, почему я родился не с таким лицом, как у всех?» К счастью, лицо у меня действительно не такое, как у всех. У вас тоже. Но это имеет и свою дурную сторону: дети швыряют в нас камни.

— Они в меня не бросали камни. — На этот раз миссис Ви-виш сказала полнейшую правду.

Они остановились посреди мастерской. Это была не очень большая и почти пустая комната. В центре стоял мольберт; Липиат старался, чтобы пространство вокруг него было всегда свободным. Широкий проход вел к двери; другой, более узкий, вился между ящиками, сбитой в кучу мебелью и разбросанными книгами, открывая доступ к кровати. В мастерской было пианино и стол, постоянно заставленный грязными тарелками и заваленный остатками двух или трех обедов. По обе стороны камина были книжные полки; книги валялись по всей комнате — одна пыльная груда за другой. Миссис Вивиш рассматривала картину на мольберте (опять абстракция — ей это не нравилось), а Липиат, сняв руку с ее плеча и отойдя немного назад, чтобы лучше видеть, внимательно рассматривал миссис Вивиш.

— Можно вас поцеловать? — спросил он после некоторой паузы.

Миссис Вивиш повернулась к нему, страдальчески улыбаясь; брови у нее иронически поднялись, а бледные ярко-невыразительные глаза смотрели пристально и спокойно.

. — Если вам это доставит удовольствие, — сказала она. — Мне лично — никакого.

— Сколько страданий вы мне доставляете, — сказал Липиат, и сказал это так просто и естественно, что Майра была просто ошарашена: она

привыкла, чтобы Казимир выражал свои чувства гораздо громогласней и многословней.

— Мне очень жаль, — сказала она; и ей в самом деле было жаль. — Но что я могу поделать?

— Вероятно, ничего, — сказал он. — Ничего, — повторил он, и его голос снова стал голосом исполненного горечи Прометея. — . Тигрицы тоже ничего не могут поделать. — Он принялся шагать взад и вперед вдоль свободного прохода между мольбертом и дверью; Липиат любил говорить, расхаживая по комнате. — Вам нравится играть с жертвой, — продолжал он, — чтобы она умирала медленной смертью.

Успокоенная, миссис Вивиш слегка улыбнулась. Это был привычный Казимир. До тех пор, пока он говорил подобным образом, говорил, как герой старомодного французского романа, все было в порядке: значит, он на самом деле вовсе не так уж несчастен. Она села на ближайший свободный стул. Липиат продолжал расхаживать взад и вперед, размахивая при этом руками.

— Но, может быть, страдания хороши, — продолжал он, — может быть, они неизбежны и необходимы. Может быть, мне следовало бы благодарить вас. Способен ли творить художник, когда он счастлив? Захочет ли он тогда творить? Что такое искусство, как не протест против безжалостной суровости жизни? — Он остановился перед ней, протянув руки жестом, выражавшим вопрос. Миссис Вивиш слегка пожала плечами. Она не знала; она не могла ответить. — Ах, все это чепуха, — снова взорвался он, — чепуха и вздор. Я хочу быть счастливым, довольным, признанным: ведь тогда я мог бы лучше работать. И прежде всего, больше всего я хочу вас; хочу, чтобы вы принадлежали мне, и никому больше, и навсегда. И это желание, как ржавчина, разъедает мне сердце, как моль, прогрызает дыры в ткани моего сознания. А вы только смеетесь. — Он поднял руки и безжизненно уронил их.

— Да нет, я не смеюсь, — сказала миссис Вивиш. Напротив, ей было очень жалко его; хуже того — он начал ей надоедать. Когда-то, в продолжение нескольких дней, она думала, что может его полюбить. Его буйная стремительность казалась бурным потоком, способным унести ее. Она очень скоро обнаружила свою ошибку. После этого он некоторое время забавлял ее; теперь он ей наскучил. Нет, решительно, она вовсе не смеялась. Она спрашивала себя, почему она продолжает с ним встречаться. Просто потому, что нужно же с кем-нибудь встречаться? Или почему-нибудь еще?

— Вы намерены продолжать портрет? — спросила она. Липиат

вздыхнул.

— Да, — сказал он. — Пожалуй, мне лучше приняться за работу. Работа — единственное, что мне остается. «Портрет тигрицы». — Циничный титан снова заговорил в нем. — Или лучше назвать его «Портрет женщины, не знавшей любви»?

— Очень глупое название, — сказала миссис Вивиш.

— Или «Портрет сердечной болезни художника»? Это было бы здорово, чертовски здорово! — Липиат засмеялся очень громко и хлопнул себя по бедрам.

Когда он смеется, подумала миссис Вивиш, он делается особенно уродливым. Его лицо словно распадается на кусочки; не остается ни одного живого места — все искажает и сморщивает напряженная гримаса веселья. Когда он смеется, даже лоб пропадает. Обычно лбы — самая человеческая часть человеческих лиц. Пускай нос морщится, рот склабится, глаза мигают по-обезьяньему — но лоб остается по-прежнему спокойным и невозмутимым, лоб умеет сохранять человеческий облик. Но когда смеялся Казимир, его лоб тоже принимал участие в гримасе, разлагавшей его лицо. Иногда бывало и так, что лоб выходил из равновесия, дергался и покрывался морщинами даже тогда, когда Липиат не смеялся, а просто оживленно разговаривал. «Портрет сердечной болезни художника» — ей это показалось совсем не остроумным.

— Критики подумают, что это проблемная картина. И они будут правы, черт возьми, они будут правы. Вы — живая проблема. Вы — сфинкс. Хотел бы я быть Эдипом и убить вас!

Опять эта мифология! Миссис Вивиш покачала головой.

Он пробрался сквозь хлам, загромождавший ему путь, и взял в руки холст, стоявший лицом к стене возле окна. Держа его в вытянутой руке и критически склонив голову набок, он принялся рассматривать его.

— Да, это хорошо, — тихо сказал он. — Хорошо. Взгляните — ка. — И, выбравшись снова на середину комнаты, он приставил картину к ножке стола, чтобы миссис Вивиш могла рассмотреть ее, не вставая с места.

Это была Майра в грозе и буре; это был вид на Майру, так сказать, сквозь ураган. Липиат искажил в портрете ее пропорции, сделал ее длинней и тоньше, чем она была на самом деле, превратил ее руки в узкие трубки, придал яркий металлический блеск ее щекам. Фигура на портрете, казалось, слегка накренилась назад и набок, как статуэтка из слоновой кости, вырезанная из изогнутого конца большого клыка. Только у Липиата изгиб почему-то был лишен изящества, он казался ненужным и бессмысленным.

— Вы изображаете меня так, — сказала наконец миссис Вивиш, — точно меня исковеркало порывом ветра. Все это показное неистовство — к чему оно?

Портрет не нравился ей, совсем не нравился. Но Казимира ее замечание привело в восторг. Он хлопнул себя по бедрам и снова разразился своим беспокойным хохотом, разлагающим лицо на составные части.

— Да, черт возьми, — кричал он, — вы правы! Исковеркало ветром. Вот именно: в самую точку. — Он снова принялся расхаживать взад и вперед по комнате, размахивая руками. — Ветер, великий ветер, живущий во мне. — Он хлопнул себя по лбу. — Ветер жизни, дикий западный ветер. Я чувствую его внутри себя, он дует, дует. Он уносит меня в своем порыве; ибо, хотя он внутри меня, он больше, чем я, он — сила, приходящая откуда-то извне, он — сама Жизнь, он — Бог. Своим порывом он несет меня навстречу враждебной судьбе, он заставляет меня работать, бороться. — Липиат был похож на человека, который ночью идет по опасной дороге и поет, чтобы придать себе больше веса и значительности. — И когда я рисую, когда я пишу или импровизирую, он сгибает своим дуновением все, что заключено в моем сознании, толкает все в одном направлении; и поэтому все, что я творю, похоже на дерево, стремящееся всеми своими ветвями на северо-восток, тянущееся всем своим стволом вверх, точно спасаясь от бури с Атлантики.

Липиат вытянул руки вперед и, широко растопырив пальцы, дрожавшие от чрезмерного мускульного напряжения, стал медленно двигать ими вверх и вбок, точно проводя ладонями снизу вверх по стволу искривленного ветром деревца на вершине холма, поднимающегося над океаном.

Миссис Вивиш продолжала осматривать незаконченный портрет. Он был таким же крикливым, несложным и бьющим на эффект, как рекламы вермута на падуанских улицах. Чин-цаио, Бономелли, Кампари — прославленные имена! Тем временем фрески Джотто и Мантеньи плесневели в своих часовнях. — А теперь взгляните на это, — не унимался Липиат. Он снял картину, стоявшую на мольберте, и предложил ее на рассмотрение Майры. Это была одна из абстрактных композиций Казимира: процессия машиноподобных фигур, стремящихся вверх по диагонали справа налево, и нечто похожее на поток энергии, рвущейся с гребня волны по направлению к правому верхнему углу. — Эта картина, — сказал он, — символизирует завоевательный дух художника, атакующего Вселенную, овладевающего ею. — Он принялся декламировать:

Смотри, Конквистадор,
Там на ковре долины, средь озер,
Блестят алмазы городов;
Там Тлакопан и там Чалеко
Ждут приближенья Человека.
Смотри на Мексику, Конквистадор, —
Страну твоих алмазных грез.

А вот та же идея, выраженная в музыке, — и Липиат бросился к пианино и вызвал из его недр искаженный призрак Скрябина. — Понимаете? — лихорадочно спросил он, когда призрак был оставлен в покое и плачевное бречанье снова сменилось тишиной. — Чувствуете? Художник атакует мир, завоевывает его, облакает его красотой, придает ему моральную значимость. — Он вернулся к картине. — Хорошая будет штука, когда я ее закончу, — сказал он. — Потрясающая. В ней тоже чувствуется дуновение ветра. — И указательным пальцем он изобразил в воздухе стремительный натиск фигур. — Великий юго-западный ветер стремится их вперед. Они «летят, как листья по приказу чародея». Ко не хаотически, не беспорядочно. Порыв стремится их вперед, так сказать, маршевой колонной; порыв сознательного ветра.

Он приставил картину к ножке стола; руки у него освободились, и он снова мог расхаживать по комнате и потрясать своими конквистадорскими кулаками.

— Жизнь, — сказал он, — жизнь... вот великая, единственно подлинная реальность. Нужно насытить жизнью свои произведения, иначе грош им цена. А жизнь возникает только из жизни, из страсти и чувства; из теорий ее не извлечешь. Вот почему так бессмысленна вся эта болтовня об искусстве для искусства, об эстетических эмоциях, о формальном мастерстве и так далее. Их теория учит, что все дело в формальных соотношениях, что одна тема так же хороша, как любая другая. Достаточно посмотреть на картины людишек, осуществляющих эту теорию, чтобы убедиться, какой все это вздор. Жизнь возникает из жизни. Нужно писать со страстью, а страсть сама заставит интеллект создать нужные формальные соотношения. А писать со страстью можно только то, к чему относишься страстно, — то, что трогает, то, что человечно. Никто, кроме

разве пантеистического мистика вроде Ван Гога, не может относиться к скатертям, яблокам и бутылкам так же страстно, как к лицу любимой женщины, или к воскресению из мертвых, или к судьбам человека. Разве сумел бы Манте-нья создать свое изумительное искусство композиции, если бы он писал расставленные по столу фляги с кьянти и сыры вместо распятий, мучеников и триумфов великих людей? Только круглый идиот поверит этому. А я? Мог бы я написать этот портрет, если бы я не любил вас, если бы вы не убивали меня?

О, Бономелли и прославленный Чинцано!

— Со страстью я пишу страсть. Я извлекаю жизнь из жизни. И я желаю им находить радость в своих бутылках, и канадских яблоках, и грязных скатертях с гнусными складками, похожими на коровьи желудки, — Липиат снова распался на составные части в приступе смеха, потом замолк.

Миссис Вивиш кивнула, медленно и задумчиво.

— Пожалуй, вы правы, — сказала она. Да, он безусловно прав: должна быть жизнь; самое важное — это жизнь. Именно поэтому так плохи его картины — теперь она поняла; в них нет жизни.

Шума сколько угодно, и жестов, и неистовых дерганий гальванизированного трупа; но жизни нет — только показные, театральные претензии на нее. В акведуке есть трещина; где-то на полдороге между человеком и его творчеством жизнь вытекает наружу. Он слишком горячо оправдывается. Но это бессмысленно: мертвечину не скроешь. Ее портрет — это пляшущая мумия. Теперь Липиат наскучил ей. Может быть, она даже положительно не любит его? Этот вопрос возникал где-то в глубине, позади неменяющегося взгляда бледных глаз миссис Вивиш. Во всяком случае, подумала она, вовсе не обязательно любить всех тех, с кем имеешь дело. Есть интимный будуар, но есть и мюзик-холл; одних людей мы приглашаем на чашку чая и на tete-a-tete, а другие, исполнив свой номер, песенку или танец на сцене, которой сами они, бедняги! не замечают, доставив нам развлечение, уходят, получив свою награду в виде аплодисментов. Ну, а если они становятся скучными?

— Пожалуй, — сказал наконец Липиат, который все это время стоял неподвижно, кусая ногти, — пора начинать сеанс. — Он поднял с пола неоконченный портрет и поставил его на мольберт. — Я потратил впустую массу времени, — сказал он, а его, в конце концов, не так уж много, чтобы тратить зря. — Тон у него был угрюмый, и вся его фигура вдруг стала какой-то сморщенной, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. — Его не так уж много, — повторил он и вздохнул. — Я, видите ли,

все еще считаю себя молодым человеком, молодым и многообещающим. Казимир Липиат — какое молодое, многообещающее имя, не правда ли? Но я уже не молод, я вышел из того возраста, когда подают надежды. Иногда я понимаю это, и тогда мне делается больно и тяжело.

Миссис Вивиш взошла на помост и села на стоявший там стул.

— Так? — спросила она.

Липиат взглянул сначала на нее, потом на портрет. Ее красота, его страсть — неужели они сочетаются только на холсте? Ее любовником был Оппс. Время шло; он чувствовал усталость.

— Так хорошо, — сказал он и начал писать. — Сколько вам лет? — спросил он через минуту.

— Что-то вроде двадцати пяти, — сказала миссис Вивиш.

— Двадцать пять? Боже милосердный, почти пятнадцать лет прошло с тех пор, как мне было двадцать пять. Пятнадцать лет борьбы. Господи, как я порой ненавижу людей! Всех и каждого. И не столько за их враждебное отношение: тут я могу платить им той же монетой. Меня возмущает их молчание и равнодушие, их способность делаться глухими. Я хочу что-то сказать им, что-то важное и существенное. И я говорю об этом вот уж пятнадцать лет, я кричу об этом во всю глотку. А они не обращают внимания. Я приношу им на блюде свою голову и свое сердце. А они даже не замечают их. Иногда я спрашиваю себя, надолго ли меня хватит при таком положении. — Теперь он говорил очень тихо, его голос дрожал. — Мне ведь почти сорок, знаете... — Голос стал хриплым и замолк окончательно. Он принялся смешивать краски на палитре — медленно, точно это занятие отнимало у него все силы.

Миссис Вивиш смотрела на него. Да, он не молод: в эту минуту он выглядел даже старше своих лет. Перед ней стоял старик, осунувшийся, исхудалый, потрепанный. Он неудачник, он несчастен. Но мир был бы менее справедлив, менее разборчив, если бы наградил его успехом.

— Есть люди, которые в вас верят, — сказала она; больше ей нечего было сказать.

Липиат поднял глаза от работы.

— Вы? — спросил он.

Миссис Вивиш кивнула, преднамеренно. Это была ложь. Но можно ли говорить правду?

— И есть еще будущее, — подбодрила она его, и в ее умирающем голосе звучала пророческая убежденность. — Вам еще нет сорока; перед вами двадцать, тридцать лет работы. Другим ведь тоже приходилось ждать, иногда очень долго; а некоторые заслуживали признания только после

смерти. Великие люди, Блейк, например... — Ей вдруг стало ужасно стыдно: то, что она говорила, было слишком похоже на разговоры по душам доктора Фрэнка Крэйна. Но ей стало еще более стыдно, когда она увидела, что Казимир расплакался и что слезы медленно катятся по его щекам.

Он отложил палитру, он поднялся на помост, он встал на колени перед Майрой. Он сжал ее руку и склонился над ней, то прижимая ее ко лбу, точно рука эта была талисманом против мрачных мыслей, то целуя ее; а потом рука стала влажной от слез. Он плакал почти беззвучно.

— Ничего, — повторяла миссис Вивиш, — ничего, — и, положив свою другую руку на его склоненную голову, она стала поглаживать ее, как гладят голову большого пса, который подошел и ткнулся мордой вам в колени. Но, поглаживая, она чувствовала, что ее жесту не хватает интимности, что он лишен смысла. Если бы Казимир ей нравился, она стала бы перебирать пальцами его волосы; но почему-то его волосы внушали ей отвращение. — Ничего, ничего. — Но на самом деле было вовсе не ничего: он стоял перед ней на коленях, она утешала его, внутренне не имея на это никакого права, потому что вся эта сцена и все его страдания были ей совершенно безразличны.

— Вы единственный человек, — сказал он наконец, — который меня понимает, которому есть до меня дело.

Миссис Вивиш едва не рассмеялась.

Он снова принялся целовать ее руку.

— Прекрасная, чарующая Майра — такой вы были для меня всегда. Но теперь вы стали, кроме того, хорошей, доброй Май-рой — теперь, когда я знаю, что вы — добрая.

— Бедный Казимир! — сказала она. Почему всегда получается так, что посторонние люди впутываются в нашу жизнь? Если бы можно было организовать жизнь по принципу железной дороги! Параллельные пути — вот в чем секрет. На протяжении нескольких миль два поезда идут с одинаковой скоростью. Можно чудесно переговариваться из окна в окно; можно обменять омлет из своего вагона-ресторана на волован из чужого. А когда сказано все, что хотелось сказать, можно поддать пару, помахать рукой, послать воздушный поцелуй и умчаться дальше по гладким, полированным рельсам. Но вместо этого получается совсем другое: происходят крушения из-за неправильно переведенных стрелок, поезда налетают один на другой; или, на станциях, мимо которых проезжаешь, в поезд садятся посторонние люди, которые оказываются очень надоедливыми и не дают себя высадить. Бедный Казимир! Но он ее

раздражает, он невероятно скучен. Ей следовало бы перестать с ним встречаться.

— Значит, вы не совсем не любите меня?

— Ну конечно, нет, бедный Казимир!

— Если бы вы знали, как безумно я вас люблю! — Он безнадежным взглядом посмотрел на нее снизу вверх.

— Зачем? — сказала миссис Вивиш.

— Вы знали когда-нибудь такую любовь, что, кажется, от нее можешь умереть? Такую, что все время испытываешь боль? Как от раны. Вы когда-нибудь знали ее?

Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась, медленно кивнула и сказала:

— Пожалуй. Но ведь от нее не умирают, знаете. От любви не умирают.

Липиат откинулся всем корпусом назад и пристально смотрел на нее. Слезы высохли; щеки у него горели.

— Знаете ли вы любовь, — спросил он, — заставляющую желать физической боли, которая одна может успокоить боль душевную? Вы не знаете ее. — И вдруг, сжав кулаки, он принялся изо всей силы колотить по помосту.

Миссис Вивиш нагнулась и схватила его за руку, пытаясь остановить его.

— Вы с ума сошли, Казимир, — сказала она. — С ума сошли. Перестаньте, — сердито приказала она.

Липиат рассмеялся так, что все черты его лица исказила гримаса, и продемонстрировал Майре свои окровавленные пальцы. Кожа на суставах свисала белыми лохмотьями, и из-под них на поверхность медленно просачивалась кровь.

— Смотрите, — сказал он и рассмеялся снова.

Потом вдруг с необыкновенным проворством он вскочил на ноги, спрыгнул с помоста и снова зашагал по широкому проходу между мольбертом и дверью.

— К черту, — повторил он, — к черту, к черту! Да, я силен! Я еще поборюсь с вами, сволочи проклятые! Да, и победа будет моя! Художник... — Он призвал на помощь этот традиционный призрак, и тот принес ему утешение; жестом человека, ищущего защиты, он облекся в обширные складки его яркого плаща. — Художник не смиряется перед несчастиями. Он черпает в них новую силу. Под пытками он рождает новые шедевры...

Он заговорил о своих книгах, стихах, картинах; о всех великих вещах,

заклученных в его мозгу, и о всем том, что он уже создал. Он говорил о своей выставке — да, черт возьми, это их потрясет, это им наконец покажет, с кем они имеют дело. Кровь прилила к его лицу; красные пятна выступили на его выдающихся скулах. Он чувствовал, как теплая кровь бьется в его глазах. Он громко смеялся: это был смеющийся лев. Он раскинул руки; он был огромен, его руки были как ветви кедра. Художник шествовал по миру, провожаемый воем и тывканьем жалких шавок. Великий ветер дул и дул, унося его в своем порыве; ветер подымал его на воздух, и он летел.

Миссис Вивиш слушала. Похоже на то, что с работой над портретом на этот раз покончено.

ГЛАВА VII

Был вернисаж для представителей прессы. Начали прибывать рецензенты; мистер Олбермэл вращался среди них с княжеской приветливостью. Его юный помощник вертелся у всех под ногами, прислушиваясь к тому, что говорят великие люди, и изо всех сил делал вид, что он не подслушивает. Картины Липиата висели по стенам, а каталог Липиата, распухший от предисловия и множества примечаний, был у каждого в руках.

— Очень сильно, — повторял мистер Олбермэл. — В самом деле, очень сильно! — Это был его пароль на сегодняшний день.

Маленький мистер Клью, представлявший «Дневную почту», был склонен восторгаться.

— Какое замечательное предисловие, — сказал он мистеру Олбермэлу, подняв глаза от каталога. — И какие картины. Что за *impasto*.^[55]

«*Impasto, impasto*», — юный помощник незаметно проскользнул к своему столу и взял это слово на заметку. Надо будет посмотреть в «Словаре художественных терминов» Грэбба. Он снова пробрался, сторонкой и как будто случайно, поближе к мистеру Клью.

Мистер Клью принадлежал к числу тех немногих людей, которые относятся к искусству с подлинной страстью. Он любил живопись, всякую живопись, без разбора. В картинной галерее он чувствовал себя, как турок в гареме: он обожал всех решительно. Он любил Мемлинга так же пламенно, как Рафаэля, он любил Грюневальда и Микеланджело, Хольмана Хэнта и Мане, Ромнея и Тин-торетто; как счастлив он был бы с ними со всеми! Иногда, правда, он ненавидел; но это бывало лишь до тех пор, пока привычка не порождает любовь. Так, на первой выставке постимпрессионистов, в 1911 году, он занял непримиримую позицию. «Это непристойный фарс», — писал он тогда. Теперь, однако, он был самым страстным поклонником Матисса. Как знаток и *Kunstforscher*,^[56] мистер Клью пользовался большим авторитетом. Ему приносили какую-нибудь грязную старую картину, и он сейчас же восклицал: «Ну да, это Эль Греко или Пьяццетта» — или называл еще какое-нибудь подходящее имя. На вопрос, откуда он это знает, он пожимал плечами и говорил: да тут в каждой линии подпись имярека. Его уверенность и энтузиазм были заразительны. С тех пор как в моду вошел Эль Греко, он открыл несколько десятков ранних полотен этого великого художника. Для одной только

коллекции лорда Питерсфилда он нашел четыре ранних Эль Греко, все произведения учеников Бассано.^[57] Лорд Питерсфилд питал к мистеру Клью неограниченное доверие; поколебать его не могла даже история с итальянскими примитивами. История была грустная: на Дуч-чо лорда Питерсфилда появилась трещина; плотнику, постоянно работавшему в имении лорда, поручили осмотреть дерево, на котором была написана картина; он осмотрел. «Никогда в жизни, — сказал он, — не видел хуже выдержанной доски из иллинойсского ореха». Затем он осмотрел Симоне Мартини;^[58] к этой вещи он отнесся, напротив, чрезвычайно одобрительно. Хорошо отполированная, выдержанная — эта доска не даст трещин, нет, даже через сто лет. «Лучший кусок дерева не выходил из Америки». Он отличался склонностью к гиперболам. Лорд Питерсфилд был страшно разъярен; он тут же рассчитал своего плотника. После этого он заявил мистеру Клью, что ему нужен Джорджоне, и мистер Клью отправился и добыл ему картину, в которой каждая линия была как бы собственноручной подписью Джорджоне.

— Мне это очень нравится, — сказал мистер Клью, тыкая пальцем в одну из мыслей, которыми Липиат уснастил предисловие каталога. — «Гений, — он поправил очки и стал читать вслух, — это жизнь. Гений — это сила природы. В искусстве гений — единственное, что имеет значение. Современные импотенты, боящиеся гения и завидующие ему, изобрели для самозащиты понятие „художник“. Художник с его чувством формы, стилем, преданностью чистой красоте и так далее, и тому подобное. Но понятие „гений“ включает в себя понятие „художник“; каждый Гений обладает, между прочим, и теми качествами, которые импотенты приписывают Художнику. Художник, не обладающий гением, — это строитель фонтанов, из которых не течет вода». Очень верно, — сказал мистер Клью. — Удивительно верно. — Он отметил абзац карандашом.

Мистер Олбермэл произнес пароль.

— Очень сильно сказано, — сказал он.

— Я тоже всегда так чувствовал, — сказал мистер Клью. — Эль Греко, например...

— С добрым утром! Что вы тут говорите насчет Эль Греко? — одним духом произнес чей-то голос. Тощий, длинный, обтянутый кожей скелет мистера Малларда возник перед ними, как призрак нечистой совести. Мистер Маллард писал каждую неделю в «Еженедельном обозрении». Он обладал огромными познаниями в области искусства и питал искреннее отвращение ко всему прекрасному. Из современных художников он

признавал одного лишь Ходлера. Со всеми прочими он расправлялся с беспощадной жестокостью: в своих еженедельных статьях он разрывал их в клочья со священным рвением кальвинистического иконоборца, вдребезги разбивающего изображения Пресвятой девы. — Так чтб вы говорите об Эль Греко? — повторил он. К Эль Греко он относился с особенно страстной ненавистью.

Мистер Клью улыбнулся мистеру Малларду с таким видом, точно желая его умиловить: он боялся его. Восторги мистера Клью ломаного гроша не стоили по сравнению с учеными и логичными презрительными отзывами мистера Малларда.

— Я просто хотел привести его в качестве примера, — сказал он.

— Надеюсь, в качестве примера неумелого рисунка, хаотической композиции, отсутствия формы, кричащего колорита и истерической тематики. — Мистер Маллард угрожающе оскалил зубы цвета старой слоновой кости. — Творчество Эль Греко может служить примером всего этого, и только этого.

Мистер Клью нервно рассмеялся.

— А каково ваше мнение об этих? — сказал он, показывая на полотна Липиата.

— Весьма посредственная мазня, — ответил мистер Маллард.

Молодой человек слушал, совершенно потрясенный. Похоже было, что в этом деле, сколько ни старайся, все равно ничего хорошего не получится.

— И все-таки, — мужественно сказал мистер Клью, — мне нравится эта ваза с розами на окне с пейзажем позади. Номер двадцать девятый. — Он заглянул в каталог. — И тут насчет этой вещи прелестные стишки:

О красота розы,
Источающей добро и аромат!
Кто созерцает эти цветы
На фоне голубых холмов и спелых нив, тот знает,
Куда ведет долг, и знает, что безымянные Силы
В розе обретают свой голос.

Просто прелесть! — Мистер Клью сделал еще отметку в каталоге.

— Но тривиально, тривиально. — И мистер Маллард покачал головой. — Во всяком случае, стихи не могут служить оправданием плохой картины. Какое грубое сочетание тонов! И как неинтересна композиция! Эта отступающая вглубь диагональ — прием, истрепанный до последней

степени. — Он тоже сделал отметку в каталоге — крестик, а над ним кружок, нечто вроде Адамовой головы на пиратском флаге. Все каталоги мистера Малларда были испещрены этими значками; они символизировали его осуждение.

Мистер Олбермэл тем временем отошел в сторону, встречая вновь прибывших. Рецензенту из «Экрана новостей» нужно было объяснить, что портретов знаменитостей на выставке нет. Репортеру из «Вечерней планеты» — сказать, какие картины самые лучшие.

— Мистер Липиат, — диктовал он, — не только художник; он также и поэт и философ. Его каталог — это — гм! — своего рода декларация.

Репортер застенографировал эти слова.

— И очень милая к тому же, — сказал он. — Крайне благодарен вам, сэр, крайне благодарен. — И он поспешил к выходу, чтобы попасть на выставку крупного рогатого скота до прибытия короля. Мистер Олбермэл ласково обратился к рецензенту из «Утреннего земного шара».

— Я всегда считал эту галерею, — сказал громкий жизнерадостный голос, похожий на хор быков и канареек, — положительно *mauvais lieu*.^[59] Чего только здесь не выставляют напоказ! — И мистер Меркаптан выразительно пожал плечами. Он остановился, ожидая свою спутницу.

Миссис Вивиш отстала: она шла медленно, читая на ходу каталог.

— Да это целая книга, — сказала она, — полная стихов, статей, даже рассказов, насколько я могу понять.

— Ах, обычный фейерверк афоризмов, — рассмеялся мистер Меркаптан. — Могу рассказать вам, не заглядывая в книгу: «Заботьтесь о прошлом, а будущее само позаботится о себе»; «Бог в квадрате минус Человек в квадрате равно Искусству плюс Жизнь, умноженному на Искусство минус Жизнь»; «Чем больше Искусства, тем меньше Морали»; только это, пожалуй, слишком умно для нашего друга Липиата. Но я знаю все это заранее. Могу придумать еще сколько угодно таких словечек. — Мистер Меркаптан был в восторге от самого себя.

— Давайте я вам прочту одно из них, — сказала миссис Вивиш. — «Картина — это химическое соединение пластической формы с духовным значением».

— Ну и ну! — сказал мистер Меркаптан.

— «Те, кто считает, что единственно важное в картине — это пластическая форма, подобны тем, кто воображает, что вода состоит из одного водорода».

Мистер Меркаптан скорчил гримасу.

— Что за слог! — воскликнул он. — Le style, e'est l'homme.^[60] У Липиата стиль отсутствует. Следственно — неизбежный вывод, — Липиат не существует. Нет, вы только посмотрите! Какие кошмарные пи! Вроде Каррачча с кубическими мускулами.

— Самсон и Далила, — сказала миссис Вивиш. — Вам прочесть?

— Ни в коем случае.

Миссис Вивиш не настаивала. Казимир, подумала она, вероятно, думал о ней, когда писал это стихотвореньице о Поэтах и Женщинах, распятом гении, страданиях и шедеврах, рождающихся в муках. Она вздохнула.

— А эти леопарды очень недурны, — сказала она и снова заглянула в каталог. — «Животное — символ, и его форма полна глубокого смысла. В длительном процессе приспособления эволюция утончила, упростила и сформировала тело, так что каждая часть его выражает одно желание, одну-единственную цель. Тело человека, ставшего тем, что он есть, путем не специализации, но обобщения, ровно ничего не символизирует. Человек — символ всего решительно, от самой уродливой и свирепой животности до высшей духовности».

— Какой ужас, — сказал мистер Меркаптан.

Они подошли к полотну, где были изображены горы и огромные облака, похожие на рождающиеся статуи.

— «Воздушные Альпы», — прочла миссис Вивиш.

Воздушные из янтаря и снега Альпы,
Юноны плоть и алебастр грудей,
Изваянных рукой неверной нетра...

Мистер Меркаптан заткнул уши.

— Не надо, не надо, — взмолился он.

— Номер семнадцатый, — сказала миссис Вивиш, — называется: «Женщина на космическом фоне». — Женская фигура стояла, прислонившись к столбу, на вершине холма, а позади нее простиралась синяя звездная ночь. — Внизу написано: «Для одного, по крайней мере, она больше, чем звездная Вселенная». — Миссис Вивиш вспомнила, что Липиат сказал ей однажды нечто весьма похожее. — Очень многие вещи Казимира напоминают мне, — сказала она, — итальянские рекламы вермута. Знаете — Чинцано, Бономелли и тому подобное. Мне очень жаль, но это так. Эта женщина в белом, достающая головой до Большой

Медведицы... — Она покачала головой. — Бедный Казимир!

Мистер Меркаптан ревел и визжал от хохота.

— Бономелли, — сказал он, — совершенно точно. Вы — великий критик, Майра! Преклоняюсь перед вами. — Они двинулись дальше. — А это что за маскарад? — спросил он.

Миссис Вивиш заглянула в каталог.

— Судя по названию, Нагорная проповедь, — сказала она. — И знаете, мне это почти нравится. Вся эта толпа на склоне холма и единственная фигура на вершине, по-моему, это очень драматично.

— Но послушайте, — возмутился мистер Меркаптан.

— И все-таки, что ни говорите, — сказала миссис Вивиш, вдруг почувствовав себя неловко оттого, что она каким-то образом предала Липиата, — он в самом деле очень милый, знаете. Очень, очень милый! — Ее умирающий голос звучал весьма убежденно.

— Ah, ces femmes, — воскликнул мистер Меркаптан, — ces femmes!

[\[61\]](#) Все они Пасифаи и Леды. Все они в глубине души предпочитают зверя человеку, дикаря цивилизованному существу. Даже вы, Майра, как это ни прискорбно. — Он замотал головой.

Миссис Вивиш не обратила внимания на этот взрыв возмущения.

— Очень милый, — задумчиво повторила она. — Только немного скучный... — Ее голос окончательно испустил дух.

Они продолжали осматривать выставку.

ГЛАВА VIII

Критическим оком, в трюмо примерочной мистера Бодже-носа, Гамбрил рассматривал себя сбоку и сзади. Надутые воздухом Патентованные Штаны выпячивались, явно выпячивались, и это придавало его фигуре изящную полноту, которая в представительнице другого пола могла бы показаться восхитительно-естественной. Но у него, вынужден был признать Гамбрил, эта полнота казалась несколько неуместной и парадоксальной. Конечно, чтобы быть красивым, надо страдать; следовательно, чтобы не страдать, надо быть некрасивым. С практической точки зрения брюки были необыкновенно удачны. Гамбрил плюхнулся на жесткую деревянную скамью, стоявшую в примерочной, а впечатление было такое, точно он уселся на эластичнейший пружинный матрац; безусловно, Патентованные Штаны не побоятся и мрамора. А сюртук, утешал он себя, будет скрывать своими полами слишком явное выпячивание. Ну, а если не будет, тогда что ж, ничего не поделаешь. Придется мириться с выпячиванием, только и всего.

— Очень мило, — объявил он наконец.

Мистер Бодженос, молча оглядывавший своего клиента с улыбкой вежливой, но в то же время, отметил Гамбрил, несколько иронической, слегка кашлянул.

— Смотря по тому, — сказал он, — что вы называете «милым».

Он склонил голову набок; тонкий нафиксатуаренный кончик его уса был теперь, как стрелка указателя, направлен на какую-то отдаленную звезду.

Гамбрил не сказал ничего, но, посмотрев еще раз на отражение своей фигуры сбоку, нерешительно кивнул головой.

— Если милым, — продолжал мистер Бодженос, — называть удобное, тогда все в порядке. А если речь идет об элегантности — тогда, мистер Гамбрил, боюсь, что я не могу согласиться.

— Но элегантность, — сказал Гамбрил, безуспешно пытаясь разыграть философа, — понятие относительное, мистер Бодженос. У некоторых африканских негров, например, элегантным считается протыкать губы и растягивать их деревянными дощечками, пока рот не станет похож на клюв пеликана.

Мистер Бодженос засунул руку за пазуху и сделал полупоклон.

— Охотно верю, мистер Гамбрил, — ответил он. — Но ведь мы,

извините, не африканские негры.

Гамбрил был сражен — и заслуженно. Он опять посмотрелся в трюмо.

— Скажите, мистер Бодженос, — спросил он после небольшой паузы, — вы разве против всякой эксцентричности в костюме? Вы хотите всех нас нарядить в свой элегантный мундир?

— Что вы, что вы, — ответил мистер Бодженос. — Есть некоторые занятия, при которых эксцентрический вид — это просто *sine qua non*,^[62] мистер Гамбрил, или даже *de rigueur*.^[63]

— А разрешите мне спросить вас, мистер Бодженос, какие занятия? Вы, может быть, имеете в виду художников? Широкополые шляпы и байроновские воротники и, пожалуй, даже вельветовые брюки? Хотя в наше время все это, пожалуй, несколько устарело.

Мистер Бодженос загадочно улыбнулся, — игривый сфинкс. Он засунул правую руку глубже за пазуху, а левой покрутил кончик уса, заострив его еще больше.

— Нет, не художники, мистер Гамбрил. — Он отрицательно покачал головой. — Конечно, вид у них бывает немножко эксцентрический и неряшливый. Но им это вовсе не требуется. Это требуется только политическим деятелям. Это, можно сказать, *de rigueur* только в политике, мистер Гамбрил.

— Вы меня удивляете, — сказал Гамбрил. — Мне-то как раз казалось, что в интересах политического деятеля иметь возможно более респектабельный и обычный вид.

— Да, но еще больше в его интересах, как жожака, иметь вид, отличный от других, — возразил мистер Бодженос. — Нет, не то, — быстро поправился он, — а то вы подумаете, что они всегда отлично одеваются, а это, с прискорбием должен признать, далеко не всегда бывает так, мистер Гамбрил. Я хотел сказать, отличительный.

— Эксцентричность — их знак различия, — предложил Гамбрил. Он наслаждался, сидя на Патентованных Штанах.

— Вот это да, — сказал мистер Бодженос, покручивая ус. — Вожак должен быть непохожим на всех остальных. В доброе старое время они всегда носили свои различительные знаки. У жожака была своя ливрея, как у всякого человека. Это было разумно, мистер Гамбрил. В наши дни у него нет знака — по крайней мере на каждый день; я ведь не считаю судебские мундиры и прочие костюмы для ежегодных маскарадов. Ему ничего не остается, как эксцентрично одеваться и стараться быть менее похожим на других людей по внешнему виду. Способ очень ненадежный, мистер

Гамбрил, очень ненадежный.

Гамбрил согласился.

Мистер Бодженос продолжал, сопровождая свои слова аккуратными, неширокими жестами.

— Одни из них, — сказал он, — носят огромные воротники, как мистер Гладстон. Другие носят орхидею в петлице и монокль, как Джо Чемберлен. Некоторые отращивают волосы, как Ллойд Джордж. Некоторые надевают странные шляпы, как Уинстон Черчилль. Некоторые ходят в черных рубашках, как Муссолини, а некоторые — в красных, как Гарибальди. Некоторые носят усы концами вверх, как Вильгельм II. Некоторые носят их концами вниз, как Клемансо. Некоторые отращивают бакенбарды, как Тирпиц. Я уж не говорю о всяких там мундирах, орденах, украшениях, париках, перьях, коронах, пуговицах, татуировках, серьгах, шарфах, саблях, тренах, тиарах, уримах, тумимах и прочих предметах, мистер Гамбрил, которые раньше и в других частях света служили для того, чтобы отличить вожака от всех остальных. Мы знаем нашу историю, не так ли, мистер Гамбрил, и мы знаем все насчет этого.

Гамбрил скромно отмахнулся.

— Говорите только за себя, мистер Бодженос, — сказал он. Мистер Бодженос поклонился.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Гамбрил. Мистер Бодженос поклонился еще раз.

— Так вот, мистер Гамбрил, — сказал он, — смысл всего этого, как я уже имел честь говорить, в том, чтобы вожак отличался от стада по внешнему виду, чтобы его стадо могло узнать его по первому coup d'oeil, ^[64] можно сказать. Потому что человеческое стадо, мистер Гамбрил, никак не может обойтись без вожака. Взять, например, баранов — никогда не видал, чтобы у них были вожаки; у грачей тоже. У пчел зато они есть. По крайней мере, когда они роятся. Поправьте меня, мистер Гамбрил, если я ошибаюсь. Естественная история никогда не была, можно сказать, моим «форте». ^[65]

— Моим тоже, — оправдывался Гамбрил.

— Что же до слонов и волков, то здесь, мистер Гамбрил, мои познания слишком слабы. Насчет лам, саранчи, голубей и леммингов я тоже ничего не скажу. Зато про людей я могу говорить вполне авторитетно, простите мне, мистер Гамбрил, такую нескромность, а не так, как какой-нибудь писателишка. Я специально изучил их, мистер Гамбрил. И профессия у меня такая, что сталкиваться мне приходилось с многочисленными экземплярами этой породы.

Интересно, невольно подумал Гамбрил, на какую полочку в своем музее мистер Бодженос поставил его, Гамбрила?

— Человеческому стаду, — продолжал мистер Бодженос, — необходим вожак. И у него должны быть какие-нибудь приметы, отличающие его от стада. В его же интересах, чтобы его легко можно было узнать. При виде младенца, вылезающего из ванночки, вы сейчас же думаете о мыле Пирса, при виде седых волос, развевающихся по ветру, вы думаете о Ллойд Джордже. Вот в чем секрет. Но, по-моему, мистер Гамбрил, прежняя система была куда разумней: дайте им мундиры и знаки различия, пусть министры носят на голове перья. Тогда все будут обращать внимание на узаконенный символ вожачества, а не на отдельные особенности частных лиц. Бороды и шевелюры и потешные воротники меняются, а хороший мундир всегда остается одинаковым. Пусть носят перья, вот что я вам скажу, мистер Гамбрил. Достоинство государства от перьев возрастет, а значение личности уменьшится. А от этого, мистер Гамбрил, — с пафосом закончил мистер Бодженос, — кроме пользы, ничего не будет.

— Так, по-вашему, — сказал Гамбрил, — если я покажусь толпе в своих надутых воздухом брюках, я сделаюсь вожаком — так, что ли?

— Ах нет, — сказал мистер Бодженос. — Для этого нужно еще, чтобы у вас был талант говорить речи и приказывать. От перьев гениальным не станете; перья могут только усилить эффект от того, что уже есть.

Гамбрил встал и принялся снимать Патентованные Штаны. Он отвинтил клапан — воздух с затихающим свистом вырвался наружу. Гамбрил тоже вздохнул.

— Странное дело, — задумчиво сказал он, — но у меня никогда не было потребности в вожаке. Я не встречал до сих пор никого, кем я мог бы от души восхищаться или в кого я мог бы верить, никого, за кем я хотел бы следовать. А ведь должно быть приятно поручить себя кому-нибудь еще. Наверно, при этом чувствуешь себя тепло, уютно, одним словом, как нельзя лучше.

Мистер Бодженос улыбнулся и покачал головой.

— Мы с вами, мистер Гамбрил, — сказал он, — не такие люди, чтобы на нас действовали перья или хотя бы речи и приказания. Мы сами, может быть, не вожаки. Но зато мы и не стадо.

— Не главное стадо, может быть.

— Никакое не стадо, — гордо настаивал мистер Бодженос. Гамбрил с сомнением покачал головой и застегнул брюки. Теперь, когда он об этом подумал, он решил, что, пожалуй, он принадлежит ко всем стадам

понемногу, в порядке почетного членства или по временам, подобно тому, как можно состоять в каком-нибудь обществе не своего университета или ходить в военно-морской клуб в те дни, когда в вашем клубе идет ежегодная уборка. Стадо Шируотера, стадо Липиата, стадо мистера Меркаптана, стадо миссис Вивиш, архитектурное стадо его отца, педагогическое стадо (но оно, к счастью, блеет теперь на своем пастбище без его участия), стадо мистера Бодженоса — он принадлежал ко всем им понемногу и ни к одному из них целиком. Никто не принадлежал к его стаду. Иначе быть не могло. Хамелеон не может чувствовать себя удобно на клетчатом пледе. Он надел сюртук.

— Я пришлю вам ваши одежды сегодня вечером, — сказал мистер Бодженос.

Гамбрил вышел из мастерской. У театрального парикмахера на Лейстер-сквер он заказал белокурую веерообразную бороду под цвет своих собственных волос. Он будет по крайней мере хоть своим вожаком; он будет носить отличительный знак, символ авторитета. И Колмэн сказал, что этот символ помогает завязывать опасные связи.

Ну конечно, теперь он на время включился в стадо Колмэна. Как все это огорчительно.

ГЛАВА IX

Веерообразная, белокурая, на тюлевой подкладке и, по уверению фирмы, неотличимая от настоящей, она прибыла от парикмахера, бережно упакованная в толстую картонку, которая была в шесть раз больше, чем нужно; к ней было приложено четверть пинты отборнейшего спиртового клея. В уединении своей спальни Гамбрил распаковал ее, полюбовался ею, погладил шелковистые волосы и, наконец, примерил перед зеркалом, придерживая ее у подбородка рукой. Эффект, сейчас же решил он, был изумительный, потрясающий. Из меланхоличного и слишком мягкого молодого человека он мгновенно превратился в нечто вроде веселого короля Генриха Восьмого, в массивного раб-лезянца — широкоплечего, могучего, буйно-жизнерадостного, с буйной растительностью.

Пропорции его лица удивительным образом изменились. База, расположенная подо ртом, была недостаточно массивна для внушительной колонны носа; а рассудочный антаблемент лба, сам по себе, правда, весьма благородный, был непропорционально высок. Борода восполнила недостатки ордера, и стержень колонны чувств, и воздушный антаблемент мыслей теперь, когда под них подвели крепкую базу воли, создавали впечатление более гармоничной пропорциональности. Оставалось только заказать у мистера Бодженоса подбитый в плечах американский костюм, широкоплечий и героический, как камзолы шестнадцатого века, и у него будет вид цельного человека в духе Рабле. Тонкий гурман, выносливый пьяница, неукротимый бретер, неутомимый любовник, блестящий мыслитель, творец красоты, искатель истины и пророк героического века. Во всеоружии костюма и бороды он может теперь подать заявление на ближайшую вакансию в аббатстве Телемы.^[66]

Он снял бороду — «поднял забрало», как выражались в добрые старые рыцарские времена; кстати, надо будет запомнить эту шутку для Колмэна. Итак, он поднял забрало и горестно воззрился на далеко не раблезианское лицо, смотревшее на него из зеркала. Усы — они были неподдельны, — казавшиеся в сочетании с произведением искусства, которое только что украшало его подбородок, такими воинственными и мужественными, теперь, взятые в отдельности, лишь подчеркивали своими свисающими концами его природную мягкость и меланхоличность.

Это было нечто жалкое, что могло бы принадлежать Морису Барресу^[67] в юности, нечто безжизненно свисающее, грустно поникшее;

нечто такое, что могло вырасти только на лице ревностного поклонника своего «я» и что, когда он станет постарше, будет казаться смехотворно неуместным на физиономии ярого националиста. Если бы они не гармонировали так изумительно с бородой, если бы они не становились такими неожиданно новыми в этом новом сочетании, которое он только что открыл, он немедленно сбрил бы себе усы.

Плачевный привесок. Но теперь он преобразит усы, он придаст им их лучшую половину. Мадригал Задига^[68] к возлюбленной, после того как таблетку, на которой он был написан, переломили на две части, превратился в пасквиль на короля. Точно так же и эти усы, подумал Гамбрил, осторожно размазывая клей по щекам и подбородку, — эти усы, которые в отдельности только предают меня, после воссоединения с недостающей половиной сейчас же превратятся в оружие для завоевания прекрасного пола.

Сравнение чуточку сложное, решил он, чуточку тяжеловесное. И к тому же, так как «Задига» почти никто не читает, его вряд ли можно использовать в разговоре. Тщательно, бережно, аккуратными кончиками пальцев он приладил преображение к своему липкому лицу, крепко прижал его, придерживая, пока оно не приклеилось окончательно. Врата Телемы открылись перед ним; он стал хозяином всех роскошных садов, зал и внутренних дворов, широких лестниц, поднимающихся благородными спиралями во чреве каждой из прекрасных круглых башен. И не кто иной, как Колмэн, открыл ему этот путь; Гамбрил был благодарен ему за это. Взглянуть еще раз на цельного человека, признать окончательно и бесповоротно, что Некто Мягкий и Меланхоличный, по крайней мере на время, больше не существует; и вот он уже готов пуститься в плаванье. Он выбрал просторное легкое пальто — он, конечно, не нуждается в нем, так как день нынче ясный и теплый, но, пока мистер Бодженос не подложит вату, ему придется создавать иллюзию широкоплечести именно таким способом, даже если ради этого нужно будет париться. Глупо было бы жертвовать цельностью во имя мелких удобств. Поэтому он облачился в свое летнее пальто — в тогу, как называл его мистер Бодженос, в хорошо сшитую тогу из настоящего корну-эльского шевиота. Он надел самую широкую и самую черную из своих фетровых шляп: для цельности ему необходима была прежде всего ширина, ширина в плечах, ширина полей, широта взглядов, широта эмоций, широкая улыбка, широкие жесты — все широкое. Последним штрихом была старинная массивная пальмовая трость, принадлежавшая его отцу. Будь у него бульдог, он повел бы его с собой на цепочке. Но бульдога не было. Он вышел на солнце в

единственном числе.

Но он вовсе не намерен был долго оставаться в единственном числе. Эти теплые ясные майские дни — самое подходящее время для любовных приключений. И быть одному в такие дни — нечто вроде болезни. Болезни, которой Некто Мягкий и Меланхоличный страдал слишком часто. А между тем в Англии женщин на несколько миллионов больше, чем мужчин; миллионы лишних женщин. Каждый день на улицах встречаешь их тысячами; и некоторые из них очаровательны, восхитительны — единственные, неповторимые подруги жизни. Тысячи единственных и неповторимых подруг жизни вдень. Некто Мягкий и Меланхоличный давал им пройти мимо — навсегда. Но сегодня — сегодня он цельный раблезианский человек; сегодня он вооружен до зубов бородой; бессмысленная игра в самом разгаре; будут возможности, и Цельный Человек сумеет их использовать. Нет, в единственном числе он не останется.

Четырнадцать платанов в сквере пылали юной незапятнанной зеленью. В конце каждой улицы золотистый муслин дымки висел, как занавес без складок, постепенно утончаясь и переходя в прозрачное ничто над мгlistой линией горизонта. Смутный, точно из раковины, гул, заменяющий в городе тишину, казалось, сливался с золотистой летней дымкой, и на этом смутном широком фоне резко выделялись пронзительные крики иг-рающихдетей. «Бобер, — кричали они, — бобер!» — и еще: «Дядя, достань воробушка!» Цельный Человек с шутливой угрозой замахнулся на них своей позаимствованной пальмовой тростью. Он принял их быстрое приветствие как самое благоприятное предзнаменование.

В первой же табачной лавке Гамбрил купил самую длинную сигару, какая там только была, и медленно, раскачиваясь всем корпусом, пошел по направлению к Парку, волоча за собой тающую голубую спираль гаванского дыма. Именно там, под вязами, на берегах орнаментальных прудов, он рассчитывал найти возможности, намеревался с той великолепной самоуверенностью, которую придала ему гаргантюанская маска, использовать их.

Возможность представилась скорей, чем он ожидал.

Он только что свернул на Квинс-род и проходил мимо Уайт-ли с видом человека, знающего, что он имеет право на место под солнцем, пожалуй, даже на два или три места, когда заметил молодую женщину, внимательно разглядывающую последние модели сезона; в те дни, когда он был Мягким и Меланхоличным, он ограничился бы безнадежным обожанием, но

Цельному Человеку она казалась добычей, созданной специально для него. Она была довольно высокого роста, но благодаря своей исключительной стройности казалась еще выше. Нет, тощей она не была, далеко нет. Это была округлая стройность. Цельный Человек решил применить к ней эпитет «трубчатая» — гибкая и трубчатая, как, скажем, укороченный боа-констриктор. Ее костюм подчеркивал эту змеиную стройность: обтягивающий серый жакет, застегнутый до самой шеи, и длинная узкая серая юбка, доходящая до щиколоток. На голове у нее была маленькая гладкая черная шляпка, казавшаяся металлической. Сбоку на шляпке красовался пучок тускло-золотых листьев.

Эти золотые листья были единственным украшением, нарушавшим строгую гладкость и трубчатость всей ее фигуры. Что же касается лица, то оно было, собственно говоря, ни красивым, ни уродливым, но сочетало элементы красоты и уродливости таким образом, что в целом получалось нечто неожиданное и, как это ни странно, неестественно привлекательное.

Делая вид, что он тоже заинтересован последними моделями сезона, Гамбрил скосил глаза вверх горящего кончика сигары и подробно исследовал черты ее лица. Лоб был почти целиком скрыт шляпкой; он мог быть вдумчивым и безмятежно высоким, он мог обладать той недостаточной высотой, которая у мужчин предосудительна, но женщинам придает своеобразную, пускай грубоватую или даже низкопробную, но, безусловно, своеобразную привлекательность. Тут ничего не скажешь. Что же до глаз, то они были зелеными и прозрачными: широко расставленные, они смотрели из-под тяжелых век сквозь разрезы, слегка приподнятые у наружных уголков. Нос у нее был с небольшой горбинкой. Рот был полный, но прямой и неожиданно широкий. Подбородок был маленький, круглый и твердый. Кожа была бледная и только на выступавших скулах окрашивалась румянцем.

На левой щеке, под самым уголком скошенного глаза, у нее была темная родинка. Волосы, выбивавшиеся из-под шляпы, были неопределенного светло-русого цвета. Кончив рассматривать последние модели сезона, она медленно пошла дальше, на мгновение задержалась перед чемоданами и наполненными провизией корзинами для пикников, целую минуту простояла перед корсетами, по каким-то причинам весьма презрительно прошла мимо шляп, но, как это ни странно, долго и внимательно рассматривала сигары и вино. Что же касается теннисных ракеток и крокетных молотков, учебных пособий и мужских носков, то на них она даже и не взглянула. Но с какой любовью она разглядывала ботинки и туфли! Ее ноги, с удовлетворением отметил Цельный Человек,

отличались изяществом линий. И в то время, как все прочие ходили в шевро или хrome, она удовлетворялась лишь тончайшей кожей пятнистой змеи. Они медленно двигались по Квинс-род, останавливаясь перед витриной каждого ювелира, каждого антиквара, каждого портного, встречавшегося им на пути. Незнакомка не доставляла ему никаких возможностей; иначе и быть не могло, подумал Гамбрил. Ведь та бессмысленная игра, на которую он рассчитывал, это — летучий пикет для двоих игроков, а не пасьянс. Нормальный человек не может играть в нее без партнера. Гамбрилу придется самому создавать возможности.

Все, что было в нем мягкого, все, что было меланхоличного, с болезненной неохотой отказывалось от обязанности нарушить — с какими последствиями, восхитительными и опасными в будущем или, в случае заслуженного отпора, унижительными в настоящем? — молчание, которое возле десятой или двенадцатой витрины стало невыносимо многозначительным. Некто Мягкий и Меланхоличный тащился бы за ней до самого конца улицы; общность вкусов, лежащая в основе всякого счастливого союза, позволила бы ему разделять ее восторги перед медными подсвечниками и вилками для поджаривания хлеба, поддельной чиппендейлской мебелью, золотыми часами на браслетах и низко вырезанными летними платьями; дотащился бы до конца улицы и молча проводил бы ее взглядом, когда она исчезала бы навсегда в зеленом парке или на лишенной витрин Бэйсуотеррод; проводил бы ее, исчезающую навсегда, и отправился бы в ближайший бар — буде таковые оказались бы открытыми, — заказал бы стакан портвейна и, сидя у стойки, молча смаковал бы, окруженный алкоголиками, грязноватую лозу с берегов Дуро и свое собственное неповторимое одиночество.

Так поступил бы Некто Мягкий и Меланхоличный. Но вид его могучего бородатого лица, отраженного в поддельном хеппл-уайтском зеркале на выставке антикварной лавки, напомнил ему, что Некто Мягкий и Меланхоличный временно перестал существовать и что теперь не он, а Цельный Человек планирует, покуривая свою длинную сигару, по Квинс-род, на пути к аббатству Телемы.

Он расправил плечи; в этой просторной тоге от мистера Бод-женоса он выглядел дородным, как Франциск Первый. Время, решил он, настало.

Как раз в эту минуту отражение лица знакомки, которой надоело рассматривать старый уэльский шкаф, стоявший в углу витрины, присоединилось в маленьком зеркале к отражению его собственного лица. Незнакомка созерцала поддельный хепплуайт.^[69] Их глаза встретились в гостеприимном зеркале. Гамбрил улыбнулся. Уголки широкого рта

незнакомки чуть дрогнули; как лепестки магнолии, веки медленно опустились на ее раскосые глаза. Гамбрил перевел взгляд с отражения на реальность.

— Если хотите сказать: «Бобер», — сказал он, — прошу вас. Цельный Человек произнес свою первую речь.

— Я не хочу сказать ничего, — сказала незнакомка. Она произнесла эти слова с прелестной точностью и четкостью, слегка растягивая, как бы из желания подчеркнуть, букву «н» в слове ничего: «н-ни-чего», — это отрезало все пути. Она отвернулась, она пошла дальше.

Но Цельный Человек был не из таковских, чтобы его можно было сразить подобным ультиматумом.

— Ну вот, — сказал он, шагая с ней в ногу, — теперь я получил заслуженный отпор. Честь спасена, престиж поддержан. Теперь мы можем и поговорить.

Некто Мягкий и Меланхоличный смотрел, раскрыв рот от изумленного восхищения.

— Вы уж-жасный нахал, — сказала незнакомка, улыбаясь и взглядывая на него из-под лепестков магнолии.

— Это у меня в характере, — сказал Цельный Человек. — Не осуждайте меня за это. Против наследственности ничего не поделаешь; приходится нести бремя первородного греха.

— Можно всегда заслужить прощение, — сказала незнакомка.

Гамбрил погладил бороду.

— Безусловно, — ответил он.

— Советую вам м-молиться о нем.

Его молитвы, подумал Некто Мягкий и Меланхоличный, были давным-давно услышаны. Он сам был живым искуплением первородного греха.

— А вот и еще антикварная лавка, — сказал Гамбрил. — Как, остановимся и посмотрим?

Незнакомка взглянула на него с сомнением. Но он говорил, по-видимому, вполне серьезно. Они остановились.

— Как возмутительна эта поддельная деревенская мебель, — заметил Гамбрил. Он обратил внимание, что на вывеске было старинным шрифтом написано: «Старая Деревенская Усадьба».

Незнакомка, только что собиравшаяся сказать, в каком она восторге от этих милых кухонных шкафов в староуэльском стиле, от всего сердца согласилась с ним:

— Так в-вульгарно.

— Так ужасающе утонченно. Так утонченно и артистично.

Она ответила смехом, похожим на нисходящую хроматическую гамму. Это было увлекательно и ново. Бедная тетя Агги с ее кустарными изделиями и старой английской мебелью! Подумать только, что она принимала все это всерьез. В мгновение ока она увидела себя в облике изысканной и пресыщенной леди — мебель в стиле Людовика такого-то, и драгоценности, и юные поэты за чайным столом, и настоящие художники. В прежнее время, когда она воображала себя принимающей настоящих художников, ее апартаменты были всегда обставлены настоящей художественной мебелью. Мебелью тети Агги. Но теперь — ах нет, Боже упаси! Этот субъект, по-видимому, художник. Например, его борода; и эта большая черная шляпа. Но не бедный; одет очень прилично.

— Да, и подумать только, что находятся люди, которые считают весь этот хлам художественным. Они заслуживают всяческой жалости, — с присвистом добавила она.

— У вас доброе сердце, — сказал Гамбрил. — Очень приятно.

— Не оч-чень доброе, б-боюсь. — Она взглянула на него искоса и многозначительно, как взглянула бы на одного из своих поэтов изысканная леди.

— Ничего, с меня и этого хватит, — сказал Цельный Человек. Он был в восторге от своей новой знакомой.

Они вместе свернули на Бэйсуотер-род. Именно здесь, подумал Гамбрил, Некто Мягкий и Меланхоличный молча поплелся бы к своему стакану портвейна и к своему одиночеству среди незнакомых пьяниц в баре. Но Цельный Человек взял свою новую приятельницу под руку и повел ее на буксире через запруженную улицу. Они вместе пересекли мостовую, вместе вошли в парк.

— Все-таки вы уж-жасный нахал, — сказала леди. — Что заставило вас последовать за мной?

Широким движением руки Гамбрил показал на солнце, небо, воздушно поблескивающие зеленые деревья, изумрудный свет и фиолетовые тени деревенской дали.

— В такой день, — сказал он, — мог ли я поступить иначе?

— Первородный грех?

— О, — скромно покачал головой Цельный Человек, — я отказываюсь от всех прав на первородство.

Незнакомка рассмеялась. Он был почти так же хорош, как юные поэты за чайным столом. Она была рада, что в конце концов решилась надеть свой лучший костюм, хотя в такой теплый день в нем было жарковато. Она

заметила, что он тоже в пальто, и это было несколько странно.

— При чем тут первородство, — продолжал он, — когда человек при первом взгляде летит вверх тормашками, как слон в западню?..

Она искоса взглянула на него, затем опустила лепестки магнолии и улыбнулась. Сейчас начнется самое замечательное — один из тех длинных, бесконечных или по крайней мере бесконечно возобновляемых разговоров о любви: остроумных, тонких, глубоких и дерзких, как разговоры в книгах, как разговоры за чайным столом между блестящими юными поэтами и знатными леди, пресыщенными слишком богатым жизненным опытом, пресыщенными и немного усталыми, но все же неутомимо ищущими чего-то нового.

— Может быть, сядем? — предложил Гамбрил, показывая на два зеленых чугунных стула, которые стояли рядом посреди лужайки, слегка наклонившись друг к другу, в позе, намекавшей на интимную беседу. Перспектива разговора, который теперь неизбежно завяжется, радовала Гамбрила гораздо меньше, чем его новую приятельницу. Больше всего он ненавидел разговоры о любви. Тонкий анализ страсти — то самое, чего молодые женщины обязательно требуют от мужчины, когда отношения переходят в определенную стадию, — вызывал в нем скуку, самую неподдельную скуку. Что любовь изменяет характер к лучшему или к худшему; что духовная страсть вовсе не обязательно несовместима с физической; что тиранические собственнические инстинкты могут сочетаться в любви с самой альтруистической заботливостью к любимому человеку — все это, и еще многое другое, он знал наизусть. И можно ли любить одновременно нескольких людей, и может ли любовь существовать без ревности, и могут ли хорошее отношение, желание, жалость заменить всепоглощающую страсть — сколько раз приходилось ему ворошить снова и снова эти унылые вопросы.

Не менее знакомы были и все философские обобщения, все примеры из области физиологии, антропологии, психологии. Теория этого предмета перестала интересовать его. К несчастью, теоретические рассуждения были всегда необходимым введением к практическим действиям. Он вздохнул немного устало, сядя на зеленый чугунный стул. Но затем, вспомнив, что он теперь Цельный Человек и что Цельный Человек должен делать все со вкусом и с блеском, он нагнулся вперед и, с пленительной наглостью улыбаясь в бороду, начал:

— Тирезий, если вы помните, получил в дар удивительную способность быть одновременно мужчиной и женщиной.

Да, вот это — подлинный юный поэт! Облокотившись о спинку стула

и подперев щеку рукой, она приготовилась слушать и, если потребуется, блистательно парировать: полузакрыв глаза, она смотрела на него и слегка улыбалась улыбкой загадочной — это она знала по опыту — и хотя чуточку надменной, хотя капельку иронической и насмешливой, но, в общем, необычайно привлекательной.

Через полтора часа они ехали на машине к дому номер такой-то в Блоксем-гарденс, Майдавел. Адрес показался Гамбри-лу смутно знакомым. Блоксем-гарденс — может быть, там жила какая-нибудь из его теток?

— Это ж-жуткая квартирка, — объяснила она. — Полная всякого хлама. Нам пришлось взять ее со всей обстановкой. Теперь просто немыслимо что-нибудь подыскать.

Гамбрил сидел в углу, откинувшись на спинку, и спрашивал себя, изучая ее профиль, кто такая эта молодая особа. Она, видимо, не отставала от современности, она любила все то, что принято любить; она казалась столь же цивилизованной, в том несколько узком смысле, какой придавал этому слову мистер Меркаптан, столь же свободной от всяких предрассудков, как сам только что упомянутый представитель цивилизации.

Судя по нескольким небрежно оброненным намекам, она обладала всей опытностью, самоуверенностью и равнодушным бессердечием знатной дамы, вся жизнь которой проходит в интригах, волнующих нервы, эмоции и интеллект. Но — непонятное противоречие! — она, по-видимому, считала свою жизнь скудной и неинтересной. Она слишком много жаловалась на то, что муж ее не понимает и пренебрегает ею, жаловалась тем самым на то, что знает очень мало интересных людей. «Квартирку» в Блоксем-гарденс никак нельзя было назвать роскошной: шесть комнат на третьем и четвертом этажах дома с осыпающейся штукатуркой. А мебель, безусловно, приобретена в рассрочку. А портьеры и занавески — ярко «современные», положительно «футуристические».

— И с чем только приходится мириться, когда снимаешь меблированную квартиру! — Леди сделала гримасу, вводя его в гостиную. Произнося эти слова, она и в самом деле уверила себя, что обстановка у них чужая, что они нашли все это ужасающее старье в этих комнатах, а не выбирали его — и с какими муками! — сами, не оплачивали его по грошам месяц за месяцем. — Свои вещи мы сдали на хранение, — туманно пробормотала она. — На Ривьере. — Именно там, под пальмами, среди крупье и роскошных цветов дыни, пресыщенная леди в последний раз собирала свой салон юных поэтов. На Ривьере — теперь она поняла, что это объяснит многое, если объяснения вообще потребуются.

Цельный Человек сочувственно кивнул.

— Вкусы других людей. — Он воздел руки, они оба рассмеялись. — Но что нам до других людей? — добавил он. И с победоносной импульсивностью подойдя к ней, он взял ее длинные тонкие руки и поднес их к своему бородавчатому рту.

Она быстро взглянула на него, потом опустила веки, отняла руки.

— Нужно пойти приготовить чай, — сказала она. — Слуги, — множественное число было трогательным преувеличением, — все ушли.

Галантно. Цельный Человек предложил пойти помочь. В подобных сценах интимной жизни есть свое неповторимое очарование. Но она не позволила.

— Нет, нет, — сказала она очень твердо, — я вам просто-таки запрещаю. Оставайтесь здесь. Я сейчас же вернусь. — И она вышла, плотно притворив за собой дверь.

Предоставленный самому себе, Гамбрил сел и принялся чистить ногти.

Что же касается молодой леди, то она помчалась в свою грязноватую кухню, зажгла газ, водрузила на огонь котелок с водой, поставила чайник и чашки на поднос и извлекла из коробки от печенья хранившиеся там остатки шоколадного торта, который подавался к чаю позавчера, когда были гости. Когда все было готово, она на цыпочках прокралась к себе в спальню и, сев за туалетный стол, принялась слегка дрожавшими от возбуждения руками пудрить нос и наводить румянец на щеки. Но когда уже был положен последний штрих, она продолжала сидеть перед зеркалом, разглядывая свое отражение.

Леди и поэт, думала она, *grande dame* и блестящий юный гений. Ей нравились молодые люди с бородой. Но он не художник, несмотря на бороду, несмотря на шляпу. Он что-то вроде писателя. Так она поняла; но он был сдержан, он был восхитительно таинствен. Она тоже, если уж на то пошло. Знатная леди выскальзывает в маске на улицу; прикасается к рукаву юноши: идем со мной. Она выбирает, не позволяет, чтобы ее выбрали. Юный поэт падает к ее ногам; она подымает его. Дело привычное.

Она раскрыла шкатулку с драгоценностями, вынула все свои кольца — их было, увы! не так уж много — и надела их. Два или три из них она, подумавши, снова сняла: ее озарила мысль, что эти кольца, пожалуй, несколько во вкусе «других людей».

Он очень умен, очень артистичен — только это не совсем то слово; он, по-видимому, знает все новинки, всех интересных людей. Может быть, он познакомит ее с некоторыми из них. И в нем столько непринужденности,

при всех его познаниях, столько уверенности в себе. Но и она со своей стороны — в этом она была совершенно уверена — не сделала ни одного промаха. Она тоже была или по крайней мере казалась — а это самое важное — очень непринужденной.

Ей нравились молодые люди с бородой. У них такой русский вид. Екатерина Вторая была одной из великих женщин с причудами. В маске по улицам. Юный поэт, идем со мной. Или даже: Юный приказчик из мясной. Но это — нет, это значит заходить слишком далеко, опускаться слишком низко. Хотя, конечно, жизнь, жизнь — она дана, чтобы жить, жизнь — чтобы наслаждаться. А дальше, дальше? Она все еще спрашивала себя, что же произойдет дальше, когда чайник, принадлежавший к курьезному сорту чайников, которые, закипая, свистят, начал выводить, сперва неуверенно, а затем, когда пар пошел вовсю, все более настойчиво, свою унылую замогильную песню. Она вздохнула и пошла снять его с огня.

— Разрешите помочь вам. — Когда она вошла в комнату, Гам-брил вскочил с места. — Что я могу сделать? — Он неумело суетился вокруг нее.

Леди поставила поднос на маленький столик.

— Н-ничего, — сказала она.

— Н-ничего? — с шутливой насмешкой передразнил он. — По-вашему, я н-ни на что н-не способен? — Он взял одну из ее рук и поцеловал.

— Ни на что сколько-нибудь с-существенное. — Она уселась и стала разливать чай.

Цельный Человек тоже сел.

— Так, значит, — спросил он, — полюбить с первого взгляда — это не с-существенно?

Она покачала головой, улыбнулась, подняла и опустила веки. Дело самое привычное: ничего существенного.

— Сахару? — спросила она.

Юный поэт благополучно здесь, блистает за ее чайным столом. Он предлагает ей свою любовь, а она, с равнодушным бессердечием той, для кого подобные приключения — самое привычное дело, предлагает ему сахар.

Он кивнул.

— Пожалуйста. Но если для вас это так несущественно, — продолжал он, — тогда я сейчас же уйду.

Леди прохотала свою нисходящую хроматическую гамму.

— Нет, не уйдете, — сказала она. — Ничего не получится. — И она почувствовала, что *grande dame* нанесла блестящий удар.

— Вы правы, — согласился Цельный Человек, — ничего не получится. — Он помешал ложечкой в стакане. — Но кто вы такая, — и он быстро поднял на нее глаза, — вы, чертенок в юбке? — Ему и в самом деле очень хотелось знать; к тому же он сделал ей очень милый комплимент. — Что вы делаете со своей жизнью?

— Наслаждаюсь ею, — ответила она. — По-моему, жизнь создана для наслаждений. По-моему, наслаждаться жизнью — это наша первейшая обязанность. — Она говорила вполне серьезно. — Нужно наслаждаться каждым ее мигом, — сказала она. — Да, каждый раз по-новому, страстно, увлекательно, неповторимо.

Цельный Человек рассмеялся.

— Убежденная гедонистка. Понятно.

Она испытала неприятное чувство от мысли, что пресыщенные леди так не разговаривают. Она говорила скорей как молодая женщина, которая считает жизнь чересчур тусклой и повседневной и с удовольствием пошла бы в кино.

— Я очень убежденная, — сказала она, многозначительно играя лепестками магнолии и улыбаясь своей головоломной улыбкой. Необходимо было поддержать репутацию Екатерины Второй.

— Я так сразу и догадался, — с торжествующей наглостью усмехнулся Цельный Человек. — Убеждения превращают нас всех в тусов.

Пресыщенная леди ограничилась презрительной улыбкой.

— Не угодно ли шоколадного торта? — предложила она. Ее сердце билось. Что же дальше, что же дальше?

Наступило долгое молчание. Гамбрил доел свой шоколадный торт, мрачно допил чай и не произнес ни слова. Он вдруг обнаружил, что ему нечего сказать. Его жизнерадостная самоуверенность, казалось, на минуту покинула его. Теперь он был всего лишь Некто Мягкий и Меланхоличный, по глупости вырядившийся Цельным Человеком: овца в бобровой шкуре. Он окопался в своем бесконечном молчании и ждал; ждал, сначала сидя в кресле, а затем, когда это полное бездействие стало нестерпимым, расхаживая по комнате.

Она посмотрела на него, при всей своей невозмутимой выдержке, с некоторым беспокойством. Что это еще он задумал? О чем он размышляет? Когда он так хмурился, у него был вид юного Юпитера, бородатого и массивного (хотя, отметила она, несколько менее массивного, чем когда на нем было пальто), готовящегося метать громы и молнии. Может быть, он размышляет о ней? Видит ее насквозь под маской пресыщенной леди и сердится на то, что его пытались ввести в заблуждение? Или, может быть,

ему с ней скучно, может быть, он хочет уйти? Ну что ж, пускай; ей все равно. Или, может быть, он просто такой — юный поэт, быстро переходящий от одного настроения к другому; в общем, это, кажется, самое правдоподобное объяснение, и. к тому же самое лестное и романтическое. Она ждала. Оба ждали.

Гамбрил посмотрел на нее и устыдился при виде ее безмятежного спокойствия. Он должен что-нибудь сделать, сказал он себе; он должен восстановить исчезнувшее настроение Цельного Человека. В отчаянии он остановился перед единственной приличной из висевших по стенам картин. Это была гравюра восемнадцатого века, копия рафаэлевского «Преображения»; он всегда считал, что в blanc-et-noir^[70] эта вещь гораздо лучше, чем в унылом по краскам оригинале.

— Недурная гравюра, — сказал он. — Очень недурная. — Одно то, что он произнес какие-то слова, доставило ему большое облегчение, вернуло уверенность в себе.

— Да, — сказала она. — Это я купила сама. Я нашла ее в магазине подержанных вещей, недалеко отсюда.

— Фотография, — произнес он стой минутной серьезностью, благодаря которой казалось, что он ко всему относится восторженно, — это и благословение, и проклятие. Воспроизводить картины благодаря ей стало так легко, и это обходится так дешево, что все плохие художники, в прошлом занимавшиеся копированием чужих хороших картин, стали теперь писать свои собственные плохие. — Все это страшно безлично, сказал он себе, страшно неуместно. Он теряет то, что завоевал раньше. Чтобы вернуть это, он должен сделать что-нибудь экстраординарное. Но что именно?

Она пришла ему на помощь.

— Тогда же я купила еще одну, — сказала она. — «Последнее причастие святого Иеронима» — этого, как его? Не помню.

— А, вы хотите сказать, «Святой Иероним» Доменикино? — Цельный Человек сошел с мели. — Любимая картина Пуссена.^[71] Пожалуй, и моя тоже. С удовольствием посмотрел бы на нее.

— Да, но она у меня в спальне. Впрочем, если вы не возражаете...

Он поклонился:

— Если вы не возражаете.

Она милостиво улыбнулась ему и встала.

— Сюда, — сказала она, открывая дверь.

— Это замечательная картина, — продолжал Гамбрил (теперь он вновь

обрел красноречие), следуя за ней по темному коридору. — К тому же у меня с ней связаны воспоминания детства. У нас дома висела гравюра с нее. И помню, каждый раз, когда я видел картину, я никак не мог понять, и это продолжалось много лет; никак не мог понять, почему старый епископ (что он епископ, это я знал) протягивает голому старику пятишиллинговую монету.

Она открыла дверь; они вошли в ее очень розовую комнату. Строгая в своей торжественной и тонко-гармоничной красоте, гравюра висела над камином, висела там среди фотографий подруг новой знакомой Гамбрила, как некий странный предмет из иного мира. Из потрескавшейся золоченой рамы вся красота, все величие религии мрачно взирало на розовую комнату. Маленькие подруги, все в том чудесном возрасте, когда девушкам пора замуж, мило улыбались, делали глазки, обнимали персидских котов или непринужденно стояли, расставив ноги, засунув руки в карманы герлскаутских форменных бриджей; розовые розы на обоях, розовые с белым занавески, розовая постель, ковер земляничного цвета наполняли всю комнату розоватыми отголосками наготы и жизни.

И отрешенные от всего, погруженные в строгий торжественный экстаз, священнослужитель в митре и мантии и умирающий святой — один протягивал, другой в томлении принимал плоть Сына Божьего. Священники строго взирали, ангелочки парили в воздухе строгими и триумфальными фестонами, лев спал у ног святого, а сквозь арку на заднем плане взгляд попадал в мирный ландшафт темных деревьев и холмов.

— Вот она. — И леди взмахнула рукой в сторону камина. Но Гамбрил уже давно заметил картину.

— Понимаете, чтб я считал пятишиллинговой монетой. — И, подойдя к картине, он показал на круглую блестящую облатку в руках епископа, вокруг повернутого диска которой, точно вокруг солнца, расположилась гармоническая вселенная картины. — То были дни пятишиллинговых монет, — продолжал он. — Вы, пожалуй, слишком молоды, чтобы помнить эти большие приятные штучки. Они порой попадались мне на глаза, а освященные облатки не попадались. Так что вы понимаете, в какое замешательство приводила меня картина. Епископ, дающий голому старику в церкви пять шиллингов, а наверху порхают ангелы, а на переднем плане спящий лев. Это было непонятно, это было темно и непонятно. — Он повернулся от картины к хозяйке дома, стоявшей немного в стороне позади него и улыбавшейся загадочно и двусмысленно. — Непонятно, — повторил он. — Но и все на свете непонятно. Непонятна вся жизнь в целом. И вы, — он сделал шаг по направлению к ней, — и вы в частности.

— Неужели? — Она подняла на него свои прозрачные глаза. Ах, как билось ее сердце, как трудно было изображать пресыщенную леди, спокойно исполняющую свою прихоть. Как трудно было почувствовать, что подобные приключения — самое привычное дело. И что произойдет дальше?

Дальше произошло то, что Цельный Человек подошел еще ближе, обнял ее за талию, точно приглашая на фокстрот, и принялся целовать ее с ошеломляющим неистовством. Борода щекотала ей шею; слегка вздрогнув, она опустила лепестки магнолии на глаза. Цельный Человек поднял ее, прошел через комнату, держа в объятиях пресыщенную леди, и положил ее на розовый катафалк постели. Лежа там с закрытыми глазами, она изо всех сил притворялась мертвой.

Гамбрил взглянул на часы и обнаружил, что уже шесть часов. Уже? Он приготовился уходить. Кутаясь в розовое кимоно, она вышла в переднюю пожелать ему счастливого пути.

— Когда мы с вами увидимся снова, Роза? — Он узнал, что ее зовут Роза.

Теперь к ней вернулись хладнокровие и спокойствие знатной дамы, и она могла пожать плечами и улыбнуться.

— Откуда я знаю? — спросила она, давая понять, что она не может предвидеть, какая прихоть придет ей в голову через несколько часов.

— Так, может быть, мне вам написать и узнать как-нибудь на днях?

Она склонила голову набок и с сомнением подняла брови. Потом кивнула.

— Да, можете написать, — сообразовала согласиться она.

— Хорошо, — сказал Цельный Человек и взял свою широкополую шляпу. Она величественно протянула ему руку, и он галантно поцеловал ее. Он уже закрывал за собой наружную дверь, как вдруг что-то вспомнил. Он обернулся. — Послушайте, — произнес он вслед удаляющемуся розовому кимоно. — Это глупо. Как же я буду писать? Я не знаю вашей фамилии. Не могу же я адресовать письмо «Роза»?

Знатная дама восхищенно рассмеялась. В этом был оттенок настоящего sarcisio.^[72]

— Погодите, — сказала она и помчалась в гостиную. Через минуту она вернулась, держа в руках продолговатый кусок картона. — Вот, — сказала она и опустила его в карман пальто Гамб-рила. Затем, послав ему воздушный поцелуй, она скрылась.

Цельный Человек закрыл дверь и пошел вниз по лестнице. Ну и ну, говорил он себе, ну и ну. Он сунул руку в карман и вытащил карточку. В

тусклом свете лестницы он с некоторым трудом разобрал имя. Миссис Джемс... нет, нет, не может быть. Он прочел снова, напрягая зрение; сомнений быть не могло: Миссис Джемс Шируотер.

Миссис Джемс Шируотер!

Так вот почему адрес в Блоксем-гарденс казался ему смутно знакомым!

Миссис Джемс Шир... Медлительно сходил он вниз, ступенька за ступенькой.

— Господи, — сказал он вслух. — Господи!

Но почему он никогда ее не видел? Почему Шируотер никому ее не показывал? Теперь он вспомнил, что тот никогда не говорил о ней.

Почему она сказала, что это не их квартира? Это неправда: он сам слышал, как Шируотер рассказывал о своем доме.

Что, она постоянно проделывает такие штуки?

Неужели Шируотер совершенно не представляет себе, какова она на самом деле? А впрочем, коли на то пошло, сам-то он, Гамбрил, это знает?

Он спускался по последнему маршу, когда дверь, отделенная от начала лестницы только маленькой передней, с грохотом открылась, скрипя петлями, и на крыльце обнаружились Шируотер и какой-то из его приятелей, занятые оживленным разговором.

— ...беру своего кролика, — говорил приятель (это был молодой человек с темными глазами навывкате и круглыми собачьими ноздрями, очень суетливый, оживленный и громогласный). — Я беру своего кролика и впрыскиваю ему глазной препарат из глаз другого, дохлого кролика. Понимаете?

Первым поползновением Гамбрила было броситься вверх по лестнице и спрятаться в первом попавшемся углу. Но он сейчас же взял себя в руки. Он Цельный Человек, а Цельные Человеки не прячутся; к тому же борода изменила его до неузнаваемости. Он остановился, прислушиваясь к разговору.

— У кролика, — продолжал молодой человек (блестящие глаза и круглые обнюхивающие ноздри придавали ему сходство с охотничьим терьером, готовым с громким лаем пуститься вдогонку за первым попавшимся белым хвостом), — у кролика, как и следовало ожидать, развивается сопротивляемость, его организм вырабатывает специфическое антиглазное вещество. Тогда я беру эту антиглазную сыворотку и впрыскиваю ее своей крольчихе; затем немедленно спариваю ее. — Он смолк.

— И что же? — со свойственной ему тяжеловесной медлительностью

спросил Шируотер. Он вопросительно поднял большую круглую голову и посмотрел на собаковидного молодого человека из-под густых бровей.

Собаковидный молодой человек торжествующе улыбнулся.

— Детеныши, — сказал он, подчеркивая свои слова ударами правого кулака о ладонь левой руки, — детеныши рождаются с ненормальным зрением.

Шируотер задумчиво подергал свои огромные усы.

— Гм, — медленно произнес он. — Очень замечательно.

— Вам, надеюсь, понятно все значение этого? — спросил молодой человек. — Мы, по-видимому, воздействуем непосредственно на плазму зародыша. Мы открыли способ создавать приобретенные признаки...

— Простите, — сказал Гамбрил.

Он решил, что пора идти. Он сбежал с лестницы, промчался через выложенную плитками переднюю и вежливо, но решительно протиснулся между двумя собеседниками.

— ...и делать их наследственными, — продолжал молодой человек, воодушевлению которого ничто не могло помешать, который говорил, несмотря ни на какие препятствия перед ним, под ним или вокруг него.

— Черт! — сказал Шируотер. Цельный Человек наступил ему на ногу. — Извините, — добавил он, рассеянно прося прощения за то, что ему сделали больно.

Гамбрил поспешно зашагал по улице.

— Если мы в самом деле открыли способ непосредственно воздействовать на плазму зародыша... — неслись ему вдогонку слова собаковидного молодого человека; но он был уже слишком далеко, чтобы дослушать фразу до конца. Существует много способов, подумал он, приятно провести вторую половину дня.

Собаковидный молодой человек отказался зайти в дом: ему еще необходимо до обеда поиграть в теннис. Шируотер поднялся по лестнице один. Он снимал шляпу в передней своей квартирки, когда Роза вышла из гостиной с подносом, уставленным чайной посудой.

— Ну как? — спросил он, нежно целуя ее в лоб. — Ну как? К чаю были гости?

— Только один, — ответила Роза. — Я пойду, заварю тебе свежего.

Она выскользнула, шурша своим розовым кимоно, в кухню.

Шируотер уселся в гостиной. Он принес с собой из библиотеки пятнадцатый том «Биохимического журнала». Что-то такое нужно было там посмотреть. Он перелистал страницы. Ага, вот оно. Он принялся читать. Роза вернулась.

— Вот тебе твой чай, — сказала она.

Он поблагодарил, не подымая глаз от журнала. Чай остывал на столике возле него.

Лежа на софе, Роза размышляла и вспоминала. Неужели то, что произошло сегодня, спрашивала она себя, произошло на самом деле? Все это казалось весьма неправдоподобным и далеким теперь, в этой ученой тишине. Она не могла преодолеть чувства некоторого разочарования. Только и всего? Так просто и ясно? Она пыталась привести себя в более приподнятое настроение. Она даже пыталась почувствовать себя виноватой, но тут она потерпела полную неудачу. Она попыталась почувствовать восторг — опять неудача. Конечно, он безусловно очень необыкновенный человек. Столько бесстыдства, и в то же время столько деликатности и такта.

Какая жалость, что нельзя позволить себе переменить мебель. Теперь-то она видит, что мебель ни к черту не годна. Она пойдет и выскажет тете Агги свое мнение о том, что все эти ее кустарные изделия — ужасное мещанство.

Нужно бы завести ампиный шезлонг. Как у мадам Рекамьс. Она видела себя возлежащей за чайным столом. «Подобно очаровательной розовой змейке». Так назвал ее он.

Да, теперь, когда она снова подумала об этом, все это стало казаться ей очень, очень странным.

— Что такое гедонист? — вдруг спросила она. Шируотер поднял глаза от «Биохимического журнала».

— Что? — сказал он.

— Гедонист.

— Человек, который считает, что цель жизни — удовольствие. «Убежденный гедонист» — да, неплохо сказано.

— Чай совсем холодный, — заметил Шируотер.

— Надо было пить раньше, — сказала она. Снова наступило продолжительное молчание.

Роза стала гораздо приемлемей, думал Шируотер, отмывая руки перед ужином, в том смысле, что она гораздо меньше пристаёт, когда он занят. Сегодня вечером она почти не отрывала его от книги, или, вернее, оторвала только раз, да и то на самую малость. Раньше бывали времена, когда это дитя положительно отравляло ему существование. Вспомнить хотя бы те первые месяцы после женитьбы, когда она вообразила, будто ей хочется изучать физиологию и помогать ему в работе. Он вспомнил, сколько часов он потерял, пытаясь втолковать ей основные понятия о хромосомах.

Большим облегчением было, когда она отказалась от своих притязаний на помощь. Он предложил ей заняться вышивкой узоров по трафарету. Можно было бы делать чудесные занавески и всякие такие штуки. Но ей эта мысль пришла не очень по вкусу. Затем последовал длительный период, когда ее главное занятие состояло, по-видимому, в том, чтобы не давать ему заниматься. Звонила к нему в лабораторию, врывается в кабинет посидеть у него на коленях, или обнять его за шею, или подергать за волосы, или задать какой-нибудь глупый вопрос, когда он был поглощен работой.

Шируотер с удовлетворением думал о том, что он был исключительно терпелив. Он никогда не раздражался. Он просто занимался своим делом, словно ее здесь не было. Словно ее и не было.

— Иди скорей, — услышал он ее голос. — Суп остынет.

— Сейчас, — крикнул он в ответ и принялся вытирать свои большие толстые руки.

Да, за последнее время она сделала большие успехи. А сегодня, сегодня она вела себя просто-таки примерно.

Тяжело шагая, он вошел в столовую. Роза сидела как хозяйка в конце стола, разливая суп. Лево́й рукой она придерживала широкий розовый рукав кимоно, чтобы он не попал в тарелку или в суповую миску. Сквозь пар от чечевицы виднелась ее жемчужно-белая обнаженная рука.

Какая она хорошенькая! Он не смог преодолеть искушения и, подойдя к ней сзади, нагнулся и неуклюже поцеловал ее в затылок.

Роза оттолкнула его.

— Что с тобой, Джим? — укоризненно сказала она. — Во время еды! — Изысканная леди должна положить конец этим неуместным неуклюжим интимностям.

— А как же во время работы? — со смехом спросил Шируо-тер. — Хотя сегодня вечером ты была изумительна, Роза, просто изумительна. — Он сел за стол и принялся за суп. — Ни звука все время, пока я читал; или по крайней мере только один звук, насколько я помню.

Знатная леди ничего не сказала, она только улыбнулась — слегка презрительно, с оттенком жалости. Она отставила недоеденную тарелку супа и положила локти на стол. Засунув руки в рукава кимоно, она кончиками пальцев начала легко и нежно поглаживать свою кожу.

Какая она гладкая, какая мягкая и теплая и какая скрытая там, под рукавами. И все ее тело такое же гладкое и теплое, такое же мягкое и скрытое, еще более скрытое там, под розовыми складками. Как теплая змейка, притаившаяся тайком, тайком.

ГЛАВА X

Идея Патентованных Штанов понравилась мистеру Болдеро. Она необычайно понравилась ему, говорил он, необычайно.

— Из этого можно сделать деньги, — сказал он.

Мистер Болдеро был невысокий смуглый человечек лет сорока пяти, подвижный, как птица, с остреньким птичьим носиком, с карими птичьими глазками как бусинки. Он вечно суетился, вечно гнался за двадцатью зайцами, вечно неустойчивый, готовый к бою, вечно со светлой головой. Кроме того, он был всегда неаккуратен и вечно всюду опаздывал. У него отсутствовало чувство времени и чувство порядка. Но он выше этого, как он любил говорить. Он занимался доставкой товаров — или, вернее, товары, претворенные в более удобную форму наличных денег, чудесным образом доставались ему сами.

Своим видом он напоминал птицу. Но умом, решил Гамб-рил после первой или второй встречи, он походил на гусеницу: он пожирает все, что находится перед ним. Задень его ум поглощал такое количество пищи, которое в сто раз превышало его собственный вес. Мысли и познания других людей служили ему пищей. Он пожирал их, и они немедленно становились частью его самого. Все, что принадлежало другим, он присваивал себе, не задумываясь, не испытывая угрызений совести и так естественно, точно все это давно принадлежало ему. И он поглощал идеи с такой быстротой, так молниеносно заявлял всему свету о своих правах на них, что порой вводил в заблуждение самих творцов этих идей: они начинали верить, что он и вправду предвосхитил их мысль, что он уже много лет знал то, о чем они только что ему сообщили, потому что он повторял их слова с небрежным видом и с абсолютной убежденностью человека знающего — знающего инстинктивно или, если угодно, унаследовавшего это знание.

Когда они в первый раз завтракали вместе, он попросил Гамб-рила рассказать ему все о современной живописи. Гамбрил прочел ему краткую лекцию; не успели подать сладкое, как мистер Болдеро уже говорил совершенно свободно о Пикассо и Дерене. Из его слов можно было заключить, что у него в гостиной имеется первоклассная коллекция их работ. Однако, будучи глуховатым, он путал имена, и все тактичнее поправки Гамбрила пропадали впустую. Невозможно было заставить его произносить имя знаменитого испанца не «Бакоссо», а как-либо иначе.

Бакоссо — ну еще бы, он знал все о Бакоссо еще тогда, когда ходил пешком под стол! Бакоссо успел превратиться в одного из старых мастеров.

Мистер Болдеро обращался с официантами так строго и так хорошо знал, каковы должны быть порядки в хорошем ресторане, что Гамбрилу стало ясно, что он на днях обедал с каким-нибудь придиричивым гурманом старой школы. А когда официант сделал попытку подать к бренди маленькие рюмки, мистер Болдеро преисполнился страстного негодования и вызвал метрдотеля.

— Вы хотите сказать, — кричал он в неистовом порыве законного гнева, — что вы не знаете, как полагается пить бренди?

Вероятно, подумал Гамбрил, сам мистер Болдеро не далее как на прошлой неделе научился попивать коньяк из гаргантюан-ских кубков.

Разумеется, не были забыты и Патентованные Штаны. Стоило мистеру Болдеро один раз услышать о Штанах, как он уже говорил о них с полным знанием дела. Они принадлежали ему, по крайней мере мысленно. И лишь великодушные мистера Болдеро мешало ему окончательно присвоить их себе.

— Если бы не старая дружба и уважение, которое я питаю к вашему отцу, мистер Гамбрил, — сказал он, весело подмигивая над бренди, — я попросту захватил бы себе ваши Штаны. Со всеми потрохами. Попросту присвоил бы их.

— Да, но мой патент, — сказал Гамбрил. — Во всяком случае, заявка уже сделана. Агенты работают.

Мистер Болдеро разразился смехом.

— Вы, может быть, воображаете, что это помешает мне, если я захочу быть бесчестным? Я беру вашу идею и организую производство. Вы подаете в суд. Я призываю на помощь всех учнейших юристов. Вы обнаруживаете, что ввязались в судебный процесс, который может обойтись вам в несколько тысяч. Откуда вы их возьмете? Вы вынуждены пойти на соглашение вне стен суда, мистер Гамбрил. Вот к чему это вас приведет. И, надо вам сказать, соглашение это будет для вас очень и очень невыгодным. — Мистер Болдеро жизнерадостно засмеялся при мысли о невыгодности соглашения. — Но не огорчайтесь, — сказал он. — Я так не поступлю, будьте покойны.

В этом Гамбрил был далеко не уверен. Он попытался со всем возможным тактом выяснить, какие условия намерен предложить мистер Болдеро. Но тот выражался крайне туманно.

Во второй раз они встретились у Гамбрила. Модернистские рисунки по стенам напомнили мистеру Болдеро, что он стал теперь знатоком

живописи. Он рассказал Гамбрилу все о живописи — словами самого Гамбрила. Правда, время от времени мистер Болдеро делал какой-нибудь легкий промах. Например, Ба-косо по-прежнему оставался Бакосо. Но в целом исполнение было на высоте. На Гамбрила, однако, оно произвело самое тягостное впечатление. Потому что в мистере Болдеро он узнавал злейшую карикатуру на самого себя. Он ведь тоже ассимилятор, более разборчивый, без сомнения, более тактичный, обладающий большей способностью превращать ассимилированное чужое в нечто новое, в нечто подлинно свое; но все-таки — гусеница, бесспорная гусеница. Он стал присматриваться к мистеру Болдеро, внимательно и с отвращением, как смотрят на какое-нибудь отталкивающее *memento mori*.

Было огромным облегчением, когда мистер Болдеро перестал разглагольствовать об искусстве и согласился снизить до дел. Гамбрил специально для этого случая надел показательную пару Штанов, изготовленную по его заказу мистером Бодженосом. В интересах мистера Болдеро он подверг их всестороннему испытанию. Он со всего размаху хлопнулся на пол — без малейших ушибов и болезненных ощущений. Он по несколько минут подряд комфортабельно сидел на остром краю декоративной камин-ной решетки. В промежутках он, как манекен, расхаживал взад и вперед перед мистером Болдеро.

— Чутьочку выпячивается, — сказал мистер Болдеро. — Но все же...

В общем и целом впечатление было благоприятное. Пора, сказал он, подумать о деталях. Нужно будет начать опыты с резиновыми прокладками, чтобы создать модель, сочетающую, по выражению мистера Болдеро, «максимальную эффективность с минимальным выпячиванием». Когда они найдут то, что нужно, они закажут какой-нибудь солидной фирме требуемое количество резиновых прокладок. Что же касается самих брюк, то здесь лучше всего ориентироваться на потогонные мастерские в Ист-Энде, где применяется женский труд. «Дешево и прочно», — сказал мистер Болдеро.

— Идеальный план, — сказал Гамбрил.

— А еще, — сказал мистер Болдеро, — нужно создать рекламу. От нее зависит, можно сказать, — продолжал он торжественным тоном, — удача или неудача всего нашего предприятия. Я считаю это вопросом первостепенной важности.

— Безусловно, — сказал Гамбрил, кивая с важным видом понимающего человека.

— Нужно поставить дело, — сказал мистер Болдеро, — на научную ногу. — Гамбрил снова кивнул. — Мы должны апеллировать, — продолжал

он так бойко, что Гамбрилу стало ясно, что он кого-то цитирует, — к извечным инстинктам и чувствам человечества... Они — источник всякой деятельности. Они, если можно так выразиться, тратят деньги.

— Все это очень хорошо, — сказал Гамбрил. — Но как вы будете апеллировать к важнейшему из инстинктов? Я имею в виду, как вы, вероятно, догадываетесь, инстинкт пола.

— Я только что хотел об этом сказать, — ответил мистер Болдеро и поднял руки, словно призывая своего собеседника терпеливо выслушать его. — Увы! Это невозможно. Боюсь, нам не удастся повесить наши Штаны на вешалку полового инстинкта.

— Тогда мы погибли, — с преувеличенным пафосом произнес Гамбрил.

— Нет, нет, — успокоил его мистер Болдеро. — Вы повторяете ошибку великого венца.^[73] Вы преувеличиваете значение пола. В конце концов, дорогой мистер Гамбрил, есть еще инстинкт самосохранения; а также, — он подался вперед, водя перед глазами пальцем, — социальный инстинкт, стадный инстинкт.

— Верно.

— Оба эти инстинкта не уступают половому. Что такое знаменитые «цензуры» нашего профессора, как не запреты, исходящие извне, от стада, и усиливаемые внутри человека социальным инстинктом?

Гамбрил ничего не мог ответить; мистер Болдеро продолжал улыбаясь:

— Нам лучше всего держаться за самосохранение и стадность. Напирайте на удобство и пользу, на гигиеничность наших Штанов: этим вы затронете в публике чувство самосохранения. Играйте на страхе перед общественным мнением, на желании быть лучше ближних, на боязни отличаться от других — одним словом, на всех тех смехотворных слабостях, которые развивает в людях инстинкт толпы. Они будут в наших руках, если мы поставим дело на научную ногу. — Птичьи глазки мистера Болдеро весело подмигивали. — В наших руках, — повторил он и рассмеялся довольным смешком, полным такого бесовского и в то же время по-детски невинного коварства, что казалось — крошечный гном внезапно занял место финансиста в лучшем кресле Гамбрила. Гамбрил рассмеялся тоже: эта гномья веселость была заражительна.

— В наших руках, — отозвался он. — О, я уверен, что им от нас не уйти, если вы возьметесь за дело, мистер Болдеро.

Мистер Болдеро принял похвалу с улыбкой, выражавшей все, что угодно, кроме ложной скромности. Он заслужил похвалу и знал это.

— Я изложу вам кое-какие из моих соображений по поводу

организации рекламы, — сказал он. — Чтобы у вас создалось представление. Вы их обдумаете на досуге и сделаете свои предложения.

— Да, да, — кивнул Гамбрил.

Мистер Болдеро откашлялся.

— Мы начнем с того, — сказал он, — что будем апеллировать как можно проще и элементарней, к инстинкту самосохранения: мы укажем, что Патентованные Штаны удобны; что носить их — это значит избегать боли. Несколько кричащих лозунгов о комфорте — вот и все. Проще простого. Нет ничего легче, как убедить человека, что на воздухе сидеть приятней, чем на дереве. Но тут же, не оставляя вопроса о твердых сиденьях, мы должны сделать незаметное фланговое движение и атаковать социальные инстинкты. — И, приложив кончик указательного пальца к кончику большого, мистер Болдеро легким движением отвел руку в сторону, точно скользя по гладким медным перилам. — Мы будем говорить о величии и о тяготах сидячей работы. Мы должны подчеркивать ее духовное достоинство и одновременно осуждать связанные с ней неудобства. «Почетный Стул», знаете? Можно развить эту тему. «Стулья Сильных Мира Сего». «Стул, управляющий конторой, возвышается над миром». Из этого уже можно кое-что сделать. А затем нужно подпустить исторической болтовни насчет тронов: как почетны, но как неудобны они были. Мы должны заставить банковского служащего и государственного чиновника гордиться своим положением и в то же время стыдиться того, что они, такие замечательные люди, вынуждены мириться с болью в ягодицах. В современной рекламе нужно льстить публике — не в елейном, униженном, коммивояжерском стиле старых мастеров рекламы, ползавших на брюхе перед клиентами, которые стояли выше их на общественной лестнице. Этот стиль устарел. Теперь мы выше их, потому что у нас больше денег, чем у конторщиков и чиновников. Современная лесть должна быть мужественной, прямолинейной, искренней; она должна выражать восхищение равных — тем более лестное, что мы вовсе не равные им. — Мистер Болдеро приложил палец к носу. — Они чернь, а мы — капиталисты... — Он рассмеялся.

Гамбрил тоже рассмеялся. В первый раз в жизни он подумал о себе как о капиталисте, а эта мысль была смехотворна.

— Мы им льстим, — продолжал мистер Болдеро. — Мы говорим, что честный труд облагораживает и возвышает; на самом деле ничего подобного: он делает человека тупым кретином. А после этого мы намекаем, что этот труд станет менее неудобным, а значит, еще более возвышенным и благородным, если они будут носить Патентованные

Штаны Гамбрила. Понимаете, к чему я веду?

Гамбрил понимал.

— После чего, — сказал мистер Болдеро, — мы переходим к медицинской стороне вопроса. Медицинская сторона, мистер Гамбрил, это страшно важно. В наши дни никто не чувствует себя хорошо, по крайней мере никто из обитателей больших городов, особенно если они заняты той бессмысленной работой, которую мы с вами восхваляем. Учитывая это обстоятельство, мы должны убедить их, что здоровым может быть лишь тот, кто носит пневматические брюки.

— Вы думаете, это будет так легко? — спросил Гамбрил.

— Ну еще бы! — В смехе мистера Болдеро была заразительная самоуверенность. — Нужно начать с нервных центров, расположенных в позвоночнике; указать, что их деятельность нарушается, когда мы сидим на жестком; и что слишком продолжительное пребывание на твердых сиденьях вызывает их атрофию. Мы должны с ученым видом говорить о главном поясничном ганглии — если таковой вообще имеется, в чем я, по совести сказать, не слишком уверен. Эти разговоры о ганглиях должны носить несколько мистический характер. Вы, наверно, знакомы с подобного рода ганглионарной философией, — продолжал мистер Болдеро. — Она иногда, по-моему, очень увлекательна. Тут можно развести целую диссертацию на тему о непонятных и мощных инстинктах, о чувствах и о сексуальных проявлениях, управляемых поясничным ганглием. О том, насколько важно, чтобы этот ганглий не повреждался. Что при теперешних условиях цивилизованной жизни и так чрезмерно развиваются интеллект и грудные ганглии, управляющие высшими эмоциями. Что в результате мы быстрее изнашиваемся, становимся слабыми и неуравновешенными. И что единственное спасение — если мы не собираемся коренным образом изменить условия жизни — в том, чтобы носить Патентованные Штаны Гамбрила. — Произнеся или, вернее, выкрикнув эти последние слова, мистер Болдеро выразительно хлопнул ладонью по столу.

— Великолепно! — сказал Гамбрил с искренним восхищением.

— Медико-философическая болтовня такого сорта, — продолжал мистер Болдеро, — действует всегда безошибочно. Мы ведь обращаемся к публике абсолютно невежественной в этих — да, по существу, и во всех других — вопросах. Незнакомые слова производят на нее очень сильное впечатление, особенно если они звучат так хорошо, как слово «ганглий».

— Жил когда-то в какой-то там Новой Англии человек, у которого были расстроены ганглии, — пробормотал Гамбрил *improvisatore*.^[74]

— Вот именно, — сказал мистер Болдеро. — Вот именно. Слово

звучит хорошо, а это самое главное. На публику оно производит впечатление. И публика благодарна. Люди благодарны нам за то, что мы сообщили им какие-то необыкновенные сведения, которыми они могут щегольнуть перед своими женами или друзьями, заведомо не читающими той газеты, где появилось наше объявление, — могут сообщить эти сведения небрежно, знаете, с таким видом, точно они еще на школьной скамье знали все о ганглиях. И эти познания из области метафизики и патологии придадут им такую значительность в их собственных глазах, что они будут всегда вспоминать о нас с благодарностью. Они приобретут наши брюки и посоветуют своим знакомым сделать то же. Вот почему, — и мистер Болдеро снова отклонился, на этот раз в область дидактики, — вот почему прошли времена секретных патентованных средств. Нет никакого смысла говорить, что вы открыли какой-то секрет, известный, скажем, древним египтянам. Публика ничего не понимает в египтологии, но зато она знает, что подобная наука существует. А если так, то не может быть, чтобы фабрикант патентованного препарата знал что-нибудь неизвестное университетским профессорам. То же самое и с другими секретами, не египетскими. Публика знает о существовании медицины и опять-таки не верит, что фабрикант может знать в этой области больше, чем доктора. Современный мастер рекламы действует в открытую. Он сообщает вам все. Он объясняет, что висмут под действием желудочного сока образует дезинфицирующую кислоту. Он указывает, что молочный фермент разлагается раньше, чем попадет в толстую кишку, и что поэтому мечниковский препарат обычно не оказывает нужного действия. После этого он сообщает, что единственный способ сохранить фермент от разложения — это смешать его с крахмалом и парафином: на крахмале фермент развивается, парафин же не дает крахмалу перевариться раньше, чем он попадет в кишечник. В результате он убеждает вас, что единственная дельная вещь — это смесь крахмала, парафина и фермента. Поэтому вы покупаете именно этот препарат, чего вы никогда не сделали бы, не будь объяснений. Точно так же и наши брюки, мистер Гамбрил: нельзя требовать, чтобы публика приняла их на веру. Мы должны научно объяснить, почему эти брюки полезны для здоровья. А при помощи ганглий, как я уже отметил, мы можем даже убедить их, что брюки полезны для их бессмертной души и для всего человеческого рода. Вы и сами, наверное, знаете, мистер Гамбрил, что ничто так не действует, как обращение к духу. Сочетайте духовность с практичностью — и публика у вас в руках. Она сама пойдет, как рыба на червяка. Это самое мы и должны сделать с нашими брюками. Мы должны придать им значимость, духовную

значимость. Нет, решительно, — закончил он, — из этих ганглий нужно извлечь все, что возможно.

— Постараюсь это сделать, — сказал Гамбрил, преисполнившийся энергии и самоуверенности. Водородистые речи мистера Болдеро надули его, как воздушный шар.

— Уверен, что вы с этим блестяще справитесь, — поощрительно сказал мистер Болдеро. — Литературное образование — лучшая школа для современного коммерсанта. В качестве практика и дельца я всегда на стороне старинных университетов, особенно их преподавания гуманитарных наук.

Гамбрил был очень польщен. Услышать, что из него может выйти хороший делец, было для него в эту минуту высшей похвалой. Фигура дельца была окружена сиянием, она как бы испускала фосфоресцирующее излучение.

— Дальше, — снова заговорил мистер Болдеро, — необходимо играть на их снобизме, эксплуатировать то болезненное чувство собственной неполноценности, какое наивный невежда всегда испытывает в присутствии знатоков. Мы должны сделать из наших брюк вещь не только лично удобную, но и общественно необходимую. Мы должны внушить людям, что не носить их — это дурной тон. Мы должны заставить тех, кто их не носит, чувствовать себя неловко. Как в том фильме Чарли Чаплина, где рассеянный юноша оделся в безупречный вечерний костюм — белый жилет, фрак, крахмальная манишка, цилиндр — и только в вестибюле отеля обнаружил, что он забыл надеть брюки. Именно такое чувство должно быть у публики. Это всегда дает нужный эффект. Помните эти замечательные американские рекламы о юных девушках, у которых расстроился брак из-за того, что они слишком потеют или у них пахнет изо рта? Как неприятно чувствуешь себя, прочтя такое объявление! Нечто подобное мы должны сделать и для наших брюк. Еще вернее действуют портновские объявления насчет хорошего костюма. «В хорошем костюме чувствуешь себя хорошо». Знаете, в таком духе. Или серьезные предостерегающие сентенции, в которых вам сообщают, что часто из-за плохо сшитого костюма человеку не удастся поступить на службу или добиться интервью. Но шедевр в этом отношении, — продолжал мистер Болдеро со все возрастающим энтузиазмом, — те американские рекламы оптических фирм, в которых фабрикант исходит из наличия правил хорошего тона в отношении очков, а затем призывает все грома небесные на голову того, кто их нарушает. Это — шедевр. Вам сообщают таким тоном, точно это общепринятая истина, что для спорта или развлечений

нужно надевать очки в сплошной роговой оправе. В делах роговая оправка и никелированные оглобли придают человеку спокойную солидность, спокойную солидность, нужно запомнить это для нашей рекламы, мистер Гамбрил. «Патентованные Штаны Гамбрила придают деловому человеку спокойную солидность». При смокинге — черепаховая оправка с золотыми оглоблями и золотой переносицей. При вечернем костюме — пенсне с золотой машинкой и без оправы — это сама утонченность и безупречность. И вот создано правило, согласно которому каждый уважающий себя человек, страдающий астигматизмом или близорукостью, обязан иметь четыре пары очков. Вы только подумайте — появиться в вечернем костюме и с роговыми спортивными очками на носу! Что за дурной тон! Человек, прочитавши такое объявление, начинает чувствовать себя неловко: у него только одна пара очков, он боится показаться смешным, невоспитанным, невежественным, провинциалом. А так как огромное большинство людей легче мирится с обвинением в прелюбодеянии, чем с обвинением в провинциальности, он сейчас же бежит в магазин и покупает еще четыре пары очков. А фабрикант богатеет, мистер Гамбрил. Нечто подобное мы должны сделать и с нашими брюками. Мы должны внушить публике, что без них нельзя показаться на званом вечере, что ваша невеста откажет вам, увидев, что за ужином вы сидите на чем-либо другом, кроме воздуха. — Мистер Болдеро пожал плечами и неопределенно помахал рукой.

— Это будет не так-то легко, — сказал Гамбрил, качая головой.

— Возможно, — согласился мистер Болдеро. — Но трудности созданы для того, чтобы их преодолевать. Мы должны играть на струнах снобизма и стыда в первую очередь. Мы должны добиться, чтобы общественное мнение клеймило позором всех, кто не носит наших брюк. Пока что трудно сказать, как это можно сделать. Но это нужно сделать, нужно сделать, — выразительно повторил мистер Болдеро. — Может быть, нам даже удастся использовать в своих интересах патриотизм. «Английские брюки, надутые английским воздухом, для англичан». Пожалуй, несколько расплывчато. Но в этом что-то есть.

Гамбрил с сомнением покачал головой.

— Во всяком случае, об этом тоже стоит подумать, — сказал мистер Болдеро. — Мы не можем позволить себе пренебрегать такими мощными социальными эмоциями, как патриотизм. Пол, как мы видели, отпадает. Значит, из остального нужно извлечь все, что возможно. Например, можно использовать новизну. Люди гордятся, когда у них есть что-нибудь новенькое, чего еще нет у их ближних. Опьяняет самый факт новизны. Мы должны поощрять эту гордость, это опьяняющее чувство. Иногда удастся

сбыть самые бессмысленные и бесполезные предметы лишь потому, что это новинка. Совсем недавно я продал четыре миллиона патентованных мыльниц особого нового типа. Вся разница была в том, что их не вешают на гвоздь около ванны, как обычные мыльницы, а выдалбливают в стене углубление и ставят мыльницу в своего рода нишу, как сосуд со святой водой. У моих мыльниц не было никаких преимуществ по сравнению с другими мыльницами, а установка их обходилась безумно дорого. Но мне удалось ввести их в моду только потому, что это была новинка. Четыре миллиона мыльниц. — При этом воспоминании мистер Болдеро улыбнулся. — Надеюсь, мы сделаем то же самое с нашими брюками. Надевая их в первый раз, люди будут, вероятно, чувствовать себя несколько неловко; но это чувство неловкости будет с лихвой вознаграждено гордостью и удовлетворением от сознания, что это последний крик моды.

— Безусловно, — сказал Гамбрил.

— Остается еще лозунг экономии: «Одна пара Патентованных Штанов Гамбрила носится дольше, чем шесть пар обыкновенных брюк». Это очень просто. Настолько просто, что и говорить не о чем. — Мистер Болдеро жестом отстранил от себя эту тему.

— Нам нужны будут рисунки, — сказал Гамбрил в скобках, Ему пришла в голову блестящая мысль.

— Ну еще бы.

— Мне кажется, я знаю самого подходящего человека для этого, — продолжал Гамбрил. — Его фамилия Липиат. Он художник. Вы, вероятно, слышали о нем.

— Слышал о нем! — воскликнул мистер Болдеро. Он засмеялся. — Но кто же не слышал о Лидгате.

— Липиат.

— Ну конечно, я хотел сказать Липгет.

— Я думаю, он самый подходящий человек, — сказал Гамбрил.

— Совершенно верно, — сказал мистер Болдеро, несколько не смущаясь.

Гамбрил был доволен собой. У него было такое чувство, что он сделал доброе дело. Бедняга Липиат будет рад деньгам. Гамбрил вспомнил и о своих сребрениках. И, вспомнив о своих сребрениках, он вспомнил также, что до сих пор мистер Болдеро не сказал ему ничего конкретного относительно условий. Наконец он заставил себя намекнуть мистеру Болдеро, что пора подумать и об этих мелочах. Господи, как противно говорить о деньгах! Ему было всегда ужасно трудно отстаивать свои права. Он боялся, что его сочтут алчным. Он всегда с чрезмерной легкостью

становился на точку зрения другого человека — бедняга, может ли он заплатить столько? И его всегда надували, и он всегда знал об этом. Как он ненавидел жизнь в такие минуты! Мистер Болдеро выражался уклончиво.

— Я вам напишу об этом, — сказал он наконец. Гамбрил был на верху блаженства.

— Да, напишите, — восторженно сказал он, — напишите.

С письмами-то он умел обращаться. С пером в руках он был язвителен и беспощаден. Но из разговора лицом к лицу, из рукопашной схватки он никогда не выходил победителем. Ему казалось, что из него вышел бы замечательный сатирик, беспощадный критик, неистовый и неразборчивый в средствах полемический писатель. А если он когда-нибудь предаст печати свою автобиографию, какая это будет интимная, какая обнаженная — только покрытая легким слоем здорового загара поверх своей белизны, — какая трепетно-живая и чувствительная медуза! Там будет все, чего он никогда никому не высказывал. Сплошная исповедь — да, книжечка получится приятная!

— Да, напишите мне письмо, — повторил он, — напишите. Через некоторое время пришло письмо от мистера Болдеро.

Содержавшиеся в нем условия были сплошным издевательством. Сто фунтов наличными и пять фунтов в неделю, когда дело будет налажено. Пять фунтов в неделю — причем за эти деньги он обязан работать директором-распорядителем, писать объявления и заведовать сбытом товара на иностранных рынках. Гамбрил был благодарен мистеру Болдеро за то, что тот изложил условия письменно. Если бы он предложил их лично, за ресторанным столиком, Гамбрил, вероятно, принял бы их, не пикнув. В нескольких точных, острых фразах ответного письма он сообщал, что разговор может идти лишь о пятистах фунтах наличными плюс тысяча в год. Мистер Болдеро любезно ответил: не соблаговолит ли мистер Гамбрил явиться к нему лично?

Лично? Да, к сожалению, это неизбежно. Так или иначе, ему все равно придется увидеться с мистером Болдеро. Но для переговоров с ним он пошлет Цельного Человека. Цельный Человек против гнома — в исходе схватки не могло быть сомнений.

«Дорогой мистер Болдеро, — написал он в ответ, — я пришел бы к вам переговорить о делах и раньше. Но последние дни я был занят отращиванием бороды, и пока таковая не созреет, я не могу, как вы понимаете сами, выйти из дома. Послезавтра, однако, я надеюсь быть в полной форме и приду к вам в вашу контору около трех часов, если это вас устраивает. Надеюсь, дело будет улажено к обоюдному удовольствию.

Остаюсь, дорогой мистер Болдеро, искренне ваш
Теодор Гамбрил Младший».

Послезавтра с течением времени превратилось в сегодня. Обрамленный бородой и раблезиански широкоплечий в своей шевиотовой тоге, Гамбрил явился в контору мистера Болдеро на улице Королевы Виктории.

— Никогда бы вас не узнал, — воскликнул мистер Болдеро, пожимая ему руку. — Совершенно другой человек!

— В самом деле? — И Цельный Человек рассмеялся с многозначительной веселостью.

— Может быть, вы снимете пальто?

— Нет, благодарю вас, — сказал Гамбрил. — Я останусь так.

— Итак, — сказал гном, откидываясь на спинку кресла и по-птичьи щурясь на собеседника.

— Итак, — повторил Гамбрил совсем иным тоном из-за копны своей пшенично-золотой бороды. Он улыбнулся, чувствуя себя безмятежно сильным и уверенным.

— Я очень сожалею, что мы с вами не поладили. — сказал мистер Болдеро.

— Я тоже, — ответил Цельный Человек. — Но мы очень скоро поладим, — многозначительно добавил он и при этих словах ударил кулаком по массивному письменному столу мистера Болдеро с такой силой, что чернильницы задрожали, ручки подпрыгнули, а сам мистер Болдеро в неподдельном ужасе подскочил на месте. Он этого не ожидал. Теперь, при более близком рассмотрении, этот юнец Гамбрил оказался огромным, мускулистым парнем угрожающего вида. А он-то думал, что ему будет легко обвести его вокруг пальца. Как мог он сделать такую ошибку!

Гамбрил вышел из конторы мистера Болдеро с чеком на триста пятьдесят фунтов в кармане и с годовым доходом в восемьсот фунтов. До ушибленной правой руки было больно дотронуться. Какое счастье, что одного удара оказалось достаточно!

ГЛАВА XI

Вторую половину дня Гамбрил провел в Блокс-гарденс. Кожа у него на подбородке болела от спиртового клея, при помощи которого он прикреплял символ Цельного Человека; сверх того, он чувствовал себя несколько утомленным. Роза встретила его с распростертыми объятиями. Святой Иероним все это время не переставал торжественно причащаться святых тайн.

Отец не обедал дома, и Гамбрил съел румстек и выпил бутылку портера в одиночестве. Сейчас он сидел перед открытой стеклянной дверью, ведущей из рабочего кабинета отца на балкон, держа в руках вечное перо и положив на колени чертежную доску, и сочинял рекламы Патентованных Штанов. За окнами, на платанах сквера, птицы только что закончили свой вечерний концерт. Но Гамбрил не обращал на них внимания. Он сидел в комнате, покуривая, изредка записывая два-три слова, как бы погруженный в трясину своего полусонного отдыхающего тела. Безоблачный день перешел в синий майский вечер. Приятно было чувствовать, что живешь и больше ничего.

Он набросал два или три объявления в возвышенно-идеалистическом заокеанском стиле. Особенно ясно он представлял себе одно из них: наверху страницы портрет Нельсона, а под ним слова: «Англия ждет...» — заглавными буквами. «Англия... Долг... это святые слова».^[75] Так будет начинаться текст. «Это святые слова, и мы произносим их благоговейно, ибо мы понимаем, что такое Долг, и делаем все, чтобы выполнить его так, как подобает Англичанам. Миссия Фабриканта священна. Он руководит и правит современным миром и, подобно монарху минувших дней, несет ответственность перед своим народом: он призван исполнить некий Долг. Он правит, но он должен также служить. Мы знаем, какая ответственность возложена на нас, и мы относимся к ней с полной серьезностью. Патентованные Штаны Гамбри-ла созданы для того, чтобы послужить народу. Наш Долг по отношению к вам — это Долг службы. Наша гордость — в его выполнении. Но кроме Долга перед Другими, у каждого человека есть долг перед Самим Собой. Каков этот долг? Он в том, чтобы постоянно быть физически и духовно в полной боевой готовности Патентованные Штаны Гамбрила защищают поясничные ганглии...» А дальше начнется плавание по морям медицины и мистики.

Дойдя до ганглия, Гамбрил перестал писать. Он положил чертежную

доску на пол, закрыл перо и предался радостям чистой лени. Он сидел, покуривая сигару. Под ним, двумя этажами ниже, кухарка и горничная читали газеты: одна — «Отклики дня», другая — «Зеркало большого света». Для них ее величество королева милостиво беседовала с девочками-калеками из сиротского приюта; жокеи вылетали из седла, беря препятствия; Купидон деятельно работал среди представителей высшего общества, и убийцы, выпустившие кишки из своих любовниц, разгуливали на свободе. Над ним был город макетов, были спальни господ и слуг, чердак, полный баков с водой и вековой пыли, крыша, а над ней, на расстоянии двухсот или трехсот световых лет, звезда четвертой величины. По ту сторону капитальной стены по правую руку от него какое-то многочисленное семейство вело с удивительным упорством беспросветную жизнь. В данную минуту они все страстно переругивались. За стеной по левую руку жили юный журналист с женой. Сегодня ему самому пришлось готовить ужин. Юная супруга лежала на кушетке, чувствуя себя отвратительно: она в положении, теперь это совершенно ясно. Они не собирались иметь ребенка; это — катастрофа. А на улице птицы спали на деревьях, ребята из близлежащих трущоб возились и орали. Тем временем по Атлантическому океану плыли суда, нагруженные новыми сигарами. Розы в эту минуту, вероятно, штопала носки Шируотеру. Гамбрил сидел и покуривал, и Вселенная располагалась вокруг него правильным узором, как железные опилки вокруг магнита.

Дверь открылась, и горничная, по старой привычке бесцеремонно и резко нарушив его ленивое блаженство, ввела Шируотера и тотчас же поспешила обратно к «Зеркалу большого света».

— Шируотер! Какой приятный сюрприз, — сказал Гамбрил. — Заходите, присаживайтесь. — Он показал на стул.

Неуклюже, заполняя столько пространства, сколько хватило бы для двух нормальных людей, Шируотер нетвердой походкой, зигзагами, пересек комнату, наткнулся по дороге на письменный стол и диван и наконец уселся на указанный ему стул. Гамбрилу вдруг пришло в голову, что ведь это муж Розы; сразу он этого не сообразил. Может быть, он явился к нему так неожиданно именно в качестве оскорбленного супруга, после того, что произошло сегодня: он вернулся домой; Розы призналась во всем... Да! Но ведь она же не знает, кто он такой. При этой мысли он внутренне улыбнулся. Ну и положение! Может быть, Шируотер пришел жаловаться ему на неведомого Цельного Человека — ему, Гамбрилу! Это восхитительно. Аноним — автор всех этих баллад в «Оксфордской антологии английской поэзии»; знаменитый итальянский художник —

Ignoto.^[76] Гамбрил был даже разочарован, когда его посетитель заговорил не о Розе, а совсем на другие темы. Погруженный в трясину своего уютного живота, он пребывал в настроении добродушно-фривольном. Водевильная непристойность этого положения пришлась бы ему в эту минуту очень по душе. Добрый старый Шируотер — но какой же он баран! Если бы он, Гамбрил, взял на себя труд жениться, уж он бы обращал на свою жену хоть немного внимания.

Шируотер начал говорить в общих выражениях о жизни. «К чему это он клонит? — спрашивал себя Гамбрил. — Какие частности скрываются в засаде этих обобщений?» Иногда Шируотер замолкал. «Вид у него, — подумал Гамбрил, — крайне мрачный». Пухлый детский ротик под густыми усами не улыбался. Наивные глаза выражали изумление и усталость.

— Странно устроены люди, — сказал он после одной из пауз. — Очень странно. Даже представить себе невозможно, до чего они странные.

Гамбрил рассмеялся.

— Ну, о человеческой странности я имею очень ясное представление, — сказал он. — Все люди странные, причем нормальные почтенные буржуа обычно бывают страннее всех прочих. Как они ухитряются жить подобным образом? Иногда просто удивляешься. Как я подумаю о всех моих тетюшках и дядюшках... — Он покачал головой.

— Может быть, это потому, что я совсем не любознателен, — сказал Шируотер. — Очевидно, нужно быть любознательным. Я только теперь понял, что я был недостаточно любознателен в отношении людей. — Частности, личные и животрепещущие, начали высовываться из-под туманного покроя обобщений, как кролики из норок на опушке леса; Гамбрил очень ясно представил себе эту картину.

— Безусловно, — поощрительно сказал он. — Безусловно.

— Я слишком много думаю о работе, — продолжал Шируотер, хмурясь. — Слишком много физиологии. Но есть еще психология. У людей есть сознание, не только тело... Нельзя ограничивать свои интересы. Чересчур ограничивать. Сознание людей... — На мгновение он замолк. — Я могу представить себе, — снова заговорил он тоном человека, рассматривающего какой-то гипотетический случай, — я могу представить себе человека, настолько поглощенного психологией какого-нибудь другого человека, что он больше ни о чем не может думать. — Теперь кролики готовы были окончательно вылезти наружу.

— Этот процесс, — произнес Гамбрил из глубины своего тепленького болотца шутливым тоном умудренного опытом пожилого человека, —

принято называть влюбленностью.

Снова наступило молчание. Шируотер прервал его, заговорив о миссис Вивиш. Три или четыре дня подряд он обедал с ней. Он хотел, чтобы Гамбрил рассказал ему, какова она на самом деле.

— Мне лично она кажется очень своеобразной женщиной, — сказал он.

— Не более своеобразная, чем все прочие люди, — с раздражающим спокойствием сказал Гамбрил. Забавно было смотреть на кроликов, повысыпавших наконец из норок.

— Никогда в жизни я не встречал такой женщины.

Гамбрил засмеялся.

— Вы сказали бы это о любой женщине, которая заинтересовала бы вас, — сказал он. — Вы же до сих пор не знали женщин. — Он, Гамбрил, знал гораздо больше о Розе, чем знал или будет когда-либо знать Шируотер.

Шируотер погрузился в размышления. Он думал о миссис Вивиш, о ее прохладном бледно-голубом взгляде; о ее смехе, тихом и ироническом; о ее словах, пронизывающих ум, зарождающих в нем неведомые дотоле мысли.

— Она меня интересует, — повторил он. — Расскажите мне, какова она в действительности. — Он подчеркнул «в действительности», точно между кажущейся и реальной миссис Вивиш была огромная разница.

Большинство влюбленных, подумал Гамбрил, воображают, будто их возлюбленные обладают какой-то скрытой реальностью, которая не имеет ничего общего с тем, что они видят ежедневно. Они влюблены не в человека, а в продукт своего воображения. Иногда эта скрытая реальность действительно имеется; иногда она не отличается от видимости. Когда у них открываются глаза, это и в том и в другом случае бывает ударом.

— Не знаю, — сказал он. — Откуда мне знать? Узнавайте сами.

— Но вы знали ее, вы хорошо ее знаете, — тревожным тоном сказал Шируотер.

— Не настолько близко.

Шируотер шумно вздохнул, как спящий кит. Состояние у него было беспокойное, и он не мог сосредоточиться. В его сознании царил полный хаос. Как будто где-то в глубине произошло извержение вулкана, и спокойная ясность была нарушена. Эта нелепость, именуемая страстью, — он всегда считал ее бессмысленной, ненужной. Достаточно небольшого усилия воли, чтобы прекратить ее. Женщины существуют лишь на полчаса в сутки. Но она рассмеялась, и его покой, его беспечность исчезли безвозвратно. «Я могу представить себе, — сказал он ей вчера, — я могу

представить себе, как я бросаю работу, бросаю все на свете ради того, чтобы бегать за вами». — «Думаете, мне это доставит удовольствие?» — спросила миссис Вивиш. «Это смешно, — сказал он, — это почти позорно». А она поблагодарила его за комплимент. «И в то же время, — продолжал он, — у меня такое чувство, что это стбит того. Может быть, это даже единственная стоящая вещь». Его смятенный ум кишел новыми мыслями.

— Очень трудно, — сказал он после паузы, — устраивать свою жизнь. Невероятно трудно. Мне казалось, что я устроил ее так хорошо...

— Я никогда ничего не устраиваю, — сказал позитивный философ Гамбрил. — Я беру жизнь такой, какова она есть. — Не успел он произнести эти слова, как им овладело отвращение к самому себе. Он внутренне встряхнулся; он выбрался из болотца собственного «я». — Возможно, было бы лучше, если бы я сам устраивал свою жизнь, — добавил он.

— Воздайте кесарево кесарю, — сказал Шируотер, как бы разговаривая с самим собой, — и Богу, и полу, и работе... Все должно быть на своем месте. — Он вздохнул. — Все должно быть в должной пропорции. В пропорции, — повторил он, точно в этом слове заключалась магическая сила. — В пропорции.

— Кто тут говорит о пропорции? — Они обернулись. На пороге стоял Гамбрил Старший, приглаживая свои взлохмаченные волосы и крутя бородку. Его глаза весело щурились за стеклами очков. — Разговариваете об архитектуре, вторгаетесь на мою территорию? — спросил он.

— Это Шируотер, — ответил Гамбрил Младший и объяснил отцу, кто такой его гость.

Старик сел на стул.

— Пропорции, — сказал он. — Я как раз думал о них по дороге домой. На лондонских улицах, где пропорции вообще отсутствуют, невольно думаешь о них. Невольно тоскуешь о них. Здесь есть такие улицы... Господи Боже мой! — И Гамбрил Старший в ужасе воздел руки. — Когда идешь по ним, впечатление такое, точно слушаешь кошачий концерт. Сплошной беспорядок и бессмысленные диссонансы. Была у нас одна улица, похожая на симфонию Моцарта, — и посмотрите, как деловито и с каким восторгом ее сейчас разрушают. Через год от Риджент-стрит камня на камне не останется. Будет только груда громоздких, уродливых строений ценой в три четверти миллиона каждое. Концерт циклопических котлов. Вместо порядка омерзительный хаос. Мы не нуждаемся в нашествии варваров: они здесь, в самом сердце нашей столицы.

Старик остановился и задумчиво подергал бородку. Гамбрил Младший сидел молча, покуривая; и молча же Шируотер вертел и переворачивал внутри своей огромной круглой черепной коробки горестные мысли о миссис Вивиш.

— Меня всегда поражало, — снова заговорил Гамбрил Старший, — насколько люди невосприимчивы к окружающей их гнусной и нестройной архитектуре. Представьте себе, например, что все духовые оркестры безработных ветеранов войны, уныло играющие на всех углах, вдруг станут исполнять вещи, состоящие из сплошных бессмысленных и уродливых диссонансов: да ведь первый же полисмен прогонит их, а второй арестует, а прохожие попытаются расправиться с ними судом Линча по дороге к ближайшему участку. Это будет взрыв всеобщего негодования. Но когда на углах тех же улиц подрядчики воздвигают колоссальные дворцы из стали и камня, не менее отвратительные, глупые и негармоничные, чем десяток трубачей, из которых каждый играет в своем ключе свою мелодию, тогда никто не возмущается. Полиция не забирает архитектора в участок; пешеходы не побивают камнями строительных рабочих. Никто ничего не замечает. Это ни на что не похоже, — сказал Гамбрил Старший. — Это совершенно ни на что не похоже.

— Совершенно, — отозвался Гамбрил Младший.

— Все дело, видимо, в том, — продолжал Гамбрил Старший, улыбаясь с торжествующим видом, — все дело в том, что архитектура — искусство более трудное и интеллектуальное, чем музыка. Музыка — это способность, которая дается от рождения, как вздернутый нос. Но чувство пластической красоты — хотя и оно, разумеется, врожденная способность — нуждается в развитии, в интеллектуальном созревании. Оно живет в сознании, оно воспитывается опытом и мышлением. В музыке бывают вундеркинды, в архитектуре — никогда. — Гамбрил Старший удовлетворенно прищелкнул языком. — Можно быть великолепным музыкантом и круглым дураком. Но хороший архитектор должен быть человеком умным, он должен уметь мыслить и учиться на опыте. Атак как почти никто из людей, проходящих по улицам Лондона — или любого другого города, — не умеет мыслить и учиться на опыте, то и получается, что никто из них не способен оценить архитектуру. Врожденная музыкальность у них настолько сильна, что диссонансы им неприятны; но у них не хватает ума развить в себе другую врожденную способность — чувство пластической красоты, которое позволило бы им видеть и осуждать такое же варварство в архитектуре. Идемте-ка со мной, — добавил Гамбрил Старший, вставая со стула, — и я покажу вам одну вещь, которая

послужит иллюстрацией к моим словам. Эта вещица доставит вам, кроме того, удовольствие. Никто еще не видел ее, — таинственно произнес он, подымаясь по лестнице. — Она только что закончена после многих лет труда. Она произведет шум, когда они ее увидят — то есть когда я покажу ее им, если я вообще это сделаю. Сволочи они все! — добродушно выругался он.

На площадке следующего этажа он остановился, порылся в кармане, вынул ключ и отпер дверь того, что должно было бы служить спальней для гостей. Гамбрил Младший спрашивал себя, сгорая от любопытства, какую новую игрушку они сейчас увидят. Шируотер спрашивал себя об одном: как добиться любви миссис Вивиш.

— Идите сюда, — позвал Гамбрил Старший из комнаты. Он повернул выключатель. Они вошли.

Это была большая комната, почти целиком занятая гигантским макетом города, длиной в двадцать футов, шириной в десять или двенадцать; через весь город протекала извилистая река, а в центре возвышался огромный храм, увенчанный куполом. Гамбрил Младший рассматривал макет с удивлением и удовольствием. Даже Шируотер отвлекся от горестных мыслей о неудовлетворенных желаниях, чтобы посмотреть на расстилавшийся у его ног чудесный город.

— Какая прелесть, — сказал Гамбрил Младший. — Что это такое? Столица Утопии, что ли?

Гамбрил Старший улыбаясь усмехнулся.

— Разве купол не кажется тебе знакомым? — спросил он.

— Да как тебе сказать... — Гамбрил Младший замялся, боясь сморозить какую-нибудь глупость. Он нагнулся, чтобы подробнее рассмотреть купол. — Мне сразу показалось, что это похоже на собор Святого Павла — а теперь я вижу, что это он самый и есть.

— Совершенно верно, — сказал отец. — Это — Лондон.

— Хотел бы я, чтобы он был таким, — засмеялся Гамбрил Младший.

— Это Лондон, каким бы он мог быть, если бы Врену позволили осуществить его план восстановления города после Большого Пожара.^[77]

— А почему ему не позволили? — спросил Шируотер.

— Главным образом потому, — сказал Гамбрил Старший, — что они, как я уже говорил, не умеют ни думать, ни учиться на опыте. Врен предлагал им открытые пространства и широкие улицы; он предлагал им солнце, воздух и чистоту; он предлагал им красоту, порядок и величие. Он предлагал строить с расчетом на воображение и честолюбие человека, строить так, чтобы даже самые незначительные из людей могли смутно

почувствовать, расхаживая по этим улицам, что они одной породы — или почти одной — с Микеланджело; чтобы они тоже почувствовали себя, по крайней мере внутренне, сильными, свободными и великолепными. Вот что он предлагал. Рыская с опасностью для жизни среди дымящихся развалин, он составил для них план. Но они предпочли восстановить прежнее убожество и путаницу; предпочли темные, кривые, причудливо нестройные улочки Средневековья; предпочли дыры и тупики, извилистые, крытые переходы; предпочли вонь и бессолнечный спертый воздух, чахотку и рахит; предпочли уродство, и ничтожество, и грязь; предпочли ориентироваться на человеческую низость, на презренное тело, а не на сознание. Жалкие болваны! Но пожалуй, — продолжал старик, трясая головой, — мы не имеем права их ругать. — Его шевелюра сорвалась со своего ненадежного якоря; он покорно откинул ее назад. — Мы не имеем права ругать их. Будь мы на их месте, мы поступили бы так же, вне всякого сомнения. Нам предлагают разум и красоту, а мы отвергаем их, потому что это, видите ли, не совпадает с теми понятиями, которые нам привили в юности, которые выросли у нас в душе и сделались частью нас самих. *Experientia docet*^[78] — применительно к большинству из нас это самое лживое изречение, какое когда-либо было произнесено. Ты, милый Теодор, в прошлом, наверное, много раз делал глупости из-за женщин...

Гамбрил Младший сделал жест, выражающий замешательство, наполовину отвергая, наполовину принимая мягкий упрек отца. Шируотер отвернулся: он с болью вспомнил то, о чем на минуту почти забыл. Гамбрил Старший поехал дальше.

— Разве это мешает тебе завтра наделать еще бóльших глупостей? Нет. Конечно, нет. — Гамбрил Старший покачал головой. — Все отлично знают, как неприятен и ужасен сифилис; и все-таки эта болезнь процветает и распространяется. В последнюю войну несколько миллионов было убито, полмира было разорено; а мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы она повторилась. *Experientia docet*? Ничему она не *docet*.

И поэтому мы не должны слишком жестоко осуждать тех честных лондонцев, которые, прекрасно сознавая, как неприятны темнота, беспорядок и грязь, мужественно противились всем попыткам изменить условия, которые они с детства привыкли считать необходимыми, правильными и неизбежно присущими порядку вещей. Не будем придиричивы. Все мы хороши. Зная из векового опыта, как прекрасен, как изящен, как радует глаз хорошо распланированный город, мы разрушаем едва ли не единственный образец планировки, который у нас есть, и на его месте воздвигаем издевательство над цивилизацией, беспорядочную груду

портландского цемента. Но забудем о тех древних горожанах и об оставленном ими в наследство уродливом и неудобном лабиринте, что зовется Лондоном. Забудем о наших современниках, делающих его еще хуже, чем он есть. Прогуляемся со мной по этому идеальному городу. Смотрите!

И Гамбрил Старший принялся объяснять макет.

Вон там, посреди грандиозной эллипсоидальной площади в восточной части Нового Сити, стоит квадратное здание Королевской Биржи. Прорезанные только небольшими темными окнами, сложенные из неотесанных глыб серебристого портландского камня, стены первого этажа служат прочным основанием для огромных пилястров, между базами и капителями которых расположились один над другим три ряда окон с кокошниками. На пилястрах покоятся карниз, антаблемент и балюстрада, и на каждом столбе балюстрады статуя воздевает к небу свои атрибуты. Четыре больших портала, украшенных аллегорическими фигурами, ведут во внутренний двор с двойным рядом парных колонн, аркадами и галереей. Посреди двора триумфально гарцует конная статуя Карла,^[79] а за окнами угадываются просторные комнаты с панелями резного дерева и тяжелыми гипсовыми гирляндами.

Десять улиц вливаются в площадь, и в каждом конце ее эллипса непрерывно взлетают и падают воды пышных фонтанов. На фонтане, к северу от Биржи, Торговля держит рог изобилия, и из сыплющихся оттуда яблок и гроздьев винограда бьет главная струя; два десятка мелких струек изливаются из сосков десяти Полезных Искусств, расположившихся со своими атрибутами вокруг центральной фигуры. Внизу резвятся в бассейне дельфины, моржи и тритоны. К югу от Биржи десять крупнейших городов королевства семьей окружают Мать Городов, льющую из урны неистощимый поток Темзы.

Вокруг площади расположились Дом Цеха Ювелиров, Акцизная Палата, Монетный Двор, Почтамт. Их фасады выгнуты в соответствии с изгибом эллипса. Их окна между пилястрами смотрят на Биржу, и сестры-статуи на балюстрадах перекликаются друг с другом через пустое пространство площади. Два проспекта шириной в девяносто футов идут от Биржи на запад. Из них северный заканчивается триумфальной аркой, три отверстия которой глубоки, таинственны и торжественны, как пещеры. Ратуша и дома двенадцати городских цехов, одетые в розовато-красный кирпич, в кружеве белого камня на углах и вокруг окон, придают улице домашний уют и вместе с тем великолепие. Через каждые двести или триста шагов линия домов прерывается, и в квадратном углублении

подобно острову подымается величественная и фантастическая колокольня приходской церкви. Купола, увенчанные шпилями; многоярусные восьмиугольники, сужающиеся кверху; многоярусные цилиндры; круглые фонари, фонари-многоугольники; колокольни с воздушными остроконечными башенками; гроздь колонн, связанных вогнутыми карнизами, а над ними еще четверка гроздьев и еще одна, квадратные башни, прорезанные остроконечными окнами; шпили на стремящихся ввысь контрфорсах; шпили с луковичным основанием — все они перекликаются друг с другом, как добрые друзья и знакомые, на фоне неба. С другого берега или плывя вдоль спокойной реки можно увидеть их все, можно назвать их все по именам; а посреди, более высокий, чем все они, вздувается огромный купол. Купол Святого Павла.

Другой проспект, идущий на запад от Биржевой площади, ведет прямо к нему. Дома на этом проспекте кирпичные, квадратные, с гладкими фасадами, с аркадами внизу, благодаря чему лавки выходят не на самую улицу, и пешеход идет по всегда сухому тротуару под гармонично сменяющимися сводами. И там, в конце проспекта, у основания треугольника, образованного его слиянием с другим проспектом, идущим на восток к Тауэру, стоит кафедральный собор. К северу от него находится дом декана, а под аркадами книжные лавки.

За собором проспект спускается вниз под щегольскими италянизированными арками Людгета, мимо широких, обсаженных липами бульваров, которые идут к северу и к югу с внешней и внутренней стороны городских стен, подходит к берегу Флотской канавы — превращенной теперь в благородный канал, на гранитные набережные которого баржи выгружают свой груз отечественных товаров, — пересекает ее по однопролетному висячему мосту и подымается снова к круглой площади, немного к востоку от Темпля, откуда двумя пересекающимися крестами выходят восемь лучевых проездов: три к северу, по направлению к Гольборну, три от противоположной арки по направлению к реке, один к востоку, и один мимо Линкольн-Инн-Филдс — к западу. Площадь вся из кирпича, и окружающие ее дома образуют, начиная со второго этажа, сплошное кольцо: все улицы выходят на нее из-под арок. Человеку, стоящему в центре, у подножия обелиска в память победы над Нидерландами, она кажется гладким кирпичным колодцем, прорезанным у основания восемью сводчатыми водостоками и расцвеченным вверху тремя рядами простых, неорнаментированных окон.

Кто опишет все фонтаны на просторных площадях, все статуи и памятники? На круглой площади к северу от Лондонского моста, где

сливаются четыре улицы, стоит пирамида нимф и тритонов, речных богинь Полиальбиона и морских богов британского побережья, купающихся в неумолкающем потоке пенящейся воды. А вот эмблема города, грифон, изливает воду из клюва; эмблема короля, лев, — из пасти. У подножия собора святой Георгий поражает дракона, ноздри которого извергают не огонь, а прохладную воду Новой Реки. Перед Домом Ост-Индской Компании четыре слона из черного мрамора, несущие на спинах беломраморные башни, выдувают из своих повернутых к небу хоботов обильный символ богатств Востока. В садах Тауэра сидит на троне Карл II, окруженный толпою Муз, Добродетелей, Граций и Часов. Башня Таможни — маяк. Огромный шлюз, символ победы над водной стихией, перерезает Флотскую канаву у ее слияния с Темзой. Река одета в гранит от Блек-Фрайерского моста до Тауэра, и через каждые двадцать шагов строгий каменный ангел смотрит с балюстрады на противоположный берег.

Гамбрил Старший объяснял свой город со страстью. Он показывал пальцами на макет, он воздевал руки и подымал глаза, стараясь дать представление о размерах и великолепии своих построек. Пряди его волос то и дело падали на глаза, и их приходилось нетерпеливо откидывать назад. Он сучил бородку; стекла его очков сверкали, точно настоящие глаза. Глядя на него, Гамбрил Младший невольно думал, что перед ним статный и жестикулирующий силуэт одного из тех старых пастухов, которые стоят перед руинами на гравюрах Пиранези, являясь живым доказательством поразительного величия и падения человеческого рода.

ГЛАВА XII

— Вы? Это вы? — Она не верила своим глазам. Гамбрил кивнул.

— Да, это я, — успокоил он ее. — Побрился, только и всего Он оставил бороду в правом верхнем ящике комода, среди галстуков и воротничков.

Эмили критически оглядела его.

— Без бороды вы мне нравитесь больше, — наконец решила она. — Вы более милый. Нет, я не хочу сказать, что раньше вы не были милым, — поспешила она добавить. — Как вам сказать — более приятный, что ли... — Она замялась. — Это глупое слово, — закончила она, — ноя сказала бы: более нежный.

Это был самый жестокий удар.

— Более мягкий и меланхоличный? — подсказал он.

— Да, если хотите, пожалуй, так, — согласилась Эмили. Он взял ее руку и поднес к губам.

— Я вас прощаю, — сказал он.

Он мог простить ей все, что угодно, во имя этих невинных глаз, во имя строгих, серьезных губ, во имя коротких каштановых волос, окружавших — без тени серьезности, без тени строгости — своими веселыми обильными завитками ее лоб. Он, или, вернее, Цельный Человек, опьяненный своим деловым триумфом, встретил ее в Национальной галерее, куда он зашел после победы над мистером Болдеро. «Старые метры, юные метрессы» — так Колмэн рекомендовал ему Национальную галерею. Он проходил по залу венецианцев, чувствуя себя таким же полным жизни, как самая большая композиция Веронезе, когда позади себя он слышал магическое слово, открывающее новые приключения, произнесенное хихикающим шепотом: «Бобер!» Он сделал крутой поворот и очутился лицом к лицу с двумя перепуганными молодыми женщинами. Он свирепо нахмурился: он потребовал удовлетворения. Обе они, заметил он, обладали вполне приемлемой наружностью, и обе были очень молоды. Одна из них, по-видимому старшая — и более привлекательная, как он сразу же решил, — была сконфужена до последней степени: покраснела до ушей и забормотала извинения. Но другая, та, что, судя по всему, произнесла магическое слово, только смеялась. Благодаря ей завязалось знакомство, скрепленное через полчаса чаем и звуками первокласснейшей музыки на пятом этаже ресторана Лайонса на Стрэнде.

Их звали Эмили и Молли. Эмили, по-видимому, была замужем. Ее секрет выдала Молли, причем Эмили очень рассердилась на нее за эту явную нескромность. Факт замужества Эмили сейчас же окутали покровом тайны, окружили заградительной зоной недомолвок: стоило Цельному Человеку задать на эту тему вопрос, как Эмили смолкала, а Молли принималась хихикать. Но хотя Эмили была замужем и была старшей, Молли, несомненно, знала о жизни гораздо больше; мистер Меркаптан без всяких колебаний назвал бы ее более цивилизованной. Эмили не жила в Лондоне; похоже было, что она вообще нигде не жила. В данный момент она гостила у родных Молли в Кью.

Он встретился с ними на следующий день, и еще через день, и еще через день после этого; один раз за завтраком, с которого он поспешно ушел к Розе; один раз — за чаем в Кью-гардснс; один раз — за обедом, за коим последовал театр и расточительная поездка в такси до Кью в первом часу ночи. Ручная приман-ная утка успокаивает страхи боязливой дикой птицы; ручная Молли, которая была откровенно флиртующей кокеткой, служила Цельному Человеку приманной уткой в его охоте за Эмили. Когда Молли уехала погостить к подругам в провинцию, Эмили уже привыкла и приспособилась к присутствию охотника, она принимала как нечто естественное и само собой разумеющееся шутивно-галантную позицию, которую Цельный Человек, спровоцированный глазками и хихиканьем Молли, занял с самого начала. Благодаря содействию хихикающей Молли она за три дня зашла по пути интимности дальше, чем подвинулась бы без Молли за тридцать свиданий.

— Как смешно, — сказала она, когда они встретились в первый раз после отъезда Молли, — как смешно видеть вас без Молли.

— С Молли было гораздо смешней, — сказал Цельный Человек. — Я стремился видеть не Молли.

— Молли чудесная, милая девушка, — лояльно объявила она. — К тому же она забавная и умеет разговаривать. А я не умею: я совсем не забавная.

Найти на это подходящий ответ было нетрудно; но Эмили не верила комплиментам; да, самым искренним образом не верила.

Он принялся изучать ее; и теперь, когда она была приручена и перестала бояться его приближения, когда, сверх того, он изменил шутливой наглости Цельного Человека ради более свойственной ему мягкости, которая, как он почувствовал, в данном случае гораздо уместней, Эмили не чинила ему препятствий. Она одинока, а он, видимо, прекрасно все понимает; и вскоре она доверчиво повела его по неведомой стране

своей внутренней жизни и своего прошлого.

Она была сиротой. Свою мать она почти не помнит. Отец умер от гриппа, когда ей было пятнадцать лет. Один из его деловых друзей обычно навещал ее в школе, брал ее оттуда на праздники и покупал ей шоколадные конфеты. Она звала его «дядя Стэнли». Он торговал кожей, был толстый и веселый, и у него было красное лицо, очень белые зубы и блестящая лысина. Когда ей исполнилось семнадцать с половиной лет, он сделал ей предложение, и она сказала «да».

— Но почему? — допытывался Гамбрил. — Объясните, ради Бога, почему?

— Он сказал, что возьмет меня в кругосветное путешествие; как раз в это время кончилась война. Вокруг света, понимаете? А мне надоела школа. Я ничего еще не понимала, а он был очень мил со мной; и он очень настаивал. Я не знала, что такое брак.

— Не знали?

Она покачала головой: это была чистая правда.

— Не имела ни малейшего представления.

И это в двадцатом веке! Вот случай, достойный учебника сексуальной психологии. «Миссис Эмили Х., родившаяся в 1901 г., находилась в состоянии полной невинности и неведения в момент заключения перемирия, 11 ноября 1918 года», и т. д.

— И вы за него вышли?

Она кивнула.

— А дальше?

Она закрыла лицо руками. Она вздрогнула. Самозванный дядюшка, превратившись в законного мужа, стал требовать от нее исполнения супружеских обязанностей — пьяный. Она боролась с ним, она вырвалась и убежала и заперлась в одной из комнат. На вторую ночь их медового месяца он наградил ее синяком на лбу и укусом на левой груди, которая нарывала после этого несколько недель. На четвертую ночь, преисполнившись еще большей решимостью, он так грубо схватил ее за горло, что у нее лопнул кровеносный сосуд и кровь полилась изо рта на простыню. Самозваному дядюшке пришлось послать за доктором, и Эмили провела следующие несколько недель в больнице. Это было четыре года назад; муж пытался заставить ее вернуться к нему, но Эмили отказалась. У нее было небольшое состояние — она имела возможность отказаться. Самозванный дядюшка утешался с другими, более податливыми племянницами.

— И никто не пытался с тех пор ухаживать за вами? — спросил

Гамбрил.

— О, пытались очень многие!

— И все безуспешно?

Она покачала головой.

— Я не люблю мужчин, — сказала она. — Они ужасно противные, большинство из них. Такие животные.

— Anch'io?^[80]

— Что? — в недоумении переспросила она.

— Я тоже животное? — И он вдруг почувствовал, что со своей бородой он и вправду животное.

— Нет, — сказала Эмили после минутного колебания, — вы не такой. По крайней мере так мне кажется; хотя иногда, — добавила она простодушно, — иногда вы ведете себя так, что я сомневаюсь, действительно ли вы не такой.

Цельный Человек засмеялся.

— Не смейтесь так, — сказала она. — Это очень глупо.

— Вы совершенно правы, — сказал Гамбрил. — Это глупо. А как она проводит время? Он продолжал изучать ее.

Да как сказать — она много читает; но большинство романов из библиотеки Бутса кажутся ей довольно-таки идиотскими.

— Все больше об одном и том же. О любви.

Цельный Человек пожал плечами.

— Такова жизнь.

— Тогда я скажу, что она не должна быть такой, — сказала Эмили.

Кроме того, когда она бывала за городом — а она часто уезжала из города, останавливаясь то в одном, то в другом городке, на неделю или даже на месяц, — каждый раз она совершала длинные прогулки. Молли не могла понять ее любви к природе; но она ее любила. Ей очень нравятся цветы. Она даже думает, что цветы нравятся ей больше, чем люди.

— Жаль, что я не умею рисовать, — сказала она. — Если бы я умела, я была бы очень счастлива: все время рисовала бы цветы. Но я не умею. — Она покачала головой. — На бумаге получается такая уродливая мазня; а у меня в голове или в полях они такие прелестные.

Гамбрил с большим знанием дела заговорил о флоре западного Сёррея: о том, где можно найти салеп, и анемоны, и баранчики, о лесах, где растет настоящий дикий водосбор, о лучших местах, где водится росянка, о глинистых оползнях, где встречаются дикие желтые нарциссы. Все эти удивительные сведения выбивались ключом на поверхность его сознания из каких-то подземных источников памяти. Цветы! Теперь он по целым

годам никогда не думал о цветах. Но его мать любила цветы. Каждую весну они уезжали на все лето в свой загородный коттедж. Все их прогулки, все их поездки в двуколке были охотой за цветами. И, разумеется, сын охотился за ними с такой же страстью, как мать. У него были целые альбомы засушенных цветов, он превращал их в мумии, положив в горячий песок, он составлял карты окрестностей, старательно раскрашивая разноцветной тушью места, где росли различные цветы. Как давно все это было! Невероятно давно! Много семян упало с тех пор на каменистую почву его ума, пышно разрастаясь ветвистыми деревьями и снова увядая, потому что их корням некуда было углубиться; много семян было посеяно и погибло с тех пор, как его мать посеяла семена диких цветов.

— А если хотите найти росянку, — заключил он, — ищите в Пуншевой Чаше, позади Хиндхеда. Или в окрестностях Френ-шема. У Малого Пруда, знаете, не у Большого.

— Но вы знаете о них решительно все! — воскликнула Эмили в восторге. — Мне стыдно моих жалких, скудных познаний. И вы, должно быть, любите их так же сильно, как я.

Гамбрл не отрицал этого; отныне их связала цепь из цветов.

А что она делает еще?

О, она, конечно, много играет на рояле. Очень скверно; но как бы то ни было, это доставляет ей удовольствие. Бетховен, больше всего ей нравится Бетховен. Она знает, более или менее, все сонаты, хотя ей никак не удастся соблюдать правильный темп в трудных местах.

Гамбрл и здесь чувствовал себя как дома.

— Ага! — сказал он. — Бьюсь об заклад, что вы не можете сыграть нижнее В в предпоследней вариации опуса 106 так, чтобы оно не звучало смешно.

И она, конечно, не могла, и, конечно, она была довольна, что он знает об этом все и знает, как это немыслимо трудно.

В кебе, когда они возвращались в тот вечер в Кью, Цельный Человек решил, что пора перейти к решительным действиям. Прощальный поцелуй, более похожий на шумное шаловливое чмокание, чем на серьезное объятие, уже входил в церемониал, подписанный с приложением печати хихикающей Молли перед отъездом. Пора было, по мнению Цельного Человека, придать этому приветствию характер менее формальный и менее шаловливый. Раз, два, три, и наконец, когда они пересекали Гаммер-смит-бродуэй, он перешел к решительным действиям. Эмили разразилась слезами. Он не был подготовлен к этому — а следовало бы. Только мольбами, только чуть ли не слезами Гамбрл убедил ее взять обратно свое

решение никогда, никогда больше с ним не встречаться.

— Я думала, вы не такой, — рыдала она. — А теперь, теперь...

— Не надо, не надо, — уговаривал он. Он готов был тут же сорвать с себя бороду и покаяться во всем. Но, поразмыслив, он решил, что это еще больше осложнит дело. — Не надо, я обещаю.

В конце концов она согласилась увидеться с ним еще раз, Скажем, в Кью-гарденс, на следующий день. Они условились встретиться у маленького храма, что стоит на холмике над заросшей вереском долиной.

И вот они встретились. Цельный Человек был оставлен дома в правом верхнем ящике комода, вместе с галстуками и воротничками. Он догадался, что Некто Мягкий и Меланхоличный понравится ей больше; и он оказался прав. Она с первого же взгляда нашла его «более нежным».

— Я вас прощаю, — сказал он и поцеловал ее руку. — Я вас прощаю.

Рука об руку они шли по долине, заросшей вереском.

— Не знаю, почему это вы должны меня прощать, — сказала она смеясь. — По-моему, прощать надлежало бы как раз мне. После вчерашнего. — Она укоризненно покачала головой. — Вы меня так огорчили.

— Да, но вы уже простили меня.

— По-моему, вы слишком многое считаете само собой разумеющимся, — сказала она. — Не будьте таким самоуверенным.

— Но я вовсе не самоуверенный, — сказал Гамбрил. — Не вижу...

Эмили снова засмеялась.

— Мне хорошо, — объявила она.

— Мне тоже.

— Какая зеленая сегодня трава!

Зеленая-зеленая, после всех этих дождливых месяцев она блестела на солнце, точно освещенная изнутри.

— А деревья!

Бледные, высокие, униженные комочками пыльцы дерева английской весны; темные симметричные сосны, разбросанные, точно острова, по лужайкам; и каждая сосна отдельным силуэтом вырезалась на небе, и каждая отбрасывала на траву у своего подножия тень, непроницаемо-темную или рябую от подвижных пятен света.

Они гуляли молча. Гамбрил снял шляпу, вдохнул нежный воздух, пахнувший зеленью.

— В нашем внутреннем мире тоже есть тихие уголки, — задумчиво сказал он. — Но мы строим в них эстрады и фабрики. Нарочно — чтобы уничтожить тишину. Мы не любим тишины. Все мысли, все заботы у меня

в голове... вертятся, вертятся непрерывно. — Он сделал рукой кругообразное движение. — И джазы, и мюзик-холльные песенки, и газетчики, выкрикивающие новости. К чему это? Чтобы положить конец тишине, разбить ее и развеять по ветру, уверить себя любой ценой, что ее нет. Да, но она есть; она есть, несмотря ни на что, она таится во всем. Порой, когда ночью лежишь с открытыми глазами — без движения, спокойно ожидая сна, — тишина восстанавливается, кусок за куском, все осколки, все обрывки, которые мы за день так старательно рассеивали. Она восстанавливается, внутренняя тишина, как эта внешняя тишина травы и деревьев. Она наполняет человека, она растет — кристаллическая тишина — растущий, распространяющийся кристалл. Она растет, она становится совершенней; она прекрасна и страшна, да, страшна в такой же степени, как и прекрасна. Потому что человек одинок внутри кристалла, и нет поддержки извне, нет ничего внешнего или незначительного, на что можно опереться или взобраться, надменно, презрительно, чтобы смотреть на это сверху вниз. Не над чем смеяться, нечем восторгаться. А тишина растет и растет. Ее рост прекрасен и невыносим. И под конец ощущаешь приближение чего-то; это похоже на слабый звук шагов. Что-то невыразимо прекрасное и чудесное приближается сквозь кристалл, ближе и ближе. И до чего невыразимо страшное! Потому что стоит ему прикоснуться к вам, стоит ему охватить и затянуть вас, как вы умрете; умрет вся привычная, повседневная, заурядная часть вашего существа. Кончатся эстрады с музыкой и фабричные гудки, и начнется трудная жизнь среди тишины, трудная, необычная, неслыханная жизнь. Ближе, ближе подходят шаги; но боишься встретить лицом к лицу то, что приближается. Не смеешь. Слишком страшно, слишком больно умирать. Скорей, пока еще не поздно, пускайте в ход фабричные машины, бейте в барабан, дуйте в саксофон. Думайте о женщинах, с которыми вам хотелось бы поспать, о способах заработать деньги, о сплетнях насчет ваших друзей, об очередной гнусности политических деятелей. Все, что угодно, лишь бы рассеяться. Разрушьте молчание, разбейте вдребезги кристалл! И вот его осколки валяются перед вами; его легко разбить; трудно вырастить, но легче легкого разбить. А шаги? Ну, они удалились с удвоенной быстротой. И сейчас нечто прекрасное и страшное уже по меньшей мере за три бесконечности от вас. А вы лежите спокойно в постели, размышляя о том, что вы сделали бы, будь у вас десять тысяч фунтов, и о всех прелюбодеяниях, которых вы никогда не совершите. — Он подумал о розовом нижнем белье Розы.

— Как вы все усложняете, — сказала она после паузы.

Гамбрил разостлал пальто на зеленом склоне, и они сели. Полулежа,

закинув руки за голову, он смотрел на нее, сидевшую здесь возле него. Она сняла шляпу; ветер играл детскими завитками ее волос, а на затылке и на висках, где волосы распустились, тонкие и нежные, образовались от солнечного света маленькие золотые нимбы. Обняв руками колени, она сидела совсем неподвижно, глядя вдаль через зеленый простор на деревья и белые облака на горизонте. «В ее внутреннем мире царит тишина», — подумал он. Она была уроженкой того кристального мира; шаги в молчании приносили ей успокоение, и нечто прекрасное не таило в себе ужасов. Для нее все было так легко и так просто.

Ах, так просто, так просто; как система продажи в рассрочку, пользуясь которой Роза приобрела свою розовую постель. А как просто — тоже просто! — мутить чистую воду и обрывать лепестки у каждого цветка, мимо которого проезжаешь в двуколке, запряженной пузатым пони. Как просто плевать на пол в церквах! Si prega di non sputare.^[81] Как просто задирать ноги и развлекаться жизнью — с чувством выполняемого долга — в розовом нижнем белье. Изумительно просто.

— Похоже на ариетту, не правда ли? — вдруг сказала Эмили. — На ариетту из опуса 111. — И она напела первые такты мелодии. — Вы разве не чувствуете, что похоже?

— Чтб похоже?

— Все, — сказала Эмили. — Сегодня, я хочу сказать. Вы и я... Этот парк... — И она продолжала напевать.

Гамбрил покачал головой.

— Для меня это слишком просто, — сказал он.

Эмили засмеялась.

— Да, но вспомните, как невысказанно трудно там дальше. — Она с бешеной скоростью задвигала пальцами, словно пытаясь сыграть невысказанные пассажи. — Начинается просто, ради удовольствия бедных дурочек вроде меня; а дальше идет и идет, все полней, и тоньше, и запутанней, и все более и более захватывает тебя всю. И все-таки это все в том же темпе.

Тени тянулись все дальше и дальше по лужайкам, и косые лучи заходящего солнца рассыпали по траве бесчисленные пятна тени; а на дорожках, казавшихся под прямыми лучами гладкими, как стол, теперь появились тысячи маленьких тенистых углублений и озаренных солнцем гор. Гамбрил взглянул на часы.

— Боже милостивый! — сказал он. — Мы должны лететь. — Он вскочил на ноги. — Скорей, скорей!

— Но почему?

— Мы опоздаем. — Он не хотел говорить куда. — Потерпите — и увидите, — неизменно отвечал он на вопросы Эмили. Они поспешно выбрались из сада, и он, невзирая на протесты Эмили, настоял на том, чтобы ехать в центр на такси. — Мне нужно отделаться от кое-каких незаслуженных прибылей, — объяснил он. Патентованные Штаны казались в эту минуту более далекими, чем самые отдаленные звезды.

ГЛАВА XIII

Несмотря на такси, несмотря на проглоченный наспех обед, они опоздали. Концерт начался.

— Ничего, — сказал Гамбрил. — К менюэту мы успеем. Самое интересное начинается только тогда.

— Зелен виноград, — сказала Эмили, прикладывая ухо к двери. — Это какая-то небесная гармония, по-моему.

Они стояли снаружи, как нищие, униженно ожидающие у дверей пиршественной залы, — стояли и слушали обрывки музыки, дразняще доносившиеся изнутри. Наконец взрыв аплодисментов показал, что первая часть кончилась; двери распахнулись. Они алчно устремились в зал. Квартет Склописа и добавочный альт раскланивались с эстрады. Зазвучал нестройный щебет настраиваемых инструментов, потом все стихло. Склопис кивнул и привел в движение свой смычок. Начался менюэт моцартовского квинтета G-minor: мелодия разворачивалась фраза за фразой, кратко и решительно, по временам прерываемая бурным аккордом *sforzando*, пугающим в своем резком и неожиданном пафосе.

Менуэт... Вся цивилизация, сказал бы мистер Меркаптан, заключена в этом прелестном слове, в этом нежном, изящном танце. Дамы и утонченные кавалеры, только что блиставшие остроумием и галантностью на софах, где обитает дух Кребильона, грациозно двигались в такт воздушному узору звуков. «Как они танцевали бы, — спрашивал себя Гамбрил, — под страстные рыдания того, другого, под звуки его мрачного и гневного спора с судьбой?»

Как чиста страсть, как искренна, прозрачна, ровна и безыскусна скорбь того *largo*, что следует за менюэтом! Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Чиста и непорочна, чиста и неподдельна, без примесей. «Не страстная, благодаренье Богу; только чувственная и сентиментальная». Во имя ухвертки. Аминь. Чистая, чистая. Когда-то страстные почитатели пытались насиловать статуи богов; виноваты в этом бывали обычно скульпторы. А как восхитительно может страдать художник! И перед лицом полного Зала Альберта, с какими удачными жестами и мимикой! Но блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Инструменты сходились и вновь расходились. Длинные серебряные нити легко повисали в воздухе над журчанием вод; посреди заглушённых рыданий — вопль. Фонтаны взмывают свои архитектурно-стройные колонны, и из бассейна в бассейн

струятся воды; из бассейна в бассейн, и с каждым падением все выше и выше взмывается струя, и вслед за последним падением огромная колонна подымается к солнцу, и из воды музыка превращается, модулируя, в радугу. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога, и не только узрят, но и сделают Бога зримым для всех.

Кровь стучит в ушах. Стук, стук, стук. Медленный бой барабана во тьме стучит в ушах того, кто лежит без сна в бреду, в невыносимых мученьях. Стучит непрерывно в ушах, в самой душе. Тело и душа нераздельны, и кровь мучительно стучит в сознании. Грустные думы бродят в уме. Чистый дрожащий огонек спускается во тьму, остается во тьме, примиряясь с мраком несчастий. Он примиряется, но кровь по-прежнему стучит в ушах. Кровь по-прежнему мучительно стучит, хотя душа покорилась. И тогда внезапно она делает усилие, стряхивает с себя бред слишком сильных страданий и радостей, приказывает телу танцевать. Вступление к последней части приходит к напряженному и трепетному концу. Миг ожидания, а затем ряд восходящих и быстро сбегających вниз трохеев, один крохотный шаг за другим, и в трехдольном ритме начинается танец. Непочтительный, непоследовательный, выпадающий из тона всего, что было раньше. Но мощь человека — в его способности быть непоследовательным. Кругом голод, мор и война, а он воздвигает соборы; он раб, но в голове у него бродят непоследовательные, неподобающие мысли свободного человека. Дух в рабстве у бреда и стучащей крови, под властью мрачного тирана — страдания. Но без всякой последовательности он решает танцевать в трехдольном ритме: прыжок — вверх, топот быстрых ног — вниз.

Квнтет D-minor кончился; раздается громкий треск аплодисментов. Энтузиасты вскакивают с мест и кричат «браво!». А пять человек на эстраде поднимаются и раскланиваются. Сам великий Склопис принимает свою долю хлопков с усталой снисходительностью; усталость в его заплывших глазках, усталость в его разочарованной улыбке. Он заслужил это, он знает; но на своем веку он получил столько аплодисментов, имел столько хорошеньких женщин. У него римский нос и огромный лоб; артистическая грива бронзового цвета скрывает полное отсутствие затылка. У Гарофало, второй скрипки, смуглое лицо, глаза, как бусинки, и огромный живот. Выпуклые отражения электрических лампочек скользят взад и вперед по его полированной лысой голове, когда он кланяется, снова и снова, на военный лад. Пеперкук, ростом в два метра, извивается в изысканных поклонах. Лицо и волосы у него одинакового серовато-коричневого цвета; он не улыбается, вид у него монолитный и мрачный.

Менее внушителен Кнедлер, который улыбается, и потеет, и обнимает свою виолончель, и прижимает руку к сердцу, и кланяется почти до земли, точно вся эта овация устроена ему одному. А бедненький мистер Дженкинс, добавочный альт, скрылся на задний план; чувствуя, что герой дня сегодня Склопис, а он сам человек посторонний и не имеет никакого права на все эти изъятия восторга, он почти не кланяется, только улыбается, неопределенно и нервно, и изредка дергается всем корпусом, чтобы показать, что он совсем не надменный или неблагодарный, как вы могли бы подумать, но что при данных обстоятельствах — положение несколько затруднительное — это трудно объяснить...

— Странно, — сказал Гамбрил, — что такие курьезные существа могли произвести то, что мы только что слышали.

Заплывшие глазки Склописа остановились на Эмили, раскрасневшейся и горячо аплодирующей. Он подарил ей, ей одной, усталую улыбку. Завтра, подумал он, к нему придет письмо, подписанное «Ваша Поклонница из третьего ряда». На вид она была лакомый кусочек. Он снова улыбнулся, чтобы подбодрить ее. Эмили — увы! — даже не заметила этого. Она аплодировала музыке.

— Вам понравилось? — спросил Гамбрил, когда они вышли на пустынную Бонд-стрит.

— Понравилось? — Эмили выразительно рассмеялась. — Нет, не понравилось, — сказала она. — Это не то слово. Понравиться может мороженое. Я стала счастливой. В музыке было несчастье, но она сделала меня счастливой.

Гамбрил подозвал кеб и дал адрес своей квартирки на Грет-Рассел-стрит.

— Счастливой, — повторил он, когда они уселись бок о бок в темном экипаже. Он тоже был счастлив.

— Куда мы едем? — спросила она.

— Ко мне, — сказал Гамбрил, — там нам будет спокойно. — Он боялся, как бы она не отказалась ехать к нему — после вчерашнего. Но она не сказала ни слова.

— Некоторые думают, что счастливым можно быть только тогда, когда делаешь шум, — сказала она после небольшой паузы. — А по-моему, счастье слишком хрупко и меланхолично для шума. Счастье, оно меланхолично, как прекраснейший пейзаж, как те деревья, и трава, и облака, и солнце сегодня.

— Со стороны, — сказал Гамбрил, — оно кажется даже скучным.

Они, спотыкаясь, поднялись по темной лестнице к нему в квартиру.

Гамбрил зажег две свечи и поставил чайник на газовую горелку. Они сидели вместе на диване, попивая чай. В ярком, мягком свете свечей она казалась иной, более прекрасной. Шелк ее платья казался удивительно ярким и блестящим, как лепестки тюльпана, и по ее лицу, по ее обнаженным рукам и шее свет, казалось, рассыпал тончайшую золотистую пыльцу. На стене позади них тени бежали к потолку, огромные и густо-черные.

— Как все это нереально, — прошептал Гамбрил. — Неправдоподобно. Эта далекая тайная комната. Этот свет и эти тени из другой эпохи. И вы, пришедшая ниоткуда, со мной, пришедшим из прошлого, бесконечно далекого от вашего прошлого, и мы сидим вместе, вместе — и оба счастливы. И что удивительней всего, безрассудно счастливы. Это нереально, нереально.

— Но почему? — сказала Эмили. — Почему? Это е с т ь, здесь и сейчас. Это реально.

— Все это может исчезнуть в любую минуту, — сказал он. Эмили грустно улыбнулась.

— Это исчезнет, когда придет время, — сказала она. — Вполне естественно, без всякой магии; исчезнет так же, как исчезает и меняется все. Но сейчас это — здесь.

Они отдались очарованию. Свечи горели, два блестящих огненных глаза, не мигая, минута за минутой. Но для них больше не было минут. Эмили прижалась к нему, полулежа на его согнутой руке, положив голову ему на плечо. Он терся щекой о ее волосы; иногда, очень осторожно, он целовал ее лоб или ее закрытые глаза.

— Если бы я знала вас в те годы... — вздохнула она. — Но тогда я была глупенькой маленькой дурочкой. Я не заметила бы, что вы не такой, как все... Я буду очень ревновать, — снова заговорила Эмили после нового бесконечного молчания. — Пускай не будет никого больше, никогда, ничьей даже тени.

— Никого больше никогда не будет, — сказал Гамбрил. Эмили улыбнулась и, открыв глаза, посмотрела на него.

— Да, здесь не будет, — сказала она, — в этой реальной нереальной комнате. Пока длится эта вечность. Но будут другие комнаты, такие же реальные, как эта.

— Не такие реальные, не такие реальные. — Он нагнулся к ее лицу. Она снова закрыла глаза, и ее ресницы внезапно затрепетали под легким поцелуем.

Для них больше не было минут. Но время шло, время истекало темным

поток, безостановочно, словно из какой-то глубокой таинственной раны в теле Вселенной, кровоточащей и кровоточащей без конца. Одна из свечей сгорела до основания, и длинное дымное пламя трепетно колебалось. От дрожащего света было больно глазам; тени неуверенно извивались и метались по стенам. Эмили посмотрела на него.

— Который час? — сказала она.

Гамбрил взглянул на часы. Был почти час ночи.

— Слишком поздно, чтобы вам возвращаться, — сказал он.

— Слишком поздно? — Эмили вскочила. Да, очарование нарушено, оно уходит, как тонкий слой льда под тяжелым грузом, как паутина от порыва ветра. Они посмотрели друг на друга. — Что же мне делать? — спросила она.

— Оставайтесь здесь, — ответил Гамбрил голосом, исходившим откуда-то издалека.

Она долго сидела молча, глядя полузакрытыми глазами на умирающее пламя свечи. Гамбрил следил за ней в напряженном, мучительном ожидании. Неужели лед подломится, паутина разорвется, окончательно и навсегда? Очарование можно еще продолжить, вечность можно возобновить. Он чувствовал, как бьется сердце у него в груди; он затаил дыхание. Будет ужасно, если она сейчас уйдет; это будет похоже на смерть. Пламя свечи заколебалось еще сильнее, то подпрыгивая длинным, тонким, дымным языком, то снова почти угасая. Эмили встала и задула свечу. Другая свеча по-прежнему горела, спокойно и ровно.

— Мне можно остаться? — спросила она. — Вы мне позволите?

Он понял смысл ее вопроса и кивнул.

— Разумеется, — сказал он.

— Разумеется? Разве это что-нибудь само собой разумеющееся?

— Раз я так говорю. — Он улыбнулся ей. Вечность возобновилась, очарование продолжалось. Теперь не нужно больше думать ни о чем, кроме этой минуты. Прошлое забыто, будущее уничтожено. Есть только эта тайная комната и свет свечи и нереальное, немислимое счастье быть вдвоем. Теперь, когда миновала опасность разочарования, счастье будет длиться без конца. Он встал с кушетки, прошел через комнату, он взял ее руки и поцеловал их.

— Мы сейчас ляжем спать? — спросила она. Гамбрил кивнул.

— Ничего, если я потушу свечу? — И, не дожидаясь ответа, Эмили повернулась, дунула, и комната погрузилась во мрак.

Он услышал шорох: она раздевалась. Поспешно стащил он с себя костюм, снял с дивана покрывало. Постель была постлана, он открыл ее и

забрался под одеяло. Тусклый зеленоватый свет газового фонаря проникал с улицы между раздвинутыми занавесками, слабо освещая дальний конец комнаты. В этой смягченной светом темноте он различал силуэт Эмили, стоявшей совсем неподвижно, словно в нерешимости на краю какой-то незримой пропасти.

— Эмили, — прошептал он.

— Иду, — ответила Эмили. Несколько секунд она продолжала стоять неподвижно, потом перешагнула через край. Она молча прошла через комнату и села на кончик низкого дивана. Гамбрил лежал совсем тихо, ожидая в зачарованной, вне времени, тьме. Эмили подняла колени, скользнула под одеяло, потом вытянулась рядом с ним, касаясь его на этой узкой постели. Гамбрил почувствовал, что она дрожит; мелкая дрожь, потом невольный резкий толчок, и снова дрожь и резкий толчок.

— Вам холодно, — сказал он и, просунув руку под ее плечи, привлек к себе безвольную и несопротивляющуюся Эмили. Она лежала, прижавшись к нему. Постепенно дрожь прекратилась. Совсем тихо, совсем тихо в зачарованном спокойствии. Прошлое забыто, будущее уничтожено; есть только это темное бесконечное мгновение. Пьянящее, как наркоз, счастливое оцепенение овладело его сознанием; теплая, блаженная немота охватила его. И все же, несмотря на оцепенение, он знал, с тревожной, пугающей уверенностью, что скоро наступит конец. Как человек накануне казни, он смотрел вперед сквозь бесконечное настоящее: он предвидел конец вечности. А потом? Все было неясно и неверно.

Очень осторожно он начал ласкать ее плечо, ее длинную тонкую руку, легко и медленно поглаживая кончиками пальцев ее гладкую кожу; медленно, начиная от шеи, через плечо, задерживаясь у локтя, к ее пальцам. Снова и снова: он изучал ее руку. Теперь ее форма стала достоянием кончиков его пальцев; его пальцы знали ее, как они знали музыкальную пьесу, как они знали двенадцатую сонату Моцарта, например. И темы, толпящиеся одна задругой вначале первой части, разыгрывались, воздушно поблескивая, в его уме; они стали частью очарования.

Сквозь шелк ее рубашки он изучил изгиб ее бедер, ее гладкую прямую спину и линию ее позвоночника. Он спустился ниже, прикоснулся к ее ногам, к ее коленям. Сквозь рубашку он изучил ее теплое тело, легко и медленно лаская. Он знал ее. Его пальцы — он это чувствовал — могут воспроизвести ее тело, теплую, изогнутую статую во тьме. Он не желал ее: желать — это значит разбить очарование. Он погружался все глубже и глубже в темное счастливое оцепенение. Она заснула в его объятиях; скоро заснул и он.

ГЛАВА XIV

Миссис Вивиш спустилась по лестнице на Кинг-стрит и, остановившись на тротуаре, посмотрела в нерешительности сначала направо, потом налево. Маленькие и шумные такси катились на белых колесах, длиннорылые лимузины со вздохом проносились мимо. В воздухе пахло прибитой дождем пылью, а вокруг миссис Вивиш, кроме того, — ее духами, тончайшим итальянским жасмином. По противоположной теневой стороне улицы важно шагали два молодых человека, по-видимому очень гордые своими серыми цилиндрами.

Сегодня утром жизнь казалась миссис Вивиш довольно-таки унылой, несмотря на хорошую погоду. Она взглянула на часы: час дня. Скоро придется завтракать. Но где и с кем? На сегодня не было назначено решительного ничего. Весь мир лежал перед ней, она совершенно свободна весь день. Вчера, когда она отказывалась от всех этих настойчивых приглашений, перспектива свободного дня представлялась ей очень заманчивой. Свобода, никаких сложностей, никаких общений; пустой первобытный мир, в котором можно делать все, что угодно.

Но сегодня, когда это осуществилось, свобода была ей ненавистна. Выйти на улицу в час дня и очутиться в безвоздушном пространстве — как это глупо, как это печально. Перед ней открывалась перспектива непомерной скуки. Необозримая плоская равнина с бесконечно отодвигающимся горизонтом, всегда неизменным. Она еще раз посмотрела направо и еще раз посмотрела налево. В конце концов она решила идти налево. Медленно, шагая, как всегда, по лезвию ножа между двух пропастей, она пошла налево. Она вдруг вспомнила такой же сияющий летний день в 1917 году, когда она шла по этой же улице, медленно, так же, как сейчас, по солнечной стороне, с Тони Лембом. Весь тот день, вся та ночь были сплошным долгим прощанием. На следующее утро он уезжал на фронт. Меньше чем через неделю он был убит. «Никогда больше, никогда больше»: было время, когда ей достаточно было один или два раза произнести вполголоса эти два слова, чтобы разрыдаться. «Никогда больше, никогда больше». Она тихонько повторила эти слова. Но слезы не выступали на глазах. Скорбь не убивает, любовь не убивает; но время убивает все, убивает желание, убивает грусть, убивает под конец и душу, что испытывала их; иссушает и расслабляет тело, пока оно еще живо, разъедает его, как щелок, а под конец убивает и его. «Никогда больше,

никогда больше». Вместо того чтобы плакать, она рассмеялась, рассмеялась вслух. Птицегрудый старый джентльмен, проходивший мимо, покручивая пальцами кончики белых генеральских усов, обернулся в крайнем удивлении. Может быть, она смеется над ним?

— Никогда больше, — пробормотала миссис Вивиш.

— Простите? — осведомился воинственный джентльмен густым портвейно-сигарным голосом.

Миссис Вивиш уставилась на него в таком изумлении, что старый джентльмен был совсем сбит с толку.

— Тысяча извинений, дорогая леди. Я думал, вы обращаетесь... Гм, а-гм. — Он снова надел шляпу, распрямил плечи и бодро зашагал дальше, левой, правой, бережно неся перед собой свою птичью грудь. Бедняжка, подумал он, и такая молодая! Говорит сама с собой. Должно быть, винтика не хватает, должно быть, в уме повредила. Или, может быть, употребляет наркотики. Вот это скорее: похоже на то. В наше время многие этим страдают. Порочные молодые женщины. Лесбиянки, наркоманки, нимфоманки, алкоголички — порочны до мозга костей, эти современные молодые женщины. В клуб он пришел в великолепном настроении.

«Никогда больше, никогда, никогда больше». — Миссис Вивиш пожалела, что она разучилась плакать.

Перед ней открылся Сент-Джемс-сквер. Романтически гарцевала среди деревьев статуя. Деревья навели миссис Вивиш на мысль: что, если поехать на весь день за город, взять машину и ехать, ехать, неизвестно куда? На вершину какого-нибудь холма. Бокс-Хилл, Лейт-Хилл, Холмбери-Хилл, Айвинго-Бикон — все равно какой холм, лишь бы там можно было сидеть и смотреть на поля. Это, пожалуй, еще не самый худший способ использовать свою свободу.

«Но и не самый лучший», — подумала она.

Миссис Вивиш повернула к северному концу площади и дошла до ее северо-западного угла, когда с неподдельной радостью и с чувством глубочайшего облегчения она увидела знакомую фигуру, сбегающую со ступеней Лондонской библиотеки.

— Теодор! — окликнула она слабым, но проникновенным голосом умирающей. — Гамбрил! — Она взмахнула зонтиком.

Гамбрил остановился, посмотрел по сторонам и, улыбаясь, пошел ей навстречу.

— Как приятно, — сказал он, — и в то же время как прискорбно.

— Почему прискорбно? — спросила миссис Вивиш. — Разве встретить меня — это дурной знак?

— Прискорбно, — объявил Гамбрил, — потому что я должен попасть на поезд и не могу воспользоваться этой встречей.

— Ах нет, Теодор, — сказала миссис Вивши, — пи на какой поезд вы не попадете. Вы пойдете завтракать со мной. Так предписало провидение. Не скажете же вы провидению «нет».

— Придется. — И Гамбрил покачал головой. — Я уже сказал «да» кой-кому еще.

— Кому именно?

— Ах! — сказал Гамбрил скромно и в то же время дерзко-таинственно.

— А куда вас повезет ваш пресловутый поезд?

— Опять-таки: ах! — ответил Гамбрил.

— Какой вы нестерпимо скучный и глупый! — объявила миссис Вивиш. — Можно подумать, что вы шестнадцатилетний школьник, который идет в первый раз на свидание с продавщицей. В ваши годы, Гамбрил! — Она покачала головой, улыбнулась страдальчески и презрительно. — А кто она? И где вы подцепили это жалкое существо?

— Она вовсе не жалкая, — запротестовал Гамбрил.

— Но безусловно, из тех, кого можно подцепить. Да? — Банановая кожа лежала как растерзанная морская звезда в водостоке прямо перед ними. Миссис Вивиш сделала шаг вперед, осторожно подцепила кожуру острием зонтика и преподнесла своему собеседнику.

— Merci, — поклонился Гамбрил.

Миссис Вивиш бросила кожуру обратно в водосток.

— Как бы то ни было, — сказала она, — молодая леди может подождать, пока мы позавтракаем.

Гамбрил покачал головой.

— Я условился, — сказал он. Письмо Эмили лежало у него в кармане. Она сняла очаровательный коттедж под самым Робертс-бриджем, в Суссексе. Да, самый очаровательный, какой только можно себе представить. На все лето. Он может приехать к ней погостить. Он протелеграфировал, что выедет сегодня же с двухчасовым с вокзала Чаринг-кросс.

Миссис Вивиш взяла его под руку.

— Идемте, — сказала она. — Тут в пассаже между Джермин-стрит и Пиккадилли есть почтовое отделение. Вы можете послать оттуда ваши глубочайшие сожаления. Немного выдержки приносит в таких делах только пользу. Зато с каким восторгом вас встретят завтра!

Гамбрил позволил миссис Вивнш увести себя.

— Вы — невыносимая женщина, — сказал он смеясь.

— Это вместо благодарности за то, что я приглашаю вас завтракать!

— О, я благодарен, — сказал Гамбрил. — И поражен.

Он взглянул на нее. Миссис Вивиш улыбнулась и несколько секунд пристально смотрела на него светлым беззаботным взглядом. Она ничего не сказала.

— И все-таки, — не унимался Гамбрил, — к двум я должен быть на вокзале, знаете.

— Но мы завтракаем у Веррея. Гамбрил покачал головой.

Они были на углу Джермин-стрит. Миссис Вивиш остановилась и изложила свой ультиматум, особенно внушительный потому, что он был произнесен слабеющим голосом человека, в последний раз в жизни произносящего *in articulo*^[82] нечто крайне важное и окончательное.

— Мы завтракаем у Веррея, Теодор, или я никогда, никогда больше не буду с вами разговаривать.

— Войдите в мое положение, Майра, — взмолился он. Почему он не сказал ей, что у него деловое свидание... И нужно ему было делать эти дурацкие намеки — да еще таким тоном!

— Не имею никакого желания, — сказала миссис Вивиш. Гамбрил сделал жест, выражавший отчаяние, и смолк. Ему представилась Эмили среди ее родной тишины, Эмили, окруженная цветами, в коттедже слишком даже коттеджистом, увитом жимолостью, мелкими розами и мальвами — хотя, немного подумав, он сообразил, что все эти цветы, пожалуй, еще не распустились, — в белом муслиновом платье, извлекающая из коттеджного пианино наиболее легкие пассажи ариетты. Чутьочку нелепая, пожалуй, когда о ней думаешь вот так; но чудесная, но очаровательная, но чистая сердцем и безупречная в своей светлой, прозрачной цельности, совершенная, как кристалл идеально правильной формы. Она будет ждать его; они будут гулять по веселым лугам — или, может быть, там будет наемная двуколка, запряженная толстым пони, напоминающим бочку на ножках, — они будут искать цветы в лесах, и, может быть, он даже припомнит, какого рода шум производит горlinka; а если даже не припомнит, он все равно может сказать, что припомнил. «Это горlinka, Эмили. Слышите? Вот она поет: твидли-видли, видльди-ди».

— Я жду, — сказала миссис Вивиш. — Терпеливо жду. Гамбрил посмотрел и увидел на ее лице улыбку трагической маски. Собственно говоря, подумал он, Эмили будет там и завтра. Глупо ссориться с Майрой из-за такого, в сущности говоря, пустяка. Глупо ссориться с кем бы то ни было из-за чего бы то ни было; а с Майрой, из-за такой чепухи, тем более

глупо. В этом белом платье с черными волнистыми арабесками она выглядит, подумал он, очаровательней, чем всегда. Было время, когда в прошлом... Прошное влечет за собой настоящее... Нет; что ни говори, она прекрасный собеседник.

— Что же, — сказал он, решительно вздыхая, — идемте, я пошлю телеграмму.

Миссис Вивиш ничего не ответила, и, перейдя через Джер-мин-стрит, они направились к почте через узкий пассаж вдоль голый стены похожего на амбар вреновского Сент-Джемса.

— Я объясню несчастным случаем, — сказал Гамбрил, когда они вошли; и, подойдя к окошечку телеграфа, он написал: «Несчастный случай по дороге на вокзал ничего серьезного но слегка нездоров приеду тем же поездом завтра». Он написал адрес и передал бланк.

— Слегка — что? — спросила телеграфистка, прочитывая телеграмму и тыкая в каждое слово по очереди тупым концом своего карандаша.

— Слегка нездоров, — сказал Гамбрил, и ему вдруг стало очень стыдно. «Слегка нездоров» — нет, знаете, это уж слишком. Он возьмет телеграмму назад, он все-таки поедет.

— Готово? — спросила миссис Вивиш, отходя от другого окошка, где она покупала марки.

Гамбрил просунул в окошечко флорин.

— Слегка нездоров, — сказал он, хохоча во всю глотку, и направился к выходу, тяжело опираясь на палку и прихрамывая. — Несчастный случай, — объяснил он.

— Что означает эта клоунада? — осведомилась миссис Вивиш.

— А как по-вашему? — Гамбрил доковылял до двери и, распахнув ее перед миссис Вивиш, остановился. Он снимал с себя всякую ответственность. Это было дело рук клоуна, а тот, бедняга, был *non compro*, [83] не в своем уме, и не мог отвечать за свои поступки. Он заковылял вслед за ней в сторону Пиккадилли.

— *Giudicatoguaribile in cinque giorni*, [84] — рассмеялась миссис Вивиш. — Как мило об этом пишут в итальянских газетах. Изменница, ревнивый любовник, удар кинжалом, *colpo di rivoltella*, [85] или попросту англосаксонский фонарь под глазом — и все это, по мнению дежурного хирурга в *Misericordia*, может пройти в пять дней. А вы, милый Гамбрил, вы через пять дней выздоровеете?

— *Ça depend*, [86] — сказал Гамбрил. — Могут быть осложнения.

Миссис Вивиш помахала зонтиком; перед ними к тротуару подкатило

такси.

— А пока что, — сказала она, — не можете же вы идти пешком. У Веррея они позавтракали омарами с белым вином.

— После рыбного ужина, — весело процитировал Гамбрил из времен Реставрации,^[87] — после рыбного ужина человек скачет, как блоха. — В продолжение всего завтрака он неподражаемо дурачился. Призрак двуколки катился по веселым лугам Ро-бертсбриджа. Но можно снять с себя ответственность; клоуна нельзя привлечь к ответу. И к тому же, когда будущее и прошлое уничтожены, когда имеет значение только вот этот миг — все равно, зачарованный он или нет, — когда нет ни причин, ни мотивов, когда не нужно думать о последствиях — какая может быть тогда ответственность, даже у неклоунов? Он выпил много рейнвейна и, когда часы пробили два и поезд начал, пыхтя, выезжать с вокзала Чаринг-кросс, не удержался и предложил выпить за виконта Ласселя. После этого он принялся рассказывать миссис Вивиш о своих приключениях в облике Цельного Человека.

— Если бы вы только меня видели! — сказал он, описывая бороду.

— Я была бы поражена в самое сердце.

— Если так, вы меня увидите, — сказал Гамбрил. — Ах, какой Дон Джованни! *La ci darem la mano, La mi dirai di sì, Vieni, pop s lontanò, Partiam, ben mio, da qui.*^[88] И они идут, они идут. Без колебаний. Ни *nonci non vorrei*, ни *mitremaun pocoilcor.*^[89] Прямым сообщением.

— *Felice, io so, sarei,*^[90] — вполголоса еле слышно пропела миссис Вивиш со своего далекого смертного одра.

Ах, счастье, счастье; немного скучное, как мудро сказал некто, когда на него смотришь со стороны. Оно в дуэтах у пианино в коттедже, в собирании, рука об руку, растении для *hortus siccus.*^[91] Оно в спокойствии и тишине.

— Да, но история молодой женщины, вышедшей замуж четыре года назад, — воскликнул Гамбрил в клоунском восторге, — и оставшейся до сего дня невинной девушкой, — какая находка для моих мемуаров! — В зачарованной темноте он изучил ее юное тело. Он посмотрел на свои пальцы: они знали ее красоту. Он забарабанил по скатерти первые аккорды двенадцатой сонаты Моцарта. — И даже спев свой дуэт с Дон-Жуаном, — продолжал он, — она осталась девушкой. Есть целомудренные наслаждения, сублимированная чувственность. В этом сладострастии больше остроты, — и жестом владельца ресторана, выхваляющего специальность фирмы, он поцеловал кончики пальцев, — чем во всех более

грубых блаженствах.

— О чем это вы? — спросила миссис Вивиш.

Гамбрил допил стакан.

— Я говорю эзотерически, — сказал он, — для собственного удовольствия, не для вашего.

— Вы лучше расскажите еще что-нибудь о бороде, — предложила миссис Вивиш. — Мне она страшно понравилась.

— Ладно, — сказал Гамбрил, — попробуем сохранять последовательность в бесчестии.

Они долго сидели, покуривая папиросы; было уже половина четвертого, когда миссис Вивиш выразила желание уйти.

— Почти пора пить чай, — сказала она, взглянув на часы. — Одна чертовская еда задругой. И ни одного нового кушанья. И с каждым годом все больше надоедают старые. Омар, например, — как обожала я когда-то омаров! А сегодня — по правде говоря, Теодор, только ваши разговоры помогли мне доесть омара.

Гамбрил приложил руку к сердцу и поклонился. Им вдруг овладело глубокое уныние.

— Или вина: когда-то Орвието казалось мне божественным напитком. А этой весной, когда я была в Италии, оказалось, что это всего лишь грязноватая разновидность скверного Вуврэ. Или те мягкие конфеты, которые они зовут «фиат»; раньше я объедалась ими до тешноты. А на этот раз в Риме меня затошнило прежде, чем я доела первую конфету. — Миссис Вивиш покачала головой. — Одно разочарование за другим.

Они вышли темным пассажем на улицу.

— Мы едем домой, — сказала миссис Вивиш. — Сегодня у меня нет сил делать что-нибудь еще. — Посыльному из ресторана, открывавшему дверцу такси, она дала адрес своего дома в Сент-Джемс. — Неужели нельзя вернуть прежнюю остроту ощущений? — утомленно спросила она, когда они медленно ехали по запруженной Риджент-стрит.

— Если гнаться за ней, то нельзя, — сказал Гамбрил, в котором клоун исчез окончательно. — Если сидеть неподвижно, она, может быть, вернется сама... Тогда услышишь слабый звук приближающихся сквозь тишину шагов.

— И не только с кушаньями так, — сказала миссис Вивиш, сидевшая, закрыв глаза, в своем углу.

— Охотно верю.

— Со всем на свете так. Все теперь не такое, как раньше. И чувствуешь, что никогда не будет таким.

— Никогда, — каркнул Гамбрил.

— Никогда больше, — отозвалась миссис Вивиш. — Никогда больше. — Но слезы так и не подступали к глазам. — Вы знали когда-нибудь Тони Лемба? — спросила она.

— Нет, — ответил Гамбрил из своего угла. — А что?

Миссис Вивиш не ответила. В самом деле, что можно сказать о нем? Ей представились его очень ясные синие глаза и золотистые русые волосы, которые были светлее коричневого лица. Коричневое лицо и шея, красно-коричневые руки; а вся остальная кожа была у него белая, как молоко.

— Я была очень привязана к нему, — сказала она наконец. — Вот и все. Он был убит в тысяча девятьсот семнадцатом, как раз в это время. Кажется, это было так давно, не правда ли?

— Разве? — Гамбрил пожал плечами. — Не знаю. Прошное уничтожено. Vivamus, mea Lesbia.^[92] Если бы у меня было не такое подавленное настроение, я обнял бы вас. Это было бы некоторым возмещением за мое... — он постучал концом трости по своей ноге, — за мой несчастный случай.

— Вы тоже подавлены?

— Никогда не нужно пить за завтраком, — сказал Гамбрил. — Тогда весь день будет испорчен. Кроме того, никогда не нужно думать о прошлом или заглядывать в будущее. Таковы сокровища древней мудрости. Но, может быть, после чашки чая... — он нагнулся вперед, чтобы рассмотреть цифры на счетчике, потому что машина остановилась, — ..после глотка возбуждающего таннина... — он распахнул дверцу, — ...мы почувствуем себя лучше.

Миссис Вивиш мученически улыбнулась.

— Для меня, — сказала она, выходя на тротуар, — даже таннин потерял свою силу.

Гостиная миссис Вивиш была отделана со вкусом и модернистично. Мебель была обита тканями, изготовленными по эскизам Дюфи, — скаковые лошади и розы, группы крошечных теннисистов посреди огромных цветов; рисунок — серый и цвета охры на белом фоне. Было два абажура работы Балла. На бледных, усыпанных розами стенах висели три портрета хозяйки дома, написанные тремя различными художниками и абсолютно непохожие один на другой, традиционные натюрморты с апельсинами и лимонами и, довольно отталкивающее современное ню, написанное зеленой краской двух оттенков.

— А как наскучила мне эта комната и вся эта противная мазня! — воскликнула, входя, миссис Вивиш. Она сняла шляпу и, остановившись

перед зеркалом, висевшим над камином, пригладила свои медные волосы.

— Вы бы сняли загородный коттедж, — сказал Гамбрил, — купили бы пони и двуколку и катались по веселым лугам в поисках цветов. После чая вы открывали бы тамошнее пианино, — и в соответствии со своими словами Гамбрил сел за бютнеровский рояль, — и играли бы, играли бы. — Очень медленно, с пародийной выразительностью, он сыграл начальную тему ариетты. Кончив, он повернулся к миссис Вивиш. — Тогда вам не было бы скучно.

— Вы так думаете? — спросила миссис Вивиш. — А с кем вы предлагаете мне разделить мой коттедж?

— С тем, кто вам нравится, — сказал Гамбрил. Его пальцы повисли, точно размышляя над клавишами.

— Но мне не нравится никто, — крикнула миссис Вивиш со своего смертного одра. Вот: правда сказана. Она похожа на шутку. Тони умер пять лет назад. Эти ясные синие глаза — да, никогда больше. Все сгнило, превратилось в ничто.

— А вы попробуйте, — сказал Гамбрил, руки которого начали овладевать двенадцатой сонатой. — Попробуйте.

— Я и пробую, — сказала миссис Вивиш. Опершись локтями о камин, положив подбородок на сложенные руки, она пристально смотрела на свое отражение в зеркале. Бледно-голубые глаза смотрели не мигая в бледно-голубые глаза. Красный рот и его отражение обменивались болезненными улыбками. Она пробовала; теперь ей противно было подумать, как часто она пробовала; она пробовала полюбить кого-нибудь, все равно кого, так же сильно, как Тони. Она пробовала восстановить, возродить. А на деле ничего не получалось, кроме отвращения. — Мне это не удавалось, — сказала она после паузы.

Музыкальная тема перешла из F-мажор в D-минор; быстрыми анапестами она поднялась до одной длительной ноты, потом снова спустилась, снова поднялась, потом была промодулирована в C-минор, потом через пассаж дрожащих нот перешла в A-мажор, в доминантное D, в доминантное C, в C-минор и, наконец, в новую четкую тему в мажоре.

— Тогда мне вас жаль, — сказал Гамбрил, давая своим пальцам играть самим по себе. Кроме того, ему было жаль жертв этих безнадежных попыток миссис Вивиш. Ей, может быть, не удавалось полюбить их — зато они, бедняги, обычно любили ее слишком мучительно... Слишком... Он вспомнил холодные, влажные пятна на подушке, в темноте. Те безнадежные, сердитые слезы. — Вы когда-то едва не убили меня, — сказал он.

— Только время убивает, — сказала миссис Вивиш, продолжая глядеть в свои бледно-голубые глаза. — Я никогда никого не делала счастливым, — добавила она после паузы. Никогда никого, подумала она, кроме Тони, но Тони убили, прострелили ему череп. Даже ясные глаза сгнили, как всякая падаль. Она тоже была счастлива тогда. Никогда больше.

Вошла горничная с подносом.

— А! Таннин! — в восторге воскликнул Гамбрил и прерват свою игру. — Единственная надежда на спасение. — Он налил две чашки и, взяв одну из них, подошел к камину и остановился позади миссис Вивиш, медленно прихлебывая бледный напиток и глядя через ее плечо на отражения их обоих в зеркале. — *La ci darem*, — промурлыкал он. — Эх, будь у меня моя борода! — Он погладил подбородок и кончиком указательного пальца взьерошил свисающие концы усов. — Вы пришли бы, дрожа, как Церлина, под ее золотую сень.

Миссис Вивиш улыбнулась.

— Большого я и не требую, — сказала она. — Это самая благая участь. *Felice, io so, sarei: Batti, batti, o bel Mazetto.*^[93] Завидна участь Церлины!

Служанка снова вошла, без предупреждения.

— Там джентльмен, — сказала она, — говорит, что его фамилия Шируотер, он хотел бы...

— Скажите ему, что меня нет дома, — сказала миссис Вивиш не оборачиваясь.

Наступило молчание. Подняв брови, Гамбрил смотрел через плечо миссис Вивиш на ее отражение. Ее глаза были спокойны и лишены выражения, она не улыбалась и не хмурилась. Гамбрил продолжал смотреть вопросительно. Под конец он расхохотался.

ГЛАВА XV

Играли последнюю заокеанскую новинку — «Что он Гекубе?». ^[94] Сладко, сладко и пронзительно, саксофон пронизывал вас до самых кишок состраданием и нежностью, пронизывал, как небесное откровение, пронизывал, как паточная ангельская стрела пронзает трепетный и экстатический бок святой Терезы. Более зрело и закругленно, с более благодушной и менее мучительной чувственностью, виолончель мечтала о тех магометанских экстазах, что длятся под зелеными пальмами рая по шестьсот лет без перерыва. В эту насыщенную атмосферу скрипка открывала доступ освежающим порывам свежего воздуха, прохладного и тонкого, как запах непросохшей юбки. А рояль барабанил и тараторил, не обращая внимания на излияния остальных инструментов, отбивал такт, деловито напоминая всем участникам, что это кабаре, куда приходят танцевать фокстрот, а не церковь в стиле барокко, где святые женского пола предаются экстазам, не мягкая, блаженная долина возлежащих гурий.

При каждом повторении припева четыре негра, составлявшие оркестр, или по крайней мере трое из них, которые играли только руками — ибо саксофонист на этом месте гудел с удвоенной сладостью, украшая пассаж журчащим контрапунктическим монологом, от которого сосало под ложечкой и пронзенное сердце переполнялось восторгом, — разражались меланхоличной воющей песней:

Что он Гекубе?

Ровно ничего.

Вот почему не будет свадьбы в среду утром

В старом Бенгале.

— Какая непередаваемая печаль, — сказал Гамбрил, двигаясь в сложных фигурах танца. — Вечная страсть, вечная скорбь. *Les chants desesperes sont les chants les plus beaux, Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.* ^[95] Румтидль-ум-тум, пом-пом. Аминь. Что он Гекубе? Ровно ничего. Ничего, заметьте. Ничего, ничего.

— Ничего, — повторила миссис Вивиш. — Это мне так знакомо. — Она вздохнула.

— Я ничто для вас, — сказал Гамбрил, искусно лавируя между стеной

и Харибдой какой-то пары, занятой опасным экспериментом с новым па. — Вы ничто для меня. К счастью. И тем не менее вот мы здесь, два тела с одной душой, двуспинный зверь, неделимый центавр, и фокстротируем, фокстротируем. — Они фокстротировали.

— Что он Гекубе? — Ослабленные негры повторили вопрос, повторили ответ тоном неутешного горя. Саксофон завывал на грани муки. Пары вращались, меняли темп, одно па сменялось другим с привычной точностью, словно танцующие исполняли какой-то древний обряд, полный глубокого смысла. Некоторые были в маскарадных костюмах, потому что сегодня в кабаре был вечер-гала. Молодые женщины, одетые прекрасными флорентийскими пажам, гондольерами в голубых штанах, тореадорами в черных штанах, вращались по залу, как луны, в объятиях то арабов, то белых Пьеро, то — чаще — не костюмированных партнеров. Лица, отраженные в зеркалах, принадлежали к тому сорту лиц, которые полагается узнавать с первого взгляда: кабаре было «артистическое».

— Что он Гекубе?

Миссис Вивиш пробормотала ответ почти благоговейно, точно молясь всемогущему и вездесущему Ничто.

— Обожаю этот мотив, — сказала она, — этот божественный мотив. — Он наполняет пространство, он движется, он дергается, он расшевеливает все внутри, он убивает время, он создает такое чувство, точно вы и в самом деле живой. — Божественный мотив, божественный мотив, — с чувством повторила она и закрыла глаза, стараясь отдаться мотиву, плыть по его волнам, стараясь ускользнуть от вездесущего Ничто.

— Какой восхитительный тореадор, — сказал Гамбрил, с любовным вниманием следя за ряженой в черных штанах.

Миссис Вивиш открыла глаза. От Ничто не спасешься.

— Это та, что с Пайерсом Коттоном? У вас не очень тонкий вкус, милый Теодор.

— Чудовище с зелеными глазами!^[96]

Миссис Вивиш рассмеялась.

— Когда на меня наводили последний лоск в Париже, — сказала она, — *Mademoiselle* заставляла нас заниматься фехтованием. *C'est un exercice tres gracieux. Et puis,* — и миссис Вивиш передразнила воодушевленную серьезность классной дамы, — *et puis, ca developpe le bassin.*^[97] У вашей тореадорши, Гамбрил, вид такой, точно она была чемпионом по фехтованию. *Quel bassin!*^[98]

— Шш, — сказал Гамбрил. Они были бок о бок с тореадором и ее

кавалером.

Пайерс Коттон повернул в их сторону свой длинный собачий нос.

— Как поживаете? — спросил он сквозь музыку.

Они кивнули.

— А вы?

— Ах, я пишу такую книгу, — крикнул Пайерс Коттон, — такую блестящую, блестящую, сверкающую книгу. — Танец уносил их в разные стороны. — Как улыбка фальшивых зубов, — прокричал он сквозь открывшийся между ними провал и скрылся в толпе.

— Что он Гекубе? — слезливо пропели развеселые негры свой вопрос, скорбно отягченный заранее известным ответом.

Ничто, вездесущее Ничто, душа мира, духовный оформитель всякой материи. Ничто в облике лунобедрого тореадора в черных штанишках. Ничто — человек с собачьим носом. Ничто — четыре негра. Ничто в форме божественного мотива. Ничто — лица, лица, которые полагается узнавать с первого взгляда, лица, отраженные зеркалами зала. Ничто — этот Гамбрил, чья рука обнимает ее за талию, чьи ноги переступают между ее ногами. Ровно ничего.

Вот почему не будет свадьбы. Не будет свадьбы в церкви Святого Георга на Ганновер-сквер — о, отчаянная попытка! — с Ничто Вивишем, этим милым мальчиком, этим милым абсолютным Ничто, занятым теперь охотой на слонов, охотой на лихорадку и хищников среди карликов тикки-тикки. Вот почему не будет свадьбы в среду утром. Ибо умер Лисидас, не успевши расцвести.^[99] Ибо легкие соломенные волосы (даже пряди не осталось), коричневое лицо, красно-коричневые руки и гладкое отроческое тело, молочно-белое, молочно-теплое — от всего этого теперь не осталось ничего, ровно ничего — ничто все эти пять лет, — и сияющие синие глаза такое же ничто, как все.

— Каждый раз одни и те же люди, — пожаловалась миссис Вивиш, оглядывая публику в зале. — Все те же знакомые лица. Никогда ничего нового. Где же молодое поколение, Гамбрил? Мы стареем, Теодор. Миллионы людей моложе нас. Где они?

— Я за них не отвечаю, — сказал Гамбрил. — Я не отвечаю даже за себя. — Ему представилась комнатка в коттедже, под крышей, с окном у самого пола и покатым потолком, о который вечно стучаешься головой; и при свете свечей наивные глаза Эмили, ее строгий и счастливый рот; и в темноте изгиб ее упругого тела под его пальцами.

— Почему они не приходят и не поют, чтобы их накормили ужином? — продолжала миссис Вивиш обиженно. — Это их святая

обязанность — развлекать нас.

— Может быть, они развлекают сами себя, — надоумил Гамбрил.

— Тогда уж лучше делали бы это при нас.

— Что он Гекубе?

— Ровно ничего, — паясничая, пропел Гамбрил. Комнатка в коттедже не имела к нему никакого отношения. Он вдохнул легкий запах итальянского жасмина миссис Вивиш, на мгновение приложил щеку к ее гладким волосам. — Ровно ничего. — Счастливый клоун!

Где-то там, в старом Бенгале, под зелеными райскими пальмами, среди впавших в экстаз мистагогов и святых, стонущих от божественных ласк, музыка прекратилась. Четыре негра вытерли лоснящиеся лица. Пары распались. Гамбрил и миссис Вивиш сели и закурили.

ГЛАВА XVI

Негры ушли с эстрады в конце зала. Занавес, подхваченный с обеих сторон над эстрадой, опустился, отрезав ее от остального зала — «создав два мира», — как изящным намеком выразился по этому поводу Гамбрил, — «там, где раньше был только один; причем один из этих двух миров — лучший мир», — излишне философически добавил он, — «потому что он — нереальный». Настала театральная тишина, минута ожидания. Потом занавес поднялся.

На узкой постели, может быть, на катафалке — труп женщины. Перед ним на коленях стоит муж. В ногах доктор, убирающий свои инструменты. В украшенной лентами розовой колыбели лежит чудовищный младенец.

Муж. Маргарита! Маргарита!

Доктор. Она умерла.

Муж. Маргарита!

Доктор. От заражения крови, говорят вам.

Муж. Зачем я не умер тоже!

Доктор. Завтра вы будете рассуждать иначе.

Муж. Завтра! Но я не хочу жить до завтра.

Доктор. Завтра вы захотите жить.

Муж. Маргарита! Маргарита! Жди меня там: мы встретимся в долине блаженства!

Доктор. Вы надолго переживете ее.

Муж. Смилуйся над нами, Христос!

Доктор. Вы бы лучше подумали о ребенке.

Муж (вставая с колен и угрожающе наклоняясь над колыбелью). Это и есть Чудовище?

Доктор. Ребенок как ребенок, не хуже других.

Муж. Чудовище, зачатое в ночь непорочного наслаждения, да пройдет твоя жизнь без любви, нечистой и унижительной!

Доктор. Чудовище, зачатое в мраке и похоти, да будет тебе твоя собственная нечистота казаться небесной!

Муж. Убийца, всю жизнь умирай медленной смертью!

Доктор. Ребенка надо покормить.

Муж. Покормить? Чем?

Доктор. Молоком.

Муж. Ее молоко застыло в грудях.

Доктор. Но есть коровы.

Муж. Да, туберкулезные, короткорогие. (Зовет.) Приведите сюда Короткорожку!

Голоса (за сценой). Короткорожка! Короткорожка! (Затихая.) Коротко...

Доктор. В тысяча девятьсот двадцать первом году двадцать семь тысяч девятьсот тринадцать женщин умерло от родов.

Муж. Но ни одна из них не принадлежала к моему гарему.

Доктор. Каждая из них была чьей-нибудь женой.

Муж. Без сомнения. Но те, кого мы не знаем, всего лишь статисты в человеческой комедии. А мы — герои.

Доктор. Не в глазах зрителей.

Муж. Что мне до зрителей? О, Маргарита! Маргарита!..

Доктор. Двадцать семь тысяч девятьсот четырнадцатая.

Муж. Единственная!

Доктор. А вот и корова.

(Дурачок приводит Короткорожку.)

Муж. Ах, милая Короткорожка! (Он гладит животное.) Ее исследовали на прошлой неделе, так ведь?

Дурачок. Так, сэр.

Муж. И нашли туберкулез. Так?

Дурачок. Даже в вымени, с вашего позволения.

Муж. Великолепно! Подоите корову, сэр, в этот грязный таз.

Дурачок. Слушаюсь, сэр. (Доит корову.)

Муж. Ее молоко — ее молоко уже остыло. Все, что в ней было женского, застыло и свернулось в ее грудях. О Господи! Какой млечный чудотворец заставил его снова течь?

Дурачок. Таз полон, сэр.

Муж. Тогда уведите корову.

Дурачок. Идем, Короткорожка; идем со мной, Короткорожка. (Уходит с коровой.)

Муж (наливает молоко в рожок с длинной трубкой). Вот тебе, Чудовище, пей за свое здоровье. (Дает рожок ребенку.)

Занавес.

— Немного тяжело, пожалуй, — сказал Гамбрил, когда занавес опустился.

— Но мне понравилась корова. — Миссис Вивиш открыла свой портсигар: он был пуст. Гамбрил предложил ей папиросу. Она покачала головой. — Мне вовсе не хочется курить, — сказала она.

— Да, корова была в духе лучших традиций феерии, — согласился Гамбрил. Ах! Как давно он не был на рождественской феерии. Со времен Дана Лено.^[100] Все маленькие кузены, дядюшки и тетушки с отцовской и материнской стороны, целые десятки родственников — каждый год они занимали добрую половину ряда в партере Друрилейнского театра. Липко-сладкие булочки переходили из рук в руки, циркулировали шоколадки; взрослые пили чай. А феерия шла и шла, великолепия сменялось великолепием под сияющей аркой сцены. Часы за часами; и взрослым всегда хотелось уйти до арлекинад. А дети наедались шоколадом до тошноты или испытывали такую потребность немедленно выйти, что их приходилось выводить, и по дороге натыкались на все ноги, и от каждого толчка потребность становилась еще более мучительной — посреди выступления трансформатора. И тогда был Дан Лено, неподражаемый Дан Лено, теперь мертвый, как бедный Йорик, такой же череп, как череп любого другого человека. И мама, вспомнил он, иногда смеялась до того, что слезы катились у нее по щекам. Она умела радоваться безудержно, от всего сердца.

— Поскорей бы они начинали вторую сцену, — сказала миссис Вивиш. — Ничто так не раздражает меня, как антракты.

— Большая часть нашей жизни — это антракт, — сказал Гамбрил. В этом состоянии смешливой подавленности он был склонен изрекать сентенции.

— Ах, пожалуйста, без афоризмов, — запротестовала миссис Вивиш. Впрочем, подумала она, разве сама она не ждет все эти годы, чтобы поднялся занавес, ждет, в каком-то неописуемом томлении духа, когда поднимется занавес, скрывший от нее, десять столетий назад, синие глаза, золотисто-русые волосы и загорелое лицо? — Слава Богу, — сказала она очень серьезно, словно испуская дух, — вот и вторая сцена!

Занавес поднялся. В пустой комнате стояло Чудовище, превратившееся теперь из младенца в худощавого и сутулого юношу с кривыми ногами. В глубине сцены большое окно, выходящее на улицу, мимо него идут прохожие.

Чудовище (соло). Молодые девушки в Спарте, говорят, боролись нагие с нагими спартанскими юношами. Солнце ласкало их кожу, пока они не становились бронзовыми и

прозрачными, как янтарь или фляга с оливковым маслом. У них были твердые груди и плоские животы. Они были чисты чистотой прекрасных животных. Их мысли были непорочны, их умы спокойны. Я харкаю кровью, а иногда чувствую у себя во рту что-то вязкое, мягкое и тошнотворное, как слизняк, — это значит, я выхаркал кусок легкого. В детстве я страдал рахитом, и мои кости искривились и стали старыми и ломкими. Всю жизнь я жил в этом огромном городе, где купола и шпили окутаны зловонным туманом, скрывающим солнце. Серые и скользкие лохмотья легких, которыми я харкаю, черны от копоти, которую я вдыхал все эти годы. Теперь я достиг совершеннолетия. Долгожданный двадцать первый год сделал меня полноправным гражданином этой великой империи, благородные пэры которой — владельцы «Зеркала большого света», «Новостей дня» и «Вечерней почты». Где-то должны быть другие города, построенные людьми для того, чтобы жить. Где-то в прошлом, в будущем, бесконечно далеко... Но, может быть, единственные планы улучшения улиц, приносящие хоть какую-нибудь пользу, это планы, зарождающиеся в уме тех, кто живет на этих улицах; любовные планы по большей части. А! Вот и она!

(Входит юная леди. Она стоит за окном, не обращая внимания на Чудовище; по-видимому, она кого-то ждет.)

Она подобна ветке цветущей груши. Когда она улыбается, точно звезды загораются в небе. Ее волосы подобны спелой пшенице, ее щеки подобны плодам земным. Ее руки и ноги прекрасны, как душа святой Екатерины Сиенской. А ее глаза, ее глаза не затуманены мыслью, они прозрачно-чисты, как вода из горных ключей.

Юная леди. Если я подожду до летней распродажи, ярд крепдешина подешевеет по крайней мере на два шиллинга, на шесть рубашек это выйдет целое состояние. Но весь вопрос в том, удастся ли мне проходить с мая до конца июля в своем старом белье.

Чудовище. Если бы я знал ее, я познал бы весь мир.

Юная леди. Мои рубашки такие мещанские. А если Роджер вдруг...

Чудовище. Или, вернее, я мог бы не познавать его, потому что у меня был бы мой собственный мир.

Юная леди. Если... если он это сделает — мне будет ужасно

стыдно за мои рубашки... они как у прислуги...

Чудовище. Когда любишь, приемлешь весь мир: любовь положит конец скепсису.

Юная леди. Он уже как-то раз...

Чудовище. Осмелюсь ли я, осмелюсь ли сказать ей, как она прекрасна?

Юная леди. В общем, пожалуй, лучше купить теперь, хотя это выйдет дороже.

Чудовище (с мужеством отчаяния, словно атакуя батарею, подходит к окну). Прекрасная! Прекрасная!

Юная леди (смотрит на него). Ха-ха-ха!

Чудовище. Я люблю вас, цветущая ветка груши; я люблю вас, золотая пшеница; я люблю вас, прекрасный земной плод; я люблю вас, тело, подобное мыслям святой.

Юная леди (хохочет вдвое громче). Ха-ха-ха!

Чудовище (берет ее за руку). Не будьте жестокой! (Им овладевает сильный приступ кашля, который трясет его, терзает, сгибает в три погибели. Платок, который он подносит к губам, залит кровью.)

Юная леди. Вы отвратительны! (Она подбирает платье, не желая прикасаться к Чудовищу.)

Чудовище. Но клянусь вам, я люблю вас, я... (Кашель снова прерывает его.)

Юная леди. Пожалуйста, уйдите. (Другим голосом.) А, Роджер! (Она идет навстречу появившемуся на улице курносому юнцу с курчавыми волосами и лицом кучера.)

Роджер. Я оставил мотоциклетку на углу.

Юная леди. Что ж, едем.

Роджер (показывает на Чудовище). А это что такое?

Юная леди. О, ничего особенного.

(Оба хохочут во все горло. Роджер уводит ее, фамильярно поглаживая по спине.)

Чудовище (смотрит ей вслед). У меня под левым соском рана. После того как я ее увидел, ни одна женщина не кажется мне привлекательной. Я не могу...

— Боже! — прошептала миссис Вивиш. — До чего мне надоел этот молодой человек.

— Должен признаться, — ответил Гамбрил, — мне нравятся

нравоучительные истории. Мне нравится приятная возвышенная туманность этих символических обобщенных фигур.

— Вы всегда были восхитительно простодушны, — сказала миссис Вивиш. — Но кто это там? Лишь бы только они не оставляли этого молодого человека одного на сцене!

Другая женская фигура появилась на улице за окном. Это Проститутка. Ее лицо, раскрашенное в несколько цветов — красный двух оттенков, белый, зеленый, голубой и черный, — представляет собой изысканнейший натюрморт.

Проститутка. Эй, мальчик!

Чудовище. Эй!

Проститутка. Ты один?

Чудовище. Да.

Проститутка. Хочешь, я зайду к тебе?

Чудовище. Заходи.

Проститутка. Скажем, тридцать монет?

Чудовище. Как вам угодно.

Проститутка. Тогда — за дело!

(Она влезает в окно, и они оба выходят в дверь слева от зрителей. Занавес на мгновение опускается, потом подымается снова. Чудовище и Проститутка выходят из левой двери на сцену.)

Чудовище (вынимает чековую книжку и вечное перо). Тридцать шиллингов...

Проститутка. Нет уж, спасибо. Только не чек. Не нужно мне чеков. Почему я знаю, может, у тебя там ничего нет, и мне откажутся заплатить в банке? Нет уж, знаете, гони монету.

Чудовище. Но у меня с собой нет ни гроша.

Проститутка. А мне какое дело, чека я не возьму. Обжегшись на молоке, дуешь на лимонад, знаете.

Чудовище. Сказано вам, нет у меня денег.

Проститутка. А я тебе говорю, пока я не получу денег, я отсюда не уйду. Изволь-ка поторопиться, а то я устрою скандал.

Чудовище. Но это же глупо. Чек не фальшивый...

Проститутка. А я его не возьму. Вот и все!

Чудовище. Что ж, берите тогда мои часы. Они стоят больше тридцати шиллингов. (Вытаскивает золотые карманные часы.)

Проститутка. Благодарю покорно, чтобы меня арестовали в

первом комиссионном магазине! Нет, гони монету, сказано тебе.

Чудовище. Откуда я, по-вашему, достану денег, когда ночь на дворе?

Проститутка. А я почему знаю! Доставай, и все тут; да поживей.

Чудовище. Войдите в мое положение...

Проститутка. Прислуга у тебя в доме есть?

Чудовище. Да.

Проститутка. Что ж, поди займи у нее.

Чудовище. Но это позорно, это унижительно.

Проститутка. Ладно, я сейчас такой шум подыму, что ахнешь. Подойду вот к окошку и буду орать, пока все соседи проснутся и прибежит полиция. Занимай тогда деньги у фараона.

Чудовище. Почему вы не хотите взять мой чек? Клянусь вам, он не фальшивый. У меня на счету денег гораздо больше.

Проститутка. А, заткнись! Нечего мне зубы заговаривать. Гони монету, или я подыму скандал. Раз, два, три... (Широко раскрывает рот, готовясь кричать.)

Чудовище. Погодите минутку (выходит).

Проститутка. В хорошенькое время мы живем, нечего сказать, когда всякий сопляк так и норовит надуть бедную девушку! Мерзкие, вонючие паршивцы! Я бы им всем глотки перервала!

Чудовище (возвращается). Вот вам. (Протягивает ей деньги.)

Проститутка (осматривает их на свет). Спасибо, миленький. В другой раз, когда будет скучно одному...

Чудовище. Нет, нет!

Проститутка. Где ты их достал?

Чудовище. Разбудил кухарку.

Проститутка (разражается хохотом). Ну, пока, мальчик. (Уходит.)

Чудовище (соло). А где-то есть любовь, подобная музыке. Любовь гармоничная и стройная; слияние двух душ, двух тел. Где-то бессмысленный грубый акт облекается значением, обогащается, приобретает смысл. Наслаждение, подобное вальсу Диабел-ли — бессмысленный мотив, превращенный гением в тридцать три баснословных вариации. Где-то...

— Ох, — не могу! — вздохнула миссис Вивиш.

— Очаровательно! — возразил Гамбрил.

...любовь, подобная покрывалам из шелковистого пламени; подобная пейзажу, озаренному солнцем, на фоне темно-лиловых туч; подобная разрешению космической проблемы; подобная вере...

— Какая ерунда! — сказала миссис Вивиш...Где-то, где-то. Но в моей крови бактерии сифилиса...

— Нет уж, знаете! — Миссис Вивиш покачала головой. — Это слишком по-медицински!

...пробирающиеся в мозг, пробирающиеся в рот, проникающие в кости. Неумоимо.

(Чудовище бросилось на пол, и занавес опустился.)

— Давно бы так! — объявила миссис Вивиш.

— Очаровательно, — не сдавался Гамбрил. — Очаровательно, очаровательно!

Возле двери раздался шум. Миссис Вивиш обернулась посмотреть, что там творится.

— Ив довершение всего, — сказала она, — вот вам скандалист Колмэн с каким-то неизвестным пьянчужкой.

— Неужели мы опоздали? — кричал Колмэн. — Неужели мы опоздали на прелестный, похабный фарс?

— Прелестный, похабный! — в пьяном восторге повторил его спутник, разражаясь безудержным смехом. Это был совсем молодой темноволосый мальчик; его античное лицо искажала пьяная гримаса.

Колмэн приветствовал всех своих знакомых, крича каждому какую-нибудь веселую непристойность.

— И Хамбрил-Гамбрил, — воскликнул он, заметив наконец сидевших в первом ряду Гамбрила и миссис Вивиш. — И Гетай-ра-Майра!^[101] — Он проложил себе дорогу сквозь толпу; его юный ученик нетвердой походкой следовал за ним. — Вот они мы, — сказал он, останавливаясь перед столиком и загадочно и лукаво смотря на них блестящими голубыми глазами. — А где физиологус?

— Разве я сторож физиологусу? — спросил Гамбрил. — Он, вероятно, со своими железами и гормонами. Не говоря уже о его жене. — Он улыбнулся про себя.

— Где гормоны, там и гурманы, — сказал Колмэн, по обыкновению цепляясь за слово и отклоняясь куда-то в сторону. — Кстати, я слышал, что в этой пьесе выведена прелестная проститутка.

— Вы опоздали, — сказала миссис Вивиш.

— Какое несчастье, — сказал Колмэн. — Мы опоздали на восхитительную шлюху, — обратился он к юноше.

Юноша только рассмеялся.

— Кстати, разрешите представить, — сказал Колмэн. — Вот это Данте, — и он показал на темноволосого юношу, — а я Вергилий. Мы совершаем круговое турне — или, вернее, спиральное турне по аду. Пока что мы дошли только до первого круга. Вот это, Алигьери, две грешных души, хотя и не Паоло и Франческа,^[102] как вы могли бы подумать.

Юноша продолжал смеяться, блаженно, ничего не соображая.

— Когда же кончится антракт? — пожаловалась миссис Вивиш. — Я как раз говорила Теодору, что если я что-нибудь не люблю больше всего на свете, так это длинные антракты.

Кончится ли когда-нибудь антракт для нее самой?

— А если я что-нибудь не люблю больше всего на свете, — сказал юноша, впервые прерывая молчание и говоря с величайшей серьезностью, — так это... так это все на свете больше всего на свете...

— И в этом вы совершенно правы, — сказал Колмэн. — Совершенно правы.

— Знаю, — скромно ответил юноша.

Когда поднялся занавес, пожилое Чудовище, беззубое и безволосое, с черным пластырем на левой стороне носа, безобидно сидело за решеткой сумасшедшего дома.

Чудовище. Ослы, обезьяны и собаки! Так называл их Мильтон; а он-то уж знал. Впрочем, где-то, вероятно, есть и люди. Это доказывают вариации Диабелли. Купол Брунеллески больше, чем увеличенная во много раз грудь Клео де Мерод.^[103] Где-то есть люди, имеющие власть и живущие разумно. Подобно нашим мифическим грекам и римлянам. Живущие целомудренно. Образы богов — их портреты. Они пребывают под покровительством самих себя. (Чудовище влезает на стул и становится в позе статуи.) Юпитер, отец богов, человек, я сам себя благословляю, я поражаю громами свое собственное непослушание, я внимаю своим собственным молитвам, я изрекаю пророчества в ответ на свои собственные вопросы. Я

уничтожаю экзему, сифилис, кровохарканье, рахит. При помощи любви я перестраиваю мир. Европа кладет конец нищете. Леда сметает с лица земли тиранию. Даная искореняет глупость. Произведя эти реформы в социальной клоаке, я карабкаюсь вверх, вверх, через лазейку для человека, из человеческой лазейки, за пределы человечества. Ибо человеческая лазейка, даже человеческая, темна; хотя и не так темна, как собачья лазейка, которой она была до того, как я за нее взялся. Вверх через лазейку, вверх к чистому небу. Вверх, вверх! (И Чудовище, приводя свои слова в исполнение, карабкается по перекладинам спинки стула и встает, проявляя чудеса акробатического искусства, на самой верхней перекладине.) Я начинаю видеть звезды иными глазами, и эти глаза — не мои глаза. Я был выше собаки, я стал выше человека. Я начинаю постигать форму и смысл вещей. Вверх, вверх я тянусь, я заглядываю ввысь, я достигаю вершины. (Балансирующее Чудовище тянется, смотрит вверх, стремится ввысь.) И я ловлю, и я ловлю! (При этих словах Чудовище тяжело падает стремглав на пол. Он лежит совершенно неподвижно. Через некоторое время дверь открывается, и входит Доктор, из первой сцены, с Санитаром.)

Санитар. Я слышал шум.

Доктор (который к этому времени стал древним стариком с бородой, как у рождественского деда). Похоже на то, что вы были правы. (Осматривает Чудовище.)

Санитар. Он вечно влезал на этот стул.

Доктор. Больше он не будет этого делать. У него сломана шея.

Санитар. Да что вы говорите?

Доктор. Да-да.

Санитар. Ну кто бы мог подумать!

Доктор. Прикажите отнести его в анатомический зал.

Санитар. Сейчас пошлю за носильщиками.

Все уходят. Занавес.

— Ну, — сказала миссис Вивиш, — очень рада, что это кончилось.

Снова раздалась музыка, саксофон и виолончель, и резкий сквозняк скрипки, чтобы охладить их восторги, и ритмический стук рояля, чтобы напоминать им о деле. Гамбрил и миссис Вивиш скрылись в танцующей толпе, вращаясь, точно по привычке.

— Эти суррогаты настоящего полового акта, — сказал Кол-мэн своему ученику, — ниже достоинства таких адовых псов, как мы с вами.

Очарованный юнец рассмеялся; он слушал с таким благоговением, точно у йог Сократа. Колмэн нашел его в ночном клубе, куда он отправился в поисках Зоэ; нашел его совершенно пьяным в обществе двух огромных женщин, лет на пятнадцать или двадцать старше его; они заботились о нем, наполовину по-матерински, из доброты сердечной, наполовину из профессиональных соображений, потому что у юнца, по-видимому, было с собой много денег. Позаботиться о себе он был неспособен. Колмэн сейчас же вцепился в него под предлогом старой дружбы — юнец был слишком пьян, чтобы отрицать ее, — и утащил его с собой. Зрелище младенцев, быстро скатывающихся по наклонной плоскости в грязную лужу, казалось ему особенно привлекательным.

— Мне нравится этот кабак, — сказал юнец.

— О вкусах не спорят, — пожал плечами Колмэн. — Немецкие профессора насчитали тысячи людей, для которых пожирать экскременты — самое большое удовольствие на свете.

Юнец неопределенно улыбнулся и кивнул.

— Здесь есть что-нибудь выпить? — спросил он.

— Слишком порядочное заведение, — ответил Колмэн, качая головой.

— По-моему, это ужасно сопливый кабак, — сказал юнец.

— Да! Но есть люди, которым нравятся сопля. А другим нравятся туфли. А некоторым нравятся длинные перчатки и корсеты. А некоторым нравятся розги. А некоторым нравится кататься по перилам, и они не могут без замирания сердца смотреть на «Ночь» Микеланджело на гробнице Медичи, потому что им кажется, что статуя катится по перилам. А некоторым...

— А я хочу выпить, — не унимался юнец. Колмэн принялся размахивать руками и топать.

— A boire! a boire!^[104] — заорал он, как новорожденный Гар-гантюа.

Никто не обратил ни малейшего внимания.

Музыка прекратилась, Гамбрил и миссис Вивиш вернулись.

— Данте, — сказал Колмэн, — требует выпивки. Нам придется оставить эти места.

— Да. Куда угодно, только прочь отсюда, — сказала миссис Вивиш. — Который час?

Гамбрил взглянул на часы.

— Половина второго.

Миссис Вивиш вздохнула.

— Не смогу заснуть, — сказала она, — по крайней мере не раньше чем через час.

Они вышли на улицу. Звезды были крупные и сверкающие. Дул ветерок, доносившийся, казалось, откуда-то из-за города. По крайней мере так казалось Гамбрилу: он думал о загородном коттедже.

— Весь вопрос в том, куда идти, — сказал Колмэн. — Можно бы пойти в мой притон разврата, если вам угодно; но это очень далеко, и Зоэ так нас всех ненавидит, что, вероятно, запустит в нас мясорубкой. Если она дома, конечно. Может быть, она не вернется до утра. Zoe mou, sas agaro.^[105] Ну как? Рискнем?

— Мне все равно, — слабо проговорила миссис Вивиш, исключительно занятая медленным умиранием.

— Или можно ко мне, — сказал Гамбрил резко, точно с усилием пробуждаясь от сна.

— Но вы, кажется, живете еще дальше, — сказал Колмэн. — И к тому же с престарелыми родителями. Одной ногой в могиле и так далее. Или мы будем сочетать матросскую гулянку с похоронами? — Он принялся с утроенной быстротой темпа напевать «Похоронный марш» Шопена, обнял юного незнакомца за талию и, сделав с ним два-три тура тустепа на тротуаре, вдруг отпустил его, так что тот хлопнулся со всего размаха на ближайшее крыльцо.

— Нет, я говорю не о семейной резиденции, — сказал Гамбрил. — Я говорю о моей собственной квартире. Это совсем близко. На Грет-Рассел-стрит.

— Никогда не знала, что у вас своя квартира, Теодор, — сказала миссис Вивиш.

— Никто не знал. — А почему они должны узнать об этом теперь? Потому что дует почти загородный ветер? — И там найдется что выпить, — сказал он.

— Изумительно! — воскликнул юнец. Они все были изумительные люди.

— Там есть джин, — сказал Гамбрил.

— Первосортное возбуждающее, — прокомментировал Колмэн.

— Есть легкое белое вино.

— Мочегонное.

— И есть виски.

— Великое рвотное, — сказал Колмэн. — Пошли. — И он затянул марш итальянских фашистов. — Giovinezza, giovinezza, primavera di

bellezza...^[106] — Шум раздавался, затихая на темных пустых улицах.

Были извлечены джин, белое вино и даже, ради юного незнакомца, желавшего отведать всего, рвотное виски.

— Мне нравится ваша квартира, — сказала миссис Вивиш, осматриваясь. — И я сержусь на вас за вашу скрытность, Теодор.

— Пейте, щеночек! — и Колмэн снова наполнил стакан юнца.

— Выпьем за скрытность, — предложил Гамбрил. Плотно запри, держи в темноте, сверху прикрой. Будь молчалив, осторожен, лги. Он рассмеялся и выпил. — Помните, — продолжал он, — те поучительные рекламы фруктовых консервов Эно в дни нашей юности? Там был анекдот о докторе, который посоветовал своему ипохондрическому пациенту пойти посмотреть на клоуна Гримальди; а пациент ответил: «Я Гримальди». Помните?

— Нет, — сказала миссис Вивиш. — А почему вы вспомнили?

— Право, не знаю. Или вернее сказать, знаю, — поправился Гамбрил и снова рассмеялся.

Юнец вдруг начал хвастать.

— Вчера я проиграл в железку двести фунтов, — сказал он и оглядел присутствующих, ожидая одобрения.

Колмэн погладил его курчавую голову.

— Прелестное дитя! — сказал он. — Положительно герой Хогарта.^[107]

Юнец сердито оттолкнул его.

— Чего пристаете? — закричал он; потом повернулся и снова обратился к остальным: — Я не мог их тратить, понимаете, — ни одного ломаного гроша из них. К тому же и деньги были чужие. — Очевидно, он считал это в высшей степени забавным. — И кроме этих двухсот фунтов было кое-чтоеще, — добавил он, захлебываясь от восторга.

— Расскажите Колмэну, как вы воспользовались его бородой, Теодор.

Гамбрил пристально смотрел в стакан, точно в бледной смеси джина и сотерна он надеялся увидеть, как в магическом кристалле, свое будущее. Миссис Вивиш тронула его руку и повторила свою просьбу.

— Ах, это! — сказал Гамбрил с видимым раздражением. — Нет. Это совсем не интересно.

— Неправда! Я требую, — неумолимо скомандовала миссис Вивиш со своего смертного одра.

Гамбрил допил смесь джина с сотерном.

— Что ж, если хотите, — неохотно сказал он и начал рассказывать.

— Подумать страшно, что скажет родитель, — раз или два вставил

юнец. Но никто не обращал на него внимания. Он погрузился в обиженное и, как ему самому казалось, полное достоинства молчание. Где-то в глубине, под теплым, веселым опьянением, он чувствовал холод мрачных предчувствий. Он налил себе еще виски.

Гамбрил рассказывал свою историю с возрастающим жаром. Миссис Вивиш несколько раз умирала, задыхаясь от смеха, или улыбалась своей страдальческой улыбкой. Колмэн от восторга выл, как краснокожий.

— А после концерта сюда, — сказал Гамбрил.

«А, наплевать: вываливать все в грязи. Оставить в грязи, и пусть собаки, проходя, поднимают заднюю ногу над этим».

— А! Подлинное платоническое щупанье, — прокомментировал Колмэн.

— Я Гримальди, — засмеялся Гамбрил.

Трудно было сказать, что можно извлечь еще из этой шутки. Здесь, на том самом диване, на котором теперь сидели миссис Вивиш и Колмэн, она лежала, спящая, в его объятиях.

— Канитель, как выражались во времена Елизаветы, — сказал Колмэн.

Нереальная, вечная вскрытой тьме. Ночь, которая была вечной скобкой среди всех других ночей и дней.

— Меня сейчас стошнит, — вдруг сказал юнец. Он мечтал весь остаток вечера пребывать в надутым и надменном молчании; но его желудок отказался принимать участие в этой полной достоинства игре.

— Боже милостивый! — сказал Гамбрил и вскочил с места. Но раньше, чем он успел что-нибудь предпринять, юнец исполнил свое пророчество.

— Вся прелесть кутежей, — философски сказал Колмэн, — в том, что они совершенно бессмысленны, бесцельны и, самое главное, невероятно омерзительны. Если бы они состояли из одних радостей и блаженств, как воображают вот такие несчастные младенцы, тогда кутить было бы занятием ничуть не более почтенным, чем ходить в церковь или изучать высшую математику. Отныне я не возьму в рот ни капли вина и не притронусь ни к одной проститутке. Это будет против моих принципов. Я же вам говорил, что это рвотное, — обратился он к юнцу.

— А каковы ваши принципы? — осведомилась миссис Вивиш.

— О, они строго нравственные, — сказал Колмэн.

— Вы отвечаете за это существо, — сказал Гамбрил, показывая на юнца, который сидел на полу возле камина и охлаждал голову, прижимаясь лбом к мраморной доске. — Уведите его отсюда. Боже, какая гадость! — Его нос и рот сморщились в гримасе отвращения.

— Не сердитесь, — прошептал юнец. Он не открыл глаз, а лицо у него было смертельно бледное.

— С большим удовольствием, — сказал Колмэн. — Как вас зовут? — спросил он юнца. — Где вы живете?

— Меня зовут Портыюз, — пробормотал юнец.

— Боже милостивый! — вскричал Гамбрил, падая на диван подле миссис Вивиш. — Это последняя капля.

ГЛАВА XVII

Двухчасовой, хрипя, вышел с вокзала Чаринг-Кросс, но на этот раз не было тостов за виконта Ласселя. От иссушающей трезвости было нестерпимо жарко в отделении вагона третьего класса, где сидел Гамбрил. Его мысли были нескончаемой песчаной пустыней, где не было ни единой пальмы, ни хотя бы утешительного миража. Еще раз он пошарил во внутреннем кармане пиджака, вынул и развернул папиросную бумажку. Еще раз он перечел. Сколько раз уже он читал это письмо?

«От вашей телеграммы мне стало очень, очень грустно. Не только из-за несчастного случая — хотя я содрогнулась при мысли, что с вами, мой бедный, милый друг, могло произойти что-нибудь ужасное, — но также, вполне эгоистично, из-за моего разочарования. Я слишком много думала об этом. Я так ясно представляла себе все, что будет. Я встречу вас на станции с лошастью и рессорной двуколкой из гостиницы, и мы вместе поедem в коттедж — и коттедж вам очень, очень понравится. Мы выпьем чаю, и я заставлю вас съесть яйцо, чтобы подкрепиться после путешествия. Потом мы отправимся гулять; через прямо-таки райский лес, который я нашла вчера, к месту, откуда открывается замечательный вид на много миль вокруг. И мы будем бродить без конца и отдыхать поддеревьями, и пойдет солнце, и медленно сгустятся сумерки, и мы пойдем домой, а там уже будет зажжен свет и будет готов ужин — боюсь, не слишком роскошный, потому что миссис Воль не самая лучшая из поварих. А потом пианино: ведь здесь есть пианино, и вчера я специально пригласила из Гастингса настройщика, так что теперь оно не так уж плохо. И вы будете играть; а может быть, и я побренчу немножко. А потом будет пора зажигать свечи и ложиться спать.

Когда я узнала, что вы приедете, Теодор, я солгала миссис Воль насчет вас. Я сказала, что вы мой муж — она ведь, конечно, до безумия респектабельна; и ужасно расстроилась бы, если бы оказалось, что это не так. Видите, я рассказываю вам все. Мне не стыдно. Я хотела дать вам все, что могла, и мы любили бы друг друга всегда. И я стала бы вашей рабой, я стала бы вашей собственностью и жила бы вашей жизнью. Но вы всегда любили бы меня.

И вот, как раз когда я собиралась в гостиницу за лошастью и рессорной двуколкой, пришла ваша телеграмма. Я увидела слова „несчастный случай“ и представила себе вас всего в крови, искалеченного — ужасно, ужасно! Но когда вы отнеслись к этому как к шутке (зачем вы написали „слегка

нездоров“? — мне это показалось почему-то очень глупым) и сказали, что приедете завтра, тогда я расстроилась по-настоящему, и не из-за вашего несчастья; я вдруг почувствовала ужасное разочарование. Это разочарование было как удар ножом в сердце; мне стало так больно, так беспричинно тяжело. Я рыдала и рыдала, и я думала, что никогда не перестану. И тогда я поняла, отчего мне стало так тяжело. Я страдала не оттого, что ваш приезд откладывается на день; я страдала оттого, что он откладывается навсегда, что я больше никогда вас не увижу. Я поняла, что этот несчастный случай послан мне провидением. Он должен был предостеречь меня и указать, что я должна делать. Я поняла, что счастье, которое я себе навоображала, безнадежно, неосуществимо. Я поняла, что вы не любили и не могли любить меня так же, как любила я вас. Для вас это было всего лишь занятное приключение, интересный опыт, путь к какой-то иной цели. Поймите, я не осуждаю вас. Я только говорю вам правду, то, что мне постепенно открылось как правда. Если бы вы приехали — тогда что? Я отдала бы вам все, свое тело, свою душу, всю свою жизнь. Я вплелась бы в ткань вашей жизни, и потом, со временем, когда вам захотелось бы положить конец этому занятому приключеньицу, вам пришлось бы разрубить узел, и это убило бы меня; но и вам тоже было бы больно. По крайней мере так думаю я. И в конце концов я поблагодарила Бога за несчастный случай, помешавший вам приехать. Провидение сделало так, что мы отделались очень легко: вы двумя или тремя царапинами (я ведь надеюсь, мой драгоценный друг, что ничего худшего с вами не произошло), а я — царапиной внутри, там, где сердце. Но мы оба поправимся очень быстро. И всю жизнь мы будем вспоминать день в парке, вечер в концерте и ночь, вечность блаженства во тьме. Я немедленно уезжаю из Робертсбриджа. Прощайте, Теодор. Какое длинное письмо! Последнее, которое вы получите от меня. Последнее! Какое ужасное, тяжелое слово!.. Я отнесу его на почту сейчас же, из страха, что, если я оставлю его, мной овладеет слабость, и я передумаю и позволю вам приехать завтра. Я отнесу его сейчас же, а потом вернусь домой и уложу вещи и сочиню какую-нибудь новую историю для миссис Воль. А после этого я, может быть, позволю себе еще немного поплакать. Прощайте».

Бесплодная песчаная пустыня расстилалась перед ним: ни дерева, ни хотя бы миража, если не считать смутной и отчаянной надежды, что он попадет в Робертсбридж до ее отъезда, что она, может быть, в последний момент передумала. Ах, если бы только он прочел письмо немного раньше! Но он проснулся только в одиннадцать, а пока он встал, прошло еще полчаса. Сидя за завтраком, он прочел ее письмо.

Яичница с салом стала, если это возможно, еще холодней, чем была. Он прочел письмо до конца, он бросился в справочное бюро. Первый подходящий поезд отправлялся в два часа.

Если бы он поехал в семьдесят семь, он безусловно успел бы приехать до ее отъезда. Ах, если бы только он проснулся немного раньше! Но для этого пришлось бы немного раньше лечь. А для того чтобы лечь немного раньше, пришлось бы покинуть миссис Вивиш раньше, чем она довела себя до той последней степени скуки, когда она наконец была способна отдыхать. А покинуть миссис Вивиш — нет, это было совершенно невозможно: она не дала бы оставить себя одну. Зачем только он пошел вчера в Лондонскую библиотеку! Это было праздное, ненужное посещение. Путешествие предстояло короткое; можно было бы обойтись в поезде и без книги. И «Жизнь Бекфорда», которую он затребовал, оказалась, конечно, занятой — а он был не в состоянии решить, какую именно из двухсот или трехсот тысяч других книг, стоявших на полках, ему хотелось бы прочесть. И уж если на то пошло — на черта сдалась ему эта «Жизнь Бекфорда»! Разве не лучше было бы ему заняться своею жизнью, жизнью Гамбрила? Или одной жизни ему слишком мало, и нужно обязательно посещать Лондонскую библиотеку в поисках других жизней? И потом — нужно же ему было налететь как раз в эту минуту на миссис Вивиш. Какая унижительная слабость — допустить, чтобы его силой заставили отправить эту телеграмму. «Слегка нездоров»... О Господи! Гамбрил закрыл глаза и заскрежетал зубами: он почувствовал, что краснеет от постыдного воспоминания.

И конечно, было совершенно бессмысленно ехать сейчас в Робертсбридж. Она, конечно, уехала. И все-таки оставалась безумная надежда. Был мираж на горизонте выжженной солнцем равнины, мираж, заведомо обманчивый, и даже, как сейчас же выяснилось, вовсе не мираж, а точки, мелькающие перед глазами. И все-таки сделать это стоило, очень даже стоило — в качестве наказания, и для успокоения совести, и для того, чтобы обмануть себя иллюзией действия. И потом было еще то обстоятельство, что он должен был провести вторую половину дня с Розой, и эту встречу пришлось отменить — это тоже было в высшей степени удачно. И не только отменить встречу, но еще — последняя клоунада, самая бессмысленная и безвкусная из всех — сыграть с ней шутку. «Не могу прийти жду Слон-стрит 213 третий этаж слегка нездоров». Он спрашивал себя, как пойдет у нее дело с мистером Меркаптаном; потому что Гамбрил, повинувшись клоунской фантазии, овладевшей им на почте, куда он забежал по пути на вокзал, дал ей адрес будуара рококо и софы, в которой обитает

дух Кребильона.

Перед ним расстился бесплодный, выжженный солнцем пустырь. Была ли она права в письме? Действительно ли это продолжалось бы очень недолго и окончилось бы, как она предрекала, мучительным разрывом? Или, может быть, в ее руках была единственная надежда на счастье? Может быть, она — то самое единственное существо, с которым он научился бы ждать в тишине приближения прекрасного и страшного нечего, от чьих таинственных шагов он столько раз — и так трусливо! — спасался бегством? Он не мог решить, это невозможно было решить, пока он не увидит ее снова, пока он не овладеет ею, пока он не сольет свою жизнь с ее жизнью. А теперь она ускользнула от него: потому что он твердо знал, что не найдет ее. Он вздохнул и посмотрел в окошко.

Поезд остановился на маленькой пригородной станции. Пригородной, потому что, хотя Лондон остался позади, жалкие деревянные домишки возле станции и более новые, построенные наспех, кирпичные здания дальше, на склоне, настойчиво заявляли о присутствии делового человека, держателя сезонного билета. Гамбрил посмотрел на дома с рассеянным отвлечением, отразившимся, должно быть, на его лице, потому что джентльмен, сидевший напротив, вдруг наклонился, хлопнул его по коленке и сказал:

— Я вижу, вы согласны со мной, сэр, что на свете слишком много людей.

Гамбрил, который до сих пор разве только замечал — не больше, — что напротив кто-то сидит, теперь взглянул на незнакомца с большим вниманием. Это был крупный квадратный старик, крепкий и цветущий на вид, с морщинистым, загорелым пергаментным лицом и белыми усами, которые сливались, образуя изящную линию, с бакенбардами, чем-то напоминавшими бакенбарды императора Франца-Иосифа.

— Я вполне согласен с вами, сэр, — ответил Гамбрил. Будь он при бороде, он высказал бы свое мнение о том, что болтливые старики в поездах — учреждение совершенно излишнее. Но так как бороды не было, он говорил крайне вежливо и улыбался самой приветливой улыбкой.

— Когда я смотрю на эти возмутительные дома, — продолжал старый джентльмен, потрясая кулаком по адресу уютно устроившихся держателей сезонных билетов, — я преисполняюсь негодованием. У меня желчь разливается, сэр, — желчь разливается от этого.

— Сочувствую вам, сэр, — сказал Гамбрил. — Архитектуру здесь никак нельзя назвать привлекательной.

— Да не об архитектуре речь, — возразил старый джентльмен, — это

всего лишь вопрос искусства, а мне на эту чепуху в высшей степени наплевать. Меня раздражают люди, а не архитектура, сэр: количество людей. И то, как они размножаются. Как черви, сэр, как черви. Их миллионы, они кишат по всей стране, распространяя повсюду грязь и вонь; портят все на свете. Люди — вот против чего я возражаю.

— Чего ж вы хотите, — сказал Гамбрил, — если санитарные условия не позволяют эпидемиям распространяться, если мы учим мать выращивать своего ребенка и тем самым не позволяем природе убивать его; если мы импортируем неограниченные количества хлеба и мяса, — чего же иного мы можем ожидать? Население, конечно, увеличивается.

Старый джентльмен жестом отстранил все эти соображения.

— Мне безразлично, каковы причины, — сказал он. — Для меня это все равно. Я возражаю, сэр, против последствий. Да вы знаете, сэр, что еще на моей памяти за Швейцарским Домиком можно было гулять по чудесным лугам, и я сам видел, как в Западном Хэмстеде доили коров, сэр. А теперь, что я вижу теперь, когда я еду туда? Гнусные красные города, кишащие евреями, сэр. Кишащие преуспевающими евреями. Имею я право возмущаться, сэр? Имею я основания обличать, подобно пророку Ионе?

— Имеете, сэр, — сказал Гамбрил со все возрастающим жаром, — тем более что этот жуткий прирост населения — самая страшная опасность, какая угрожает миру в наши дни. При народонаселении, которое в одной Европе увеличивается на несколько миллионов в год, немыслимы никакие политические прогнозы. Еще несколько лет подобного животного размножения, и все мудрейшие планы сегодняшнего дня пойдут прахом, или, вернее, пошли бы прахом, — поспешил он поправиться, — если бы они вообще имелись.

— Весьма возможно, сэр, — сказал старый джентльмен, — но против чего я восстаю, так это против превращения доброй пахотной земли в городские улицы, против того, что там, где раньше мирно паслись коровы, теперь вырастают дома, полные никому не нужных, отвратительных человеческих существ. Я протестую против того, что природа становится местом прогулок для горожан.

— А есть ли у нас надежда, — серьезно спросил Гамбрил, — что в будущем мы сумеем поддерживать все наше население? Уменьшится ли когда-нибудь безработица?

— Не знаю, сэр, — ответил старый джентльмен. — Ясно одно: семьи безработных будут увеличиваться.

— Вы совершенно правы, сэр, — сказал Гамбрил, — они будут увеличиваться. А семьи работающих и вообще более обеспеченных людей

будут так же неуклонно уменьшаться. Как прискорбно, что мальтузианство получило распространение не в тех кругах, в каких следует. Существует, по-видимому, какой-то предел обеспеченности, ниже которого ограничение рождаемости не практикуется, и какой-то предел образования, ниже которого оно считается безнравственным. Надо удивляться, как много времени потребовалось, чтобы отделить в сознании человека понятие любви от понятия продолжения рода. У большинства людей эти понятия даже теперь, в так называемом двадцатом столетии, все еще неразрывно связаны. Впрочем, — продолжал он, — жизнь идет вперед, пусть медленно, но все же идет. Так, например, в последних статистических отчетах я с удовлетворением отметил, что духовенство как класс в настоящее время отличается поразительной малочисленностью семей. Шутки над плодовитостью священников устарели. Будет ли слишком смелым надеяться, что эти господа начнут наконец проповедовать то, что они уже практикуют?

— Это слишком смело, сэр, — убежденно ответил старый джентльмен.

— Вероятно, вы правы, — сказал Гамбрил.

— Если бы все мы проповедовали все то, что мы практикуем, — продолжал старый джентльмен, — мир очень скоро превратился бы в заправский зверинец, если хотите знать. Да, или в обезьянник. И в свинарник. А теперь, сэр, это всего лишь такое место, где слишком много людей. Порок должен платить дань добродетели; в противном случае все пойдет прахом.

— Восхищаюсь вашей мудростью, сэр, — сказал Гамбрил. Старый джентльмен пришел в восторг.

— А на меня произвели глубокое впечатление ваши философские рассуждения, — сказал он. — Скажите, как вы относитесь к старому бренди?

— Да как вам сказать — не философски, — ответил Гамбрил. — Скорей как жалкий эмпирик.

— Как жалкий эмпирик! — Старый джентльмен расхохотался. — Тогда разрешите мне презентовать вам ящик. У меня целый погреб бренди, и — увы! — я не сумею выпить все, пока я жив. Мое единственное желание — чтобы остатки были распределены между людьми, способными оценить этот напиток по достоинству. В вас, сэр, я вижу подходящего кандидата на ящик бренди.

— Я уничтожен, — сказал Гамбрил. — Вы слишком добры и, мог бы я прибавить, слишком лестного мнения обо мне.

Поезд, двигавшийся с черепашьей скоростью, поскрипывая,

остановился; казалось, это была по крайней мере сотая остановка.

— Что вы, что вы, — сказал старый джентльмен. — Если у вас найдется визитная карточка, сэр...

Гамбрил пошарил в карманах.

— Кажется, с собой нет.

— Не важно, — сказал старый джентльмен. — У меня есть карандаш. Если вы сообщите мне вашу фамилию и адрес, я сейчас же прикажу послать вам ящик.

Неторопливо он отыскал карандаш, он вынул записную книжку. Поезд рванул вперед.

— Итак, сэр, — сказал старый джентльмен.

Гамбрил начал диктовать.

— Теодор, — медленно сказал он.

— Те-о-дор, — повторил по слогам старый джентльмен.

Поезд пополз вперед, медленно набирая скорость, мимо станции. Случайно посмотрев в эту минуту в окошко, Гамбрил увидел написанное на фонаре название. Это был Робертсбридж. Он издал громкий нечленораздельный звук, распахнул дверь купе, выскочил на подножку и прыгнул. Он благополучно очутился на платформе, шатаясь, пробежал несколько шагов вперед, пока не исчерпал скорость, и наконец остановился. Из вагона высунулась рука и захлопнула дверь, и тотчас же в окошке появилось лицо, издали еще более напоминавшее лицо императора Франца-Иосифа; лицо смотрело назад, на удаляющуюся платформу. Рот открывался и закрывался, но слов не было слышно. Стоя на платформе, Гамбрил изобразил сложную пантомиму: в знак сожаления он пожал плечами и приложил руку к сердцу, а для того, чтобы объяснить свое внезапное бегство (за которое он просит прощения) необходимостью сойти именно на этой станции, он показал рукой на название, затем на самого себя и наконец на городок, видневшийся вдали среди полей. Старый джентльмен махал рукой, все еще сжимавшей, как подметил Гамбрил, записную книжку, куда он заносил его имя. Потом поезд скрылся из виду. Уходит единственный ящик старого бренди, с грустью подумал Гамбрил, на который у него когда-либо была надежда. Вдруг он вспомнил Эмили; все это время он не думал о ней. Коттедж, когда он нашел его, оказался очень живописным, как он и рассчитывал. А Эмили, конечно, уехала, не оставив адреса, как и следовало ожидать. Он отправился в Лондон вечерним поездом. Теперь равнина была совершенно пустынной; даже надежда на мираж исчезла. И не было старого джентльмена, чтобы рассеяться. Численность пасторских семейств и даже судьбы Европы казались теперь

совсем маловажными, вернее, были ему абсолютно безразличны.

ГЛАВА XVIII

Слон-стрит, двести тринадцать. Адрес — решила Рози, опрыскивая всю свою гибкую фигуру синтетическим ландышем, — безусловно положительный. Он говорит о некоторой обеспеченности, свидетельствует об известной аристократичности. Этот адрес подтверждал ее высокое мнение о бородатом незнакомце, который так неожиданно вошел в ее жизнь, словно исполнение пророчества гадалки; да, вошел в ее жизнь и чувствовал себя в ней как дома. Получив сегодня утром телеграмму, Рози пришла в восторг от мысли, что наконец-то она что-то узнает об этом таинственном незнакомце. Потому что он оставался таинственным и непонятым, оставался далеким даже в минуты самой интимной близости. Она даже не знает, как его зовут. «Называйте меня Тото», — предложил он, когда она спросила об этом. И ей пришлось звать его Тото за отсутствием чего-либо более определенного и более связывающего. Но сегодня он приоткрыл перед ней завесу тайны. Рози была в восторге. Ее розовое белье, решила она, взглянув в трюмо, просто восхитительно. Она внимательно осмотрела себя, поворачиваясь то направо, то налево и заглядывая через плечо, чтобы проверить, какое впечатление получается сзади. Она вытянула ногу носком вперед, согнула и разогнула ее в колене; мысленно она очень одобрила длину своих ног («большинство женщин, — сказал Тото, — похожи на такс»), их стройность и четкость линий. В этих белых чулках из миланского шелка они выглядели прелестно; кстати — как замечательно у Селфриджа заштопали эти чулки по новому патентованному способу! Совершенно как новые, а стоит всего четыре шиллинга. Ну, пора одеваться. Итак, попрощаемся с розовыми дессу и длинными белыми ногами. Она открыла гардероб. Зеркало на дверце, сделав полуоборот, отразило розовую постель, розы на обоях, фотографии подружек и причащение умирающего святого. Рози выбрала платье, которое она купила как-то в одной из тех лавчонок в Сохо, где продают почти даром всякие шикарные вещи мелким актрисам и кокоткам. Тото еще не видел его. В этом платье у нее был необыкновенно элегантный вид. Шляпка с вуалеткой длиной в один дюйм, свисающей подобно маске, которая ничего не скрывает, а только подчеркивает, была ей как нельзя более к лицу. Еще одно прикосновение пуховки, еще одна капля синтетического ландыша, и она готова. Она закрыла за собой дверь. Святой Иероним остался принимать причастие среди опустевшей розовости.

Мистер Меркаптан сидел за своим письменным столом — восхитительно-забавной вещицей из лакированного папье-маше с инкрустациями из перламутровых цветов и разрисованной видами Виндзорского замка и Тинтерна в романтической манере последних лет принца Альберта,^[108] — доводя до окончательного, ювелирного совершенства одну из своих еженедельных статей. Тема была великолепная: «Jus Primae Noctis, или Droit du Seigneur»^[109] — «то самое прелестное droit, — писал мистер Меркаптан, — на котором, хочется думать, так настаивают государи Англии в своем девизе: Dieu et mon Droit — du Seigneur».^[110] «Это очаровательно», — подумал мистер Меркаптан, перечитывая статью. И ему нравился этот кусочек, который начинался элегически: «Но увы! Право первой ночи принадлежит к мифическим средним векам, имеющим столь же мало общего с подлинным, как любая из мрачных эпох, выдуманных Моррисом или Честертоном. Право господина, каким оно представляется нашему воображению, — это вымысел причудливой фантазии семнадцатого столетия. Оно никогда не существовало. Или, вернее, оно существовало, но не имело, к сожалению, ничего общего с тем, что нам нравится представлять себе». Далее следовали ученые ссылки на Карфагенский собор, который в 398 году требовал от верующих сдержанности в брачную ночь. Это было право Господа — droit небесного господина. Этот исторический факт послужил мистеру Меркаптану трамплином для блестящей проповеди на тему о печальном половом извращении, известном под именем воздержания. Насколько счастливее мы были бы, если бы подлинное историческое droit du Seigneur оказалось не только мифом, созданным нашей «изящно гривуазной фантазией»! Он заглядывал в будущее, представлял себе золотой век, когда все будут Seigneur'ами, все будут обладать правами, расширенными до всеобщей свободы. И так далее. Мистер Меркаптан перечитывал свое произведение с довольной улыбкой. Местами он вносил осторожные исправления красными чернилами. Над «изящно гривуазной фантазией» его перо застыло на добрую минуту: у него были колебания совести. Не слишком ли это инструментовано, нет ли в этом дешевого эффекта? Может быть, лучше было бы сказать «изящно фривольной» или «гривуазного воображения»? Он несколько раз повторил все три варианта, пробуя их на вкус, критически, как дегустатор. В конце концов он решил, что «изящно гривуазная» лучше всего. «Изящно гривуазная» — да, это, разумеется, mots justes,^[111] вне всякого сомнения.

Мистер Меркаптан только что пришел к этому выводу, и его перо,

остановившееся было над фразой, начало двигаться вниз по странице, когда его потревожил шум спорящих голосов в коридоре у дверей его комнаты.

— В чем дело, миссис Голди? — раздраженно крикнул он.

Нетрудно было различить громкий сварливый голос его домоправительницы. Он отдал распоряжение, чтобы его не тревожили. В эти ответственные минуты правки рукописи человеку необходим абсолютный покой.

Но сегодня мистеру Меркаптану не суждено было наслаждаться покоем. Дверь его священного будуара грубо распахнулась, и в него ворвался, как варвар в элегантный мраморный вомиториум^[112] Петрония Арбитра,^[113] изможденный и всклокоченный субъект, в котором мистер Меркаптан с некоторым смущением узнал Казимира Липиата.

— Чему я обязан удовольствием этого неожиданного?.. — Мистер Меркаптан начал с «опыта» оскорбительной учтивости.

Но Липиат, который был неспособен различать столь тонкие оттенки, грубо прервал его.

— Послушайте-ка, Меркаптан, — сказал он, — мне нужно с вами поговорить.

— Что ж, очень рад, — ответил мистер Меркаптан. — А разрешите узнать, о чем именно? — Конечно, он отлично знал, о чем, и перспектива разговора пугала его.

— Об этом, — сказал Липиат, протягивая какой-то сверток. Мистер Меркаптан взял сверток и развернул его. Это был экземпляр «Еженедельного обзора».

— А! — сказал мистер Меркаптан тоном радостного удивления. — «Обзор». Вы прочли мою статейку?

— Об этом самом я и собираюсь поговорить, — сказал Липиат. Мистер Меркаптан скромно рассмеялся.

— Моя статья не заслуживает такой чести, — сказал он. Сохраняя совершенно несвойственное ему спокойствие и произнося слова нарочито тихим голосом, Липиат выговорил старательно и медленно:

— Это гнусные, подлые, злостные нападки на меня.

— Послушайте, послушайте! — оправдывался мистер Меркаптан. — Критик должен иметь право критиковать.

— Но есть пределы, — сказал Липиат.

— О, я вполне разделяю ваше мнение, — поспешно согласился мистер Меркаптан. — Но не станете же вы утверждать, Липиат, что я хоть раз

переступил эти пределы. Если бы я назвал вас убийцей, или хотя бы развратником, тогда, признаю, вы имели бы кое-какие основания жаловаться. Но я этого не сделал. Во всей статейке я нигде не перехожу на личности.

Липиат насмешливо расхохотался, и его лицо распалось на кусочки, как поверхность пруда, в который бросили камень.

— Вы ограничились тем, что назвали меня ломакой, актером, шутом, шарлатаном, напыщенным маньяком и пародирующим самого себя декламатором. Только и всего.

Мистер Меркаптан придал своему лицу оскорбленное выражение человека, которого не так поняли. Он закрыл глаза и умо-г ляюще замахал рукой.

— Я хотел сказать только, — сказал он, — что вы *слишком* много протестуете. Вы этим губите сами себя: стараясь быть елико возможно патетичным, вы теряете пафос. Вся эта *folie de grandeur*,^[114] вся эта погоня за *terribilita*,^[115] — и мистер Меркаптан благонаравно покачал головой, — они повели стольких людей по ложному пути. Но так или иначе, не могли же вы ожидать, что мне понравятся ваши произведения. — Мистер Меркаптан усмехнулся и с нежностью обвел взглядом свой будуар, свою изолированную от света и надушенную голубятню, в стенах которой цвело столько тончайших цветов цивилизации. Он посмотрел на свою великолепную софу, резную и позолоченную, залитую белым шелком и такую глубокую — это был огромный квадратный предмет, почти такой же ширины, как и длины, — что, когда вы на нее усаживались, вам приходилось поднимать ноги с пола и откидываться на спину. Под ее белым шелком дух Кребильона нашел себе пристанище в нашу выродившуюся эпоху. Он посмотрел на свои прелестные веера работы Кондера, висевшие над камином; на изысканную картину работы Мари Лорансэн,^[116] изображавшую двух блед-нокожих девиц с глазами, как ягоды, которые прогуливались, обнявшись, среди плоского близорукого пейзажа, окруженные сворой прыгающих геральдических псов. Он посмотрел на свою горку с безделушками, стоявшую в углу, где негритянская маска и замечательный китайский фаллос из горного хрусталя забавно контрастировали с английским фарфором, маленькой мадонной из слоновой кости, которая была, вероятно, поддельной, но ничем не отличалась от настоящих французских средневековых мадонн, и с итальянскими медалями. Он посмотрел на свой курьезный письменный стол из черного лакированного папье-маше и перламутра; он посмотрел на

свою статью о Jus Primae Noctis, черную и аккуратную на белой странице, с красными поправками, свидетельствовавшими о его неутомимой и — льстил он себе — почти всегда успешной погоне за единственно правильным словом. Нет, право же, нельзя было ожидать, что ему понравятся теории Ли-пиата.

— Да я этого и не ожидал, — сказал Липиат, — и, видит Бог, меньше всего хотел бы, чтобы они вам понравились. Но вы назвали меня неискренним. Вот этого я вам не спущу. Как вы смели? — Его голос становился громче.

Мистер Меркаптан еще раз умоляюще помахал ручкой.

— Да нет, — поправил он, — я только сказал, что в некоторых из ваших картин чувствуется некоторая неискренность. Почти неизбежная, впрочем, в произведениях подобного рода.

Внезапно Липиат потерял самообладание. Вся злоба и горечь, накопившиеся за последние дни, прорвались наружу. Его выставка безнадежно провалилась. Не продано ни одной картины, рецензии в большинстве случаев ругательные, а хвалебные... эти восхищались как раз не тем, чем следовало восхищаться, и были, по существу, оскорбительными. «Яркие, эффектные картины». «Из мистера Липиата выйдет превосходный декоратор». Сволочи! Сволочи! И вот, когда его облаяли газеты, каждая на свой лад, выполз на свет Меркаптан со своим «опытом» о неискренности в искусстве — на примере творчества его, Липиата.

— Как вы смели? — свирепо заорал он. — Вы... как вы смеее говорить об искренности? Что вы в ней смыслите, вы, мерзкий клоп? — И, выбрав особу мистера Меркаптана в качестве объекта мести всему миру, пренебрегшему им, мести судьбе, отказавшей ему в законной доле таланта, Липиат вскочил и, схватив автора Jus Primae Noctis за плечи, принялся трясти его, приподымать над креслом и снова запихивать его туда и трепать за волосы. — Как у вас хватает совести, — спросил он, отпуская свою жертву, но продолжая стоять над ней в угрожающей позе, — прикоснуться к чему бы то ни было большому и серьезному? — Все эти годы, эти злосчастные годы нищеты, и борьбы, и смелых надежд, и неудач, и нескончаемых разочарований; а теперь эта последняя неудача, еще более полная, чем все прежние. Он дрожал от злости: когда злишься, забываешь по крайней мере о своих страданиях.

Мистер Меркаптан опомнился от этого неожиданного нападения.

— Ну, знаете ли, — выговорил он наконец, — что за варварство! Драться, как мужик!

— Если бы вы знали, — начал Липиат, но сейчас же спохватился. «Если бы вы знали, — хотел он сказать, — чего стоили мне эти вещи, что они для меня значили, сколько мысли, сколько страсти...» Но как может понять Меркаптан? А впечатление будет такое, точно он взывает к добрым чувствам этой твари. — Клоп! — прокричал он вместо этого. — Клоп! — И он снова замахнулся на него ладонью. Мистер Меркаптан весь скорчился и, мигая, закрылся руками от ударов.

— Ну, знаете, — повторял он, — знаете...

Нет искренности? Пожалуй, это наполовину правда. Липиат с удвоенной яростью схватил мистера Меркаптана за плечи и тряс его, тряс его.

— И потом это низкое оскорбление насчет реклам вермута! — выкрикнул он. Эта рана была больней других. — Эти кричащие, вульгарные плакаты! Вы что, думали, надо мной можно издеваться и оплевывать меня безнаказанно? Думали, я буду выслушивать все эти гадости и молчать, как рыба? Так, что ли? Но на этот раз вы ошиблись. — Он замахнулся на него кулаком. Мистер Меркаптан съежился еще больше и поднял руки, защищая свою голову. — Подлый, трусливый клоп, — сказал Липиат, — почему вы не защищаетесь, как мужчина? Вы умеете драться только словами. Насчет этих реклам вермута — очень умно и презрительно и остро, так, что ли? Но если бы я вас вызвал, вы не посмели бы драться со мной.

— Ну, если быть совершенно точным, — сказал мистер Меркаптан, выглядывая из-под своей защиты, — это критическое замечание принадлежит не мне. Я позаимствовал аперитив. — Он слабо рассмеялся, похожий больше на канарейку, чем на быка.

— Так вы говорите, вы это позаимствовали? — презрительно повторил Липиат. — А у кого, разрешите узнать? — На самом деле это нисколько его не интересовало.

— Что же, если вы так хотите знать, — сказал мистер Меркаптан, — так я вам скажу: у нашего общего друга, Майры Вивиш.

Одно мгновение Липиат стоял молча, потом спрятал свою грозную длань в карман и отвернулся.

— О! — сказал он безразличным тоном и снова замолк. Успокоенный мистер Меркаптан выпрямился в кресле, ладонью правой руки он пригладил растрепанные волосы.

Легкими шагами, озаренная солнцем, Роза шла по Слоу-стрит, рассматривая номера домов. Сто девяносто девять, двести, двести один — теперь скоро. Может быть, все прохожие, свободно, элегантно и

неторопливо шагавшие по улице, может быть, все они скрывали в глазах тайну, такую же милую и забавную, как ее тайна. Розы нравилось думать так: жизнь от этого казалась более увлекательной. Какой, должно быть, у нее беззаботно-элегантный вид, подумала про себя Роза. Неужели кто-нибудь, увидев сейчас ее, фланирующую по улице, неужели кто-нибудь догадался бы, что за десять домов отсюда юный поэт, или почти что юный поэт, нетерпеливо ждет на третьем этаже ее прихода? Ну конечно, никто никогда не догадался бы! Это было самое занятное и увлекательное во всей этой ситуации. Величественная в своем легкомысленном безразличии, величественная в страсти, которой она могла по желанию дать волю или положить конец, знатная дама красиво плыла по озаренной солнцем улице навстречу удовлетворению своей прихоти. Подобно Диане, она склонилась над мальчиком-пастухом. Алчущий юный поэт нетерпеливо ждал и ждал ее в своей мансарде. Двести двенадцать, двести тринадцать. Взглянув на входную дверь, Роза вспомнила, что мансарда, очевидно, не так уж убога, а юный поэт вовсе не голодает. Она перешагнула через порог и, остановившись в парадном, взглянула на доску с именами. Первый этаж: миссис Бадж. Второй этаж: Ф. де М. Рауботэм. Третий этаж: П. Меркаптан.

П. Меркаптан... Но это же прелестное имя, самое подходящее имя для юного поэта! Меркаптан, — она была очень довольна своим выбором. Прихоть пресыщенной леди оказалась как нельзя более удачной. Меркаптан... Меркаптан... Хотелось бы знать, что означает это П.: Питер, Патрик, может быть, даже Пен-деннис? Ей и в голову не пришло, что отец мистера Меркаптана, известный бактериолог, тридцать четыре года тому назад настоял на том, чтобы назвать своего первенца «Пастер».

Слегка взволнованная под маской элегантного спокойствия, Роза поднялась по лестнице. Двадцать пять ступеней до второго этажа: один марш в тринадцать ступеней — это предвещало недоброе — и один в двенадцать. Потом два марша по одиннадцать ступеней до третьего этажа, и она очутилась на площадке перед входной дверью, звонком, похожим на круглый глаз, и медной дощечкой с именем. Для знатной дамы, для которой подобные приключения — самое привычное дело, ее сердце билось что-то слишком уж сильно. Виновата в этом, конечно, лестница. Она остановилась на мгновение, глубоко вздохнула два раза и нажала кнопку звонка.

Дверь открыла пожилая служанка самой устрашающе-почтенной наружности.

— Дома мистер Меркаптан?

Особа, открывшая дверь, сейчас же разразилась длинной бессвязной сердитой тирадой, жалуясь на что-то — на что именно, Роза так и не могла

понять. Она поняла только, что мистер Меркаптан приказал не беспокоить его. Однако кто-то пришел и потревожил его: «попросту говоря, ворвался самым грубым и бесцеремонным образом». А теперь, когда его уже потревожили один раз, она не видит, почему бы его не потревожить снова. Но она не знает, до чего это дойдет, если люди будут, попросту говоря, врывать в дом. «Большевизм, вот что это такое!»

Рози что-то пробормотала, выражая сочувствие, и была допущена в темную переднюю. Продолжая сварливо обвинять большевиков, врывающихся в дома, пожилая особа провела ее по коридору и, распахнув дверь, объявила недовольным тоном: «К вам леди, мистер Пастер», — ибо миссис Гольди, будучи старой фамильной прислугой, принадлежала к узкому кругу тех, кто знал тайну имени мистера Меркаптана, и к еще более узкому кругу тех, кто пользовался привилегией произносить его. Затем, едва Рози переступила через порог, как она немедленно отрезала ей пути к отступлению, с шумом захлопнув дверь, и удалилась, ворча себе что-то под нос, на кухню.

Это была, безусловно, не мансарда. Чтобы убедиться в этом, достаточно было бросить беглый взгляд, вдохнуть запах духов, почувствовать под ногами ковер. Но люди были того сорта, что живут в мансардах. Один из них, худощавый, с резкими чертами лица и, в юных глазах Рози, совсем старый, стоял, облокотившись о камин. Другой, с виду более гладкий и жизнерадостный, сидел перед письменным столом возле окна. И ни один из них — Рози в отчаянии переводила взгляд с одного на другого, тщетно надеясь, что она, может быть, не заметила белокурой бороды, — ни один из них не был Тото.

Гладкий человек, сидевший у письменного стола, поднялся с места и пошел к ней навстречу.

— Какой приятный сюрприз, — сказал он голосом, в котором поочередно слышались то барабан, то флейта. — Я просто в восторге! Но чему я обязан?.. С кем, разрешите узнать?..

Он подал ей руку; машинально Рози протянула в ответ свою. Гладкий человек пожал ее сердечно, почти с нежностью.

— Я... я, кажется, ошиблась, — сказала она. — Мистер Меркаптан?

Гладкий человек улыбнулся.

— Мистер Меркаптан — это я.

— Вы живете на третьем этаже?

— Я никогда не притязал на блестящие математические способности, — сказал гладкий человек и улыбнулся, точно выражая одобрение самому себе, — но я всегда считал, что... — он замялся, —

enfin, que ma demeure se trouve en effet^[117] на третьем этаже. Я уверен, Липиат поддержит меня.

Он повернулся к худощавому человеку, стоявшему неподвижно у камина, не сходя с места, облокотившись о доску и мрачно смотря в землю.

Липиат поднял глаза.

— Я сейчас пойду, — резко сказал он.

И он пошел к двери. «Как рекламы вермута, как рекламы вермута»... значит, эта острота принадлежала Майре! Вся его злоба потухла, как залитый водой костер. Он был как в воду опущенный, он примирился со своим несчастьем.

Мистер Меркаптан поспешил вежливо встать и открыть ему дверь.

— Ну что ж, до свидания, — беззаботно сказал он. Липиат ничего не ответил и вышел в переднюю. Наружная дверь захлопнулась за ним.

— Ну, я вам доложу, — сказал мистер Меркаптан, возвращаясь к тому месту, где все еще в нерешительности стояла Роза. — Вот уж действительно, *furor poeticus*!^[118] Но садитесь же, прошу вас. На Кребильона. — Он показал на обширную софу, обитую белым шелком. — Я зову ее Кребильтон, — объяснил он, — потому что в ней, без сомнения, пребывает дух этого великого писателя, без всякого сомнения. Вы, конечно, читали его книгу? Вы читали *Le Sopha*?

Погружаясь в мягкие объятия Кребильтона, Роза вынуждена была признаться, что она не читала *Le Sopha*. К ней начало возвращаться самообладание. Это, безусловно, юный поэт — хотя и не тот самый юный поэт. И к тому же весьма своеобразный. В качестве знатной дамы она приняла всю эту ситуацию со смехом.

— Не читали *Le Sopha*? — воскликнул мистер Меркаптан. — О! Но тогда, дорогая моя незнакомка, разрешите мне сейчас же дать вам прочесть эту книгу. Нельзя считать образование законченным, если человек не знаком с этой божественной книгой. — Он бросился к книжной полке и вернулся с небольшим томиком в белом веленовом переплете. — Душа героя, — объяснил он передавая ей томик, — переселяется, согласно законам метам-психоза, в софу. Он обречен оставаться софой до тех пор, пока два человека не насладятся на его груди взаимной и одинаково сильной любовью. В книге описаны надежды и разочарования бедной софы.

— Боже мой! — сказала Роза, взглянув на титульный лист.

— А теперь, — сказал мистер Меркаптан, садясь подле нее на край Кребильтона, — не сообразовали ли вы объяснить? Какому приятному

недоразумению я обязан этим внезапным и совершенно восхитительным вторжением в мою личную жизнь?

— Да как вам сказать, — начала Роза и остановилась. Объяснить было, по правде говоря, довольно-таки трудно. — Я должна была встретиться с одним из своих друзей.

— Так, так, — поощрительно сказал мистер Меркаптан.

— Который известил меня телеграммой, — продолжала Роза.

— Известил вас телеграммой, — отозвался мистер Меркаптан.

— Что не может прийти... прийти туда, где мы уговорились встретиться, и просил меня прийти по этому адресу.

— Сюда?

Роза кивнула.

— Третий этаж, — уточнила она.

— Но на третьем этаже живу я, — сказал мистер Меркаптан. — Или вы хотите сказать, что фамилия вашего друга тоже Меркаптан и что он живет тоже здесь?

Роза улыбнулась.

— Я не знаю его фамилии, — сказала она с холодным ироническим равнодушием неподдельной *grande dame*.

— Не знаете фамилии? — Мистер Меркаптан зарычал и запищал в припадке восторженного хохота. — Но это же замечательно, — сказал он.

— В телеграмме он написал «третий этаж». — Теперь Роза чувствовала себя совершенно свободно. — Когда я прочла вашу фамилию, я решила, что это и есть он. Должна сказать, — добавила она, искоса взглядывая на мистера Меркаптана и тотчас же опуская лепестки магнолии, — что это имя показалось мне прелестным.

— Вы мне льстите, — сказал мистер Меркаптан, и все его жизнерадостное свиноподобное лицо расплылось в улыбке. — Что же касается вашего имени — я слишком скромный *galantuomo*,^[119] чтобы спрашивать. Да в конце концов, какое это имеет значение? Для розы нужно ли иное имя...

— Кстати, — вставила она, подымая и снова опуская свои гладкие белые веки, — меня зовут как раз Роза; или, вернее сказать, Роза.

— Вы это имя носите по праву! — воскликнул мистер Меркаптан с изящной галантностью, которую он сам же первый оценил. — По этому случаю мы сейчас выпьем чаю. — Он вскочил на ноги и позвонил. — Как я поздравляю себя с этим удивительнейшим стечением счастливейших обстоятельств!

Роза ничего не сказала. Этот Меркаптан, подумала она, еще более

похож на представителя высшего артистического света, чем Тото.

— Что меня больше всего поражает, — продолжал он, — это то, что ваш безымянный друг выбрал из миллиона адресов именно мой. Значит, он знает меня или, во всяком случае, знает обо мне.

— Я думаю, — сказала Рози, — что у вас бездна друзей. Мистер Меркаптан расхохотался: целый оркестр, от фагота до флейты-пикколо.

— Des amis, des amies^[120] — с немым «е» и без того, — объявил он.

В дверях появилась пожилая служанка устрашающего вида.

— Чай на двоих, миссис Голди.

Миссис Голди обвела комнату подозрительным взглядом.

— А что, тот джентльмен ушел? — осведомилась она. И, убедившись в его отсутствии, она снова принялась за свои жалобы. — Врываться подобным образом, — сказала она. — Большевизм, вот что...

— Да, да, миссис Голди. Подайте нам чай как можно скорей. — Мистер Меркаптан повелительно поднял руку жестом полисмена, регулирующего уличное движение.

— Хорошо, мистер Пастер, — покорно проговорила миссис Голди и удалилась.

— Но скажите мне, — продолжал мистер Меркаптан, — если, конечно, это не нескромно: как, примерно, выглядит ваш Друг?

— Д-да как вам сказать, — ответила Рози, — он блондин, и, хотя он очень молодой, он носит бороду. — И Рози обеими руками изобразила на своей невыдающейся груди очертания широкого русого веера Тото.

— Борода! Но, Пресвятая дева, — и мистер Меркаптан хлопнул себя по ляжкам, — это Колмэн, это несомненно и очевидно Колмэн!

— Ну, кто бы он ни был, — сурово сказала Рози, — он сыграл очень глупую шутку.

— За которую я ему благодарен. De tout mon coeur.^[121]

Рози улыбнулась и искоса посмотрела на него.

— Все равно, — сказала она, — я его проучу за это.

Бедная тетя Агги! Бедная, бедная тетя! В свете меркаптановского будуара ее кованая бронза и ее поливная глазурь производили впечатление довольно-таки комическое.

После чая мистер Меркаптан выступил в роли гида: они вдвоем совершили экскурсию по комнате. Они посетили стол из папье-маше, веера работы Кондера, картину Мари Лорансэн, первое издание Du cote de chez Swarm,^[122] явно поддельную мадонну, негритянскую маску, фарфоровые статуэтки завода Челси, китайское произведение искусства из горного

хрусталя и стоявшую под стеклянным колпаком восковую фигуру королевы Виктории в натуральную величину. Теперь стало ясно, что Тото был всего лишь предтечей: подлинным мессией был мистер Меркаптан. Да, бедная тетя Агги! А когда мистер Меркаптан прочел свой маленький «опыт» о «*Jus Primae Noctis*», тут уж бедными стали решительно все: бедная мама с ее нелепыми пуританскими взглядами; бедный папа, такой серьезный со своим унитариянством, своим «Хиббертовым журналом», своими письмами в редакции о необходимости духовного возрождения.

— Браво! — крикнула она из глубин Кребильона. Она полулежала в углу софы, томная, похожая на змейку, поджав ноги в туфлях из пятнистой змеиной кожи. — Браво! — крикнула она, когда мистер Меркаптан дочитал до конца и посмотрел на нее, ожидая одобрения.

Мистер Меркаптан поклонился.

— Вы так прелестно выражаете то, что мы, — и, сделав многозначительный жест, она представила себе всех прочих изысканных и пресыщенных леди, всех баснословных маркиз, возлежащих, как возлежит сейчас она сама, на белой шелковой обивке, — то, что мы только чувствуем, но недостаточно умны, чтобы выразить.

Мистер Меркаптан был восхищен. Он встал из-за письменного стола, прошел через комнату и сел подле нее на Кребильона.

— Самое важное, — сказал он, — это чувствовать.

Рози вспомнила, что ее отец однажды изрек гекзаметром: «Самое важное — то, что творится в сердечных глубинах».

— Вполне согласна, — сказала она.

Как подвижные изюминки в тарелке говяжьего жира, карие глазки мистера Меркаптана начали вращаться посреди свиноподобного лица, выражая объяснение в любви. Он взял руку Рози и поцеловал ее. Кребильон скромно заскрипел, когда он придвинулся к ней.

Был вечер того же самого дня. Рози лежала на своей софе, купленной в рассрочку, — конечно, это было нечто убогое по сравнению с мсркаптановским произведением искусства из белого шелка и резного и позолоченного дерева, но все-таки это была софа, — лежала, задрав ноги на спинку; ее кимоно распахнулось, раскрыв ее длинные стройные ноги до того самого места, где кончались натянутые чулки. Она читала Кребильона в веленовом переплете, который мистер Меркаптан преподнес, когда прощался с ней (или, вернее, когда он сказал: «*A bientôt, mon amie*»^[123]). Именно преподнес, а не дал почитать, как менее великодушно предложил в начале их знакомства; преподнес, снабдив самым грациозным из тонко-многозначительных посвящений, гласившим:

ТОЙ, КОМУ ИНОГО ИМЕНИ НЕ НУЖНО,
КРОМЕ МИЛОЙ, С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ОТ ОСВОБОЖДЕННОГО КРЕБИЛЬОНА.

A bientôt — она обещала прийти очень скоро. Она вспомнила «опыт» о «Jus Primae Noctis» — то, что все мы чувствовали, но были недостаточно умны, чтобы выразить. Мы, лежащие на софах, безжалостные, прекрасные и пресыщенные...

— Я горжусь тем, что представляю собой, — сказал об этом мистер Меркаптан, — l'esprit d'escalier des dames galantes. [\[124\]](#)

Рози была не вполне уверена в смысле этих слов; но, во всяком случае, это звучало очень остроумно.

Она читала книгу медленно. Правда, ее знание французского языка было не таким, чтобы позволить ей читать быстрее. Она жалела, что не знала языка лучше. Возможно, в таком случае она зевала бы меньше. Какой позор! — она сделала над собой усилие. Мистер Меркаптан сказал, что это — шедевр.

Сидя у себя в кабинете, Шируотер пытался писать свою статью о регулятивных функциях почек. Из этого ничего не выходило.

Почему она не приняла меня вчера? — спрашивал он себя. Он заподозрил ее в том, что у нее есть другие любовники; его желание от этого только усилилось. Он вспомнил, что в ту ночь, когда они встретили ее у кафе-ларька, Гамбрил сказал что-то такое. Что именно? Теперь он жалел, что отнесся к словам Гамб-рила так невнимательно.

«Я надоел ей. Уже. Это ясно».

Может быть, для нее он слишком неотесанный. Шируотер взглянул на свои руки. Да, ногти грязны. Он вынул из жилетного кармана зубочистку и принялся их чистить. Сегодня утром он купил целую пачку зубочисток.

Он решительно взялся за перо. «Концентрация водородных ионов в крови...» — начал он новый абзац. Но дальше этих пяти слов дело не пошло.

Если бы, подумал он в полном смятении чувств, если бы... если бы... если бы... Условное наклонение, безнадежно условное. Он мог бы получить более светское воспитание; его отец, например, мог бы быть адвокатом, а не клерком адвоката. Ему не пришлось бы столько работать в молодости; он мог бы больше вращаться в обществе, больше танцевать, встречаться больше с молодыми женщинами. Если бы он встретил ее несколько лет тому назад — во время войны, скажем, одетый в мундир

лейтенанта гвардии...

Он всегда утверждал, будто женщины его не интересуют; будто они на него не действуют; будто он, по существу, выше подобных вещей. Балбес! С таким же успехом он мог бы сказать, что он выше того, чтобы иметь почки. Он только милостиво признавал, что женщины — физиологическая необходимость.

Боже мой, каким дураком он был!

Ну, а как же Рози? Каким образом она жила в те времена, когда он был выше подобных вещей? Теперь, когда мысль об этом пришла ему в голову, он понял, что он фактически ничего не знает о ней, кроме того, что она не в состоянии правильно выучить наизусть хотя бы элементарнейшие понятия из области физиологии лягушек. Установив это, он оставил всякие попытки узнать ее ближе. Как мог он быть подобным кретином?

Рози, как он предполагал, была в него влюблена. А он был влюблен в нее? Нет. Он всячески избегал этого. Из принципа.

Его брак был для него мерой интимной гигиены, отчасти, кроме того, проявлением заботливой нежности, да, безусловно проявлением нежности; и отчасти развлечением — как, например, покупка щенка.

Миссис Вивиш открыла ему глаза; увидев ее, он начал замечать и Рози. Он понял, что до этого он был не только болваном, но также и грубым животным.

Как ему теперь поступить? Он долго сидел неподвижно, не в силах ответить на этот вопрос.

В конце концов он решил, что самое лучшее — это рассказать Рози все об этом, рассказать ей все обо всем на свете.

И о миссис Вивиш тоже? Да, о миссис Вивиш тоже. Если он это сделает, он легче и скорей вылечится от своей любви. И он попытается узнать Рози поближе. Он исследует ее. Он сумеет открыть в ней кое-что другое, помимо неспособности изучать физиологию. Он откроет ее, он сумеет превратить свое хорошее отношение к ней в нечто более живое и теплое. И они начнут сначала; на этот раз успешней; со знанием и пониманием; умудренные опытом.

Шируотер встал со стула, стоявшего у письменного стола, рассеянно зашагал своей неуклюжей походкой к двери, наткнулся по дороге на американский книжный шкаф и на кресло и, выйдя в коридор, направился в гостиную. Когда он вошел, Рози не повернула головы, а продолжала читать, не меняя позы; ее ноги в туфлях были по-прежнему выше головы и по-прежнему были очаровательно выставлены напоказ.

Шируотер остановился перед пустым камином. Там он стоял, спиной к

Рози, словно разжигая себя воображаемым огнем. Он чувствовал, что это самая безопасная и стратегически самая выгодная позиция для разговора.

— Что ты читаешь? — спросил он.

— Le Sopha, — сказала Рози.

— Что это такое?

— Что это такое? — презрительно откликнулась Рози. — Да это же один из величайших французских классиков.

— Кто автор?

— Кребийон Младший.

— В первый раз слышу, — сказал Шируотер. Наступило молчание, Рози продолжала читать. — Мне только что пришло в голову, — снова начал Шируотер, по обыкновению нудно и нескладно, — что ты, может быть, не очень счастлива, Рози.

Рози взглянула на него и рассмеялась.

— Что это тебе взбрело в голову? — спросила она. — Я совершенно счастлива.

Шируотер был поставлен в тупик.

— Очень рад это слышать, — сказал он. — Я только думал... что тебе, пожалуй, могло показаться... что я несколько пренебрегаю тобой.

Рози снова рассмеялась.

— Да о чем это ты? — сказала она.

— Меня немного мучает совесть, — сказал Шируотер. — Я начинаю видеть... мне показал это один человек... что я не... что я не очень хорошо с тобой обращаюсь...

— Но я уверяю тебя, я этого никогда не замечала, — вставила Рози, по-прежнему улыбаясь.

— Я обращаю на тебя слишком мало внимания, — продолжал Шируотер в каком-то отчаянии, ероша свои густые темные волосы. — У нас нет общих интересов. Ты совсем не принимаешь участия в моей жизни.

— Но ведь мы цивилизованные супруги, — сказала Рози. — Не можем же мы жить друг у друга в кармане, ведь правда?

— Да, но на деле мы как чужие люди, — сказал Шируотер. — Это неправильно. И в этом виноват я. Я никогда не пытался подойти к тебе ближе. А ты делала для этого все, что могла... в начале нашей совместной жизни.

— А х т о г д а! — со смехом сказала Рози. — Ты очень скоро понял, какой я была дурочкой.

— Не смейся над этим, — сказал Шируотер. — В этом нетниче-го смешного. Это очень серьезно. Видишь ли, я наконец понял, как глупо я

себя вел, как плохо я тебя понимал, как мало я с тобой считался. У меня вдруг раскрылись глаза. Дело в том, — вдруг прорвался он, как фонтан, из которого вынули пробку, — я недавно познакомился с одной женщиной, которая мне очень нравится, но которой я не нравлюсь. — Говоря о миссис Вивиш, он бессознательно пользовался ее лексиконом. А в кругу миссис Вивиш люди только эвфемистически «нравились» друг другу, даже в тех случаях, когда речь шла о всепоглощающей и мучительной страсти или о полном самозабвении. — И получилось так, что благодаря этому я увидел многое, на что раньше я закрывал глаза — вероятно, я делал это сознательно. Между прочим, я увидел и то, что мое отношение к тебе, Роза, ниже всякой критики.

Роза слушала с изумлением, которое она скрывала в совершенстве. Ах вот как! Значит, Джемс пустился на поиски приключений? Это казалось невероятным, а также трогательно-нелепым, когда она поглядела на лицо своего мужа, такое детское под маской мужественно торчащих во все стороны волос. «Интересно, — подумала она, — кто бы это мог быть?» Но она не выказала никакого любопытства. Она это очень скоро выяснит.

— Мне очень жаль, что тебе так не повезло, — сказала она.

— Теперь с этим покончено. — Шируотер сделал жест, выражавший решимость.

ГЛАВА XIX

Уйдя от мистера Меркаптана, Липиат направился прямо домой. Ясный день точно издевался над ним. Со своими блестящими красными омнибусами, белыми зонтиками, муслиновыми девушками, молодой листвой деревьев и оркестрами на углах улиц, он до отвращения был похож на увеселительную загородную прогулку. Липиату хотелось остаться одному. Он взял такси, чтобы добраться до мастерской. Конечно, это было ему не по средствам, но не все ли равно, не все ли равно теперь?

Машина медленно и как бы нехотя въехала в грязный тупик. Он расплатился, открыл маленькую дверь между широкими воротами конюшен, взобрался по узкой лесенке и очутился у себя дома. Он сел и попробовал собраться с мыслями.

«Смерть, смерть, смерть, смерть», — повторял он себе, шевеля губами, точно молился. Если он произнесет это слово достаточное количество раз, если он вполне приучит себя к этой мысли, смерть придет как бы сама собой; он познает ее, будучи еще живым, он почти незаметно перейдет из жизни в смерть. «В смерть, — повторял он про себя, — в смерть». Смерть — как колодец. Камень падает, падает, секунда за секундой; и наконец раздается звук, отдаленный, страшный звук смерти, и потом — ничего больше. Колодец в Карисбруке и осел, вертящий колесо, которое подымает ведро воды, ледяной воды... Он долго думал о колодце смерти.

За окнами в тупике шарманка наигрывала мотив «Куда деваются мухи зимой?». Липиат поднял голову, прислушиваясь. Ему стало смешно. «Куда деваются мухи?» Вопрос ставился до драматизма, до трагизма, кстати. В конце всего — последний смехотворный штрих. Он видел все это со стороны. Он представил себе самого себя, покинутого всеми, разбитого. Он взглянул на свою руку, безжизненно лежащую перед ним на столе. Недоставало только ран от гвоздей, чтобы получилась рука распятого Христа.

Ну вот, опять литературщина. Даже теперь. Он закрыл лицо ладонями. В его сознании была крошечная тьма, неизъяснимый, мучительный хаос. Это слишком трудно, слишком трудно.

Когда он решил писать, оказалось, что в чернильнице нет ничего, кроме иссохшего черного осадка. Он каждый день собирался купить себе чернил; и каждый раз забывал. Придется писать карандашом.

«Помните ли вы, — писал он, — помните ли вы, Майра, то время,

когда мы поехали за город — помните? — и остановились под Спиной Борова в маленькой харчевне, которой хозяева старались придать более шикарный вид? „Отель Быка“ — помните? Как мы смеялись над Отелем Быка! И как нравились нам его окрестности! Целый мир на площади в несколько квадратных миль. Меловые карьеры и синие бабочки на Спине Борова. А у подножия холма неожиданный песок: твердый желтый песок с удивительными пещерами, вырытыми бог весть когда какими-то неведомыми разбойниками на Пути Пилигрима; и тонкий серый песок, на котором растет вереск в Паттенхэм-Коммон. И флагшток и надпись на том месте, откуда королева Виктория любовалась видом. И огромные холмистые луга вокруг Комптона и густые темные леса. И озера, и вересковые пустоши, и шотландские ели у Кэтт-Милл. Шекль-фордские леса. Там было все. Помните, как мы всем этим наслаждались? Я, во всяком случае, наслаждался. Я был счастлив эти три дня. И я любил вас, Майра. И я думал, что, может быть, может быть, вы когда-нибудь полюбите меня. Вы этого не сделали. И моя любовь принесла мне только несчастье. Помните тот замечательный сонет Микеланджело, в котором он сравнивает любимую женщину с глыбой мрамора, из которой художник может извлекать совершенный образ своих грез. Если изображение окажется плохим или если влюбленный получает вместо любви смерть — что ж, значит, виноват художник и влюбленный, а не мрамор, не любимая.

Amor dunque non ha, nè tua Beltatc,
O fortuna, durezza, o gran disdegno,
Del mio mal colpa, o mio destino, o soict.
Se dentro del tuo cor morte de pietate
Porti in un tempo c ch'l mio basso ingcgno
Non sappia ardendo trarnc altro che morte. [\[125\]](#)

Да, это был мой basso ingegno, мой низкий гений, не сумевший извлечь из вас любовь, извлечь красоту из материалов, из которых создают произведение искусства. А теперь вы улыбнетесь про себя и скажете: бедный Казимир, наконец-то он согласился с этим! Да, да, теперь я соглашаюсь со всем. Что я — плохой художник, что я — плохой поэт, что я — плохой композитор. Что я — шарлатан и неудачник. Что я — комический актер на героических ролях, заслуживающий всяческого осмеяния, — и осмеянный. Но ведь смешон каждый человек, когда на него смотришь со стороны, не принимая во внимание того, что происходит у

него в сердце и в сознании. Можно превратить „Гамлета“ в остроумный фарс, в нем будет неподражаемая сцена, когда сын застаёт свою обожаемую мать на ложе прелюбодеяния. Можно сделать остроумнейшую мопассановскую новеллу из жизни Христа, противопоставляя притязания безумного равви его неудачливой судьбе. Все дело в точке зрения. Каждый человек в одно и то же время и ходячий фарс, и ходячая трагедия. Человек, поскользнувшийся на банановой корке и проломивший себе череп, описывает в воздухе при своем падении комичнейшую арабеску. А вы, Майра, — догадываетесь ли вы о том, что говорят о вас злые языки? Каким бульварным фарсом представляется другим ваша жизнь? Для меня же, Майра, вы окружены какой-то безымянной и непонятной трагедией. Что такое для них вы? Какая-то легкомысленная дамочка с занятыми приключениями. А что такое я? Шарлатан, неудачник, претенциозный, хвастливый, высокопарный болван, способный писать только рекламы для вермута. (Почему это причинило мне такую боль? Не знаю. Нет никаких причин, почему бы вам не думать так, если вам хочется.) Я был всем этим — фигурой, достойной всяческого осмеяния. И весьма возможно, что ваш смех был оправдан, что ваше суждение было справедливым. Я не знаю. Я ничего не могу сказать. Может быть, я — шарлатан. Может быть, я — неискренен, хвастаю перед другими, обманываю самого себя. Говорю вам, что я этого не знаю. Теперь все смешалось в моем уме. Его ткань распалась, в нем царит ужасный хаос. Я не могу привести себя в порядок. Лгал ли я самому себе? Актерствовал ли я? Становился ли я в позу Великого Человека, пытаюсь убедить себя, будто я и в самом деле великий человек? Есть ли во мне что-то или нет ничего? Удалось ли мне создать что-нибудь ценное, соответствующее моим замыслам, моим мечтам (ибо они были прекрасны; в этом я убежден). Я заглядываю в хаос моей души, и, говорю вам, я не знаю, не знаю. Но я знаю одно: что вот уже двадцать лет я разыгрываю шарлатана, над которым вы все издеваетесь; что я страдал, душой и телом — порой даже голодал — ради того, чтобы разыгрывать эту роль; что я боролся, что я с подъемом бросался в атаку, что я терпел поражение — сколько раз! — что я заставлял себя бороться, снова и снова бросаться в атаку. Что ж, пожалуй, это и смешно, если вам угодно именно так смотреть на это. Смешно, когда человек столько времени подвергает себя лишениям ради чего-то, чего на самом деле вовсе не существует. Я понимаю, что в этом есть тонкий комизм. Я понимаю это абстрактно, так сказать. Но не забывайте, что в данном частном случае я не только бесстрастный наблюдатель. И если что-нибудь меня теперь обуревают, то отнюдь не смех. Я обуреваем неопишуемым страданием, горечью самой

смерти. Смерть, смерть, смерть. Я повторяю себе это слово много раз подряд. Я думаю о смерти, я пытаюсь представить ее себе, я склоняюсь над ней, я смотрю туда, куда падают и падают камни, и слышу только один страшный звук, вслед за которым вновь настает молчание: смотрю в колодец смерти. Он так глубок, что не видно мерцающего глаза влаги на дне. У меня нет свечи, чтобы опустить ее вниз. Это страшно, но я не хочу больше жить. Жить хуже, чем...»

Липиат полез доставать еще лист бумаги и вздрогнул, услышав на лестнице шум шагов. Он повернулся к двери. Его сердце отчаянно колотилось. Непонятный страх овладел им. В ужасе он ждал приближения какого-то неведомого и ужасного существа. Шаги ангела смерти слышались на лестнице. Вверх, вверх, вверх Липиат чувствовал, что он дрожит, слыша, как приближается звук. Он знал наверное, что через несколько секунд он умрет. Палач уже надел ему петлю на шею; солдаты стрелкового взвода уже прицелились. Раз, два... он вспомнил миссис Вивиш, стоявшую без шляпы, с волосами, раздуваемыми ветром, у подножия флагштока, на том самом месте, откуда королева Виктория любовалась далеким видом на Сельборн; он вспомнил ее страдальческую улыбку; он вспомнил, как однажды она взяла его голову руками и поцеловала его: «Потому что вы такой золотой осел», — сказала она, смеясь. Три... Раздался легкий стук в дверь. Липиат прижал руку к сердцу. Дверь открылась.

Невысокий птицеподобный человечек с длинным острым носиком и глазками — круглыми, черными и блестящими, как пуговицы, — вошел в комнату.

— Вы, вероятно, мистер Лиджет? — начал он. Потом взглянул на карточку, где, очевидно, были написаны имя и адрес. — Я хотел сказать, мистер Липиат. Тысяча извинений. Вы, вероятно, мистер Липиат?

Липиат откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Лицо у него было белое как бумага. Он тяжело дышал, на висках у него выступил пот, как будто он только что бежал.

— Я нашел нижнюю дверь открытой, поэтому я поднялся прямо сюда. Надеюсь, вы простите... — Незнакомец виновато улыбнулся.

— Кто вы? — спросил Липиат, снова открывая глаза. Сердце у него по-прежнему колотилось; после бури оно успокаивалось не сразу. Он отпрянул от края страшного колодца; время бросаться туда еще не настало.

— Меня зовут, — сказал незнакомец, — Болдеро, Герберт Болдеро. Наш общий друг мистер Гамбрил, мистер Теодор Гамбрил Младший, —

уточнил он, — надоумил меня обратиться к вам по одному вопросу, в котором мы оба заинтересованы и который, может быть, заинтересует и вас.

Липиат кивнул, не говоря ни слова.

Мистер Болдеро тем временем осматривал мастерскую своими блестящими птичьими глазками. На мольберте стоял почти законченный портрет миссис Вивиш. Он с видом знатока приблизился к нему.

— Это напоминает мне, — сказал он, — Бакоссо. Можно сказать, очень напоминает. А также немного... — Он запнулся, пытаясь восстановить в памяти имя другого субъекта, о котором говорил Гамбрил. Но, не сумев припомнить маловыразительные слоги имени Дерэна, он решил действовать наудачу и сказал: — Орпена. — Мистер Болдеро вопросительно взглянул на Липиа-та, желая убедиться, не ошибся ли он.

Липиат продолжал молчать; казалось, он не слышал того, что было сказано.

Мистер Болдеро понял, что говорить о современном искусстве не имеет смысла. «У этого типа такой вид, — подумал он, — точно с ним что-то неладное. Надо надеяться, не грипп. Эта болезнь так и ходит по городу».

— Этот вопрос, о котором я говорил, — продолжал он другим тоном, — заключается в одном деле, которое мы с мистером Гамбрилом совместно организуем. Речь идет о Пневматических Брюках. — И он беззаботно помахал рукой.

Липиат внезапно разразился хохотом — преисполненный горечи Титан. Куда деваются мухи? Куда деваются души? Сперва шарманка, а теперь Пневматические Брюки. Потом, так же внезапно, он смолк. Опять литературщина? Снова актерство?

— Продолжайте, — сказал он, — прошу прощения.

— Ничего, ничего, — снисходительно сказал мистер Болдеро. — Я знаю, эта мысль кажется на первый взгляд несколько юмористической, можно сказать. Но уверяю вас, мистер Лиджет, то есть мистер Липиат, это дело денежное. Денежное! — Мистер Болдеро сделал театральную паузу. — Так вот, — продолжал он, — мы собирались выпустить новый товар, создав ему предварительно сногшибательную рекламу. Затратить несколько тысяч на газетные объявления и, кроме того, развесить наши рекламные плакаты по всем станциям метрополитена и на всех площадях вместе с рекламами Резиновых Изделий Оубриджа, Овсянки Джон Буль и Бренди Золотая Печать. А для этого, мистер Липиат, нам нужны, как вы и сами понимаете, несколько хороших, бросающихся в глаза рисунков. Мистер Гамбрил упомянул ваше имя и надоумил меня пойти к вам и

выяснить, не изъявите ли вы согласие на некоторое время предоставить в наше распоряжение ваш талант. И должен заметить, мистер Липиат, — произнес он с неподдельным жаром, — что, увидев этот образчик вашего творчества, — он показал на портрет миссис Вивиш, — я чувствую, что вы блестяще справитесь...

Он не закончил фразы, потому что в это мгновение Липиат вскочил со стула и, испустив пронзительный, нечленораздельный, звериный вопль, кинулся на финансиста, схватил его обеими руками за горло, потряс его, швырнул на пол, потом поднял за шиворот и стал пинками подгонять к двери. От последнего пинка мистер Болдеро скатился, как на салазках, по крутой лестнице. Липиат побежал за ним; но мистер Болдеро моментально вскочил на ноги, открыл наружную дверь, выскользнул на улицу, захлопнул за собой дверь и, раньше чем Липиат успел сбежать с лестницы, помчался во весь опор по тупику.

Липиат открыл дверь и выглянул наружу. Мистер Болдеро был уже далеко, почти у арки в стиле Пиранези. Он смотрел ему вслед, пока тот не скрылся из виду, потом снова поднялся к себе и бросился ничком на кровать.

ГЛАВА XX

Зоэ закончила спор тем, что всадила перочинный нож на полдьюма в левую руку Колмэна и выбежала из квартиры, захлопнув за собой дверь. Колмэн привык к подобным сценам; ради них он, собственно, и существовал на свете. Осторожно он вытащил нож, который остался торчать в руке. Он взглянул на лезвие и с облегчением отметил, что оно не такое уж грязное, как можно было бы ожидать. Он разыскал вату, отер струившуюся кровь и прижег рану йодом. Потом он занялся перевязкой. Но перевязать собственную левую руку не так-то легко. Колмэн убедился, что невозможно сделать так, чтобы марля держалась на месте, невозможно завязать бинт достаточно туго. Провозившись четверть часа, он добился только того, что весь перепачкался кровью: рана осталась незабинтованной. Он оставил попытку перевязать рану и ограничился тем, что отирал струившуюся кровь.

— И истекла из него кровь и вода, ^[126] — произнес он вслух и посмотрел на красное пятно на вате. Он повторял эти слова снова и снова и на пятнадцатом повторении разразился хохотом.

Колокольчик в кухне вдруг зазвенел. Кто бы это мог быть? Он подошел к двери и отпер ее. На площадке стояла высокая стройная молодая женщина с раскосыми китайскими глазами и большим ртом, элегантно одетая в черное платье с белой отделкой. Прижимая вату к кровоточащей руке, Колмэн поклонился насколько мог изящно.

— Входите, — сказал он. — Вы пришли как раз вовремя. Я истекаю кровью. И истекла из него кровь и вода. Идите, идите, — добавил он, видя, что молодая женщина нерешительно стоит на пороге.

— Но я пришла к мистеру Колмэну, — сказала она, слегка заикаясь и краснея, видимо, в замешательстве.

— Я — мистер Колмэн. — Он на мгновение отнял вату от раны и с видом знатока поглядел на кровавое пятно. — Но я очень скоро перестану быть таковым, если вы не войдете и не перевяжете мне руку.

— Но вы не тот мистер Колмэн, к которому я пришла, — сказала молодая особа в еще большем замешательстве. — Правда, у вас борода, но...

— Значит, я должен примириться с мыслью покинуть эту жизнь, так, что ли? — Жестом, выражающим отчаяние, он вскинул руки. — Прочь, прочь, недолговечный Колмэн! Прочь, нераскаянный грешник. — И он

сделал вид, что собирается захлопнуть дверь.

Молодая особа остановила его.

— Если вы действительно нуждаетесь в перевязке, — сказала она, — я, конечно, могу вам помочь. Я была на курсах сестер милосердия во время войны.

Колмэн распахнул дверь.

— Спасен! — сказал он. — Входите.

Вчера первоначальным намерением Розы было пойти прямо от мистера Меркаптана к Тото. Она немедленно увидит его, она спросит его, что он, собственно, думал, когда решил сыграть с ней эту глупую шутку. Она сделает ему основательное внушение. Она даже скажет ему, что теперь между ними все кончено. Конечно, если он проявит должное раскаяние и сумеет разумно объяснить свое поведение, она согласится — очень неохотно — снова приблизить его к себе. В тех кругах, где она теперь вращается, царит свобода, предрассудки отсутствуют, и подобные шутки считают делом самым пустяковым. Было бы глупо ссориться из-за этого. Но все-таки она решила проучить Тото.

Однако, когда она наконец оставила прелестный будуар мистера Меркаптана, было слишком поздно, чтобы идти бог знает куда в Пимлико, по адресу, который дал ей мистер Меркаптан. Она решила отложить свой визит до следующего дня.

Итак, на следующий день она, как и было решено, направилась в Пимлико — в Пимлико, чтобы посетить человека по имени Колмэн. После Слон-стрит и мистера Меркаптана Пимлико представлялось несколько убогим и второразрядным. Бедный Тото! После блестящего мистера Меркаптана он казался несколько потускневшим. Этот опыт о «Jus Primae Noctis» — ах! Пробираясь сквозь неаппетитный лабиринт Пимлико, она вспомнила о нем и, вспоминая, улыбалась. Бедный Тото! И сверх того, не надо забывать, бессмысленный, коварный, глупый Тото! Она очень точно представляла себе все, что она ему скажет; она представляла себе даже то, что скажет ей он. А когда объяснение кончится, они отправятся обедать в Кафе-Рояль — в верхний этаж, где она никогда не бывала. И она пробудит в нем ревность, сообщив ему, что мистер Меркаптан ей очень понравился; но ревность не слишком жгучую. Молчание — золото, как говорил ее отец, когда она приходила в раж и ей хотелось говорить гадости всем, кто попадался под руку. В некоторых вещах молчание, безусловно, золото.

В довольно мрачном переулке возле Лупус-стрит, куда ее направили, Розы отыскала дом номер такой-то, отыскала, среди множества звонков и карточек, нужное ей имя. Быстро и решительно она поднялась по лестнице.

«Ну, знаете, — скажет она, как только увидит его, — я считала вас цивилизованным человеком. — Мистер Меркаптан намекнул, что Колмэн не подлинно цивилизованный человек; для Розы намек было достаточно. — Но вижу, — скажет она затем, — что я ошиблась. Я не люблю иметь дело с мужланами». Изысканная леди выбирала юного поэта, а не батрака.

Хорошо прорепетировав свою роль, Рози позвонила. И когда дверь открылась, она очутилась лицом к лицу с этим огромным бородатым дикарем, который улыбался, который смотрел на нее блестящими пугающими глазами, который цитировал Евангелие и который истекал кровью, как боров. Кровь была на рубашке, кровь на брюках, кровь на руках, кровавые отпечатки пальцев на лице; даже белокурая каемка его бороды, заметила Рози, была местами запачкана кровью. В первую минуту даже ее аристократическая уравновешенность изменила ей.

Под конец, однако, она последовала за ним через маленькую переднюю в светлую комнату, выбеленную известкой; мебели не было, если не считать стола, нескольких стульев и большого пружинного матраца, стоявшего, как остров, посреди комнаты и служившего в зависимости от обстоятельств кроватью или диваном. Над камином была пришпилена большая фотографическая репродукция этюда Леонардо — «Анатомия любви». Других картин по стенам не было.

— Все приспособления здесь, — сказал Колмэн, указывая на стол. — Корпия, марля, бинты, вата, йод, клеенка. Они у меня всегда заготовлены на случай подобных маленьких несчастий.

— А вы часто ухитряетесь резать себе руки? — спросила Рози. Она сняла перчатки и распаковала новый пакет марли.

— Их режут, — объяснил Колмэн. — Знаете, небольшие расхождения во взглядах. Если твое око соблазняет тебя, вырви его; люби ближнего, как самого себя. Следственно: если око ближнего соблазняет тебя — понимаете? Мы здесь живем согласно христианским принципам.

— Кто такие — «мы»? — спросила Рози, в последний раз прижигая рану йодом и накладывая на нее большой кусок марли.

— Всего-навсего я сам и — как бы это сказать? — моя ассистентка, — ответил Колмэн. — А! Вы делаете это с большим искусством, — продолжал он. — Вы законченный представитель типа больничной сиделки: полный комплект материнских инстинктов. Для сердца, что пылает страстью, ты как пожарная кишка, как мы говаривали в доброе старое время, когда в моде были каламбуры.

Рози засмеялась.

— Не воображайте, пожалуйста, будто я только тем и занимаюсь, что перевязываю раны, — сказала она и на мгновение отвела взгляд от перевязки. После первого момента удивления к ней возвращалось ее обычное холодное самообладание.

— Bravo! — воскликнул Колмэн. — Вы, кроме того, наносите их, не так ли? Сначала нанести рану, а потом вылечить ее, по великому древнему методу гомеопатов. Великолепно! Посмотрите-ка, что говорит по этому поводу Леонардо. — Свободной рукой он показал на висевшую над камином фотографию.

Рози, бросившая взгляд на картину при входе в комнату, предпочла не рассматривать ее слишком внимательно во второй раз.

— По-моему, это ужасная гадость, — сказала она и с удвоенным рвением принялась за перевязку.

— Да! Но ведь в этом весь смысл, весь смысл, — сказал Колмэн, и в его светлых голубых глазах заплескали яркие огоньки. — В этом красота подлинной страсти. Она гадка. Почитайте, что говорят о любви отцы церкви. Вот это — знатоки дела! Кажется, Одо из Ключи назвал женщину *saccus stercoris*, мешок навоза. *Si quis enim considerat quae intra nares et quae intra fauces et quae intra ventrem lateant, sordos ubique reperiet.* Латынь грохотала, как красноречивый гром, в устах Колмэна. *Et si pes extremis digitis flegma vel stercus tangere patimur, quomodo ipsum stercoris saccum amplecti desideramus.* — Он причмокнул губами. — Изумительно! — сказал он.

— Я не понимаю по-латыни, — сказала Рози, — к счастью. А ваша перевязка готова. Смотрите.

— Благодарю тебя, пожарная кишка, — и Колмэн подкрепил свою благодарность улыбкой. — Боюсь, впрочем, что епископ Одо не пощадил бы и вас; даже за вашу добродетель. А тем более за вашу наружность, которая только заставила бы его с особой настойчивостью разоблачать скрывающиеся под ней тайны ваших внутренностей.

— Ну, знаете, — возмутилась Рози. Она охотно встала бы и ушла, но голубые глаза этого дикаря поблескивали с таким странным выражением и он улыбался так загадочно, что она продолжала сидеть на том же месте, слушая с удовольствием, к которому примешивалось отвращение, его болтовню и взрывы искусственного и пугающего смеха.

— Ах! — воскликнул он, вскидывая руки. — Какими сладострастниками были все эти старцы! Какое наслаждение доставляли им грязь, и мрак, и убожество, и скука, и все ужасы греха. Они притворялись, будто пытаются отвлечь людей от порока, перечисляя его

ужасы. Но на самом деле они только делали его более соблазнительным, описывая его таким, каков он в действительности. O esca vermium, O massa pulveris!^[127] тошнотворны объятия! Спрягать совокупительный глагол, педантично, с мешком требухи — можно ли представить себе что-нибудь более восхитительно и пленительно и упоительно гнусное? — И он откинул голову назад и захохотал; окровавленные кончики его белокурой бороды затряслись. Рози смотрела на них, зачарованная отвращением.

— У вас борода вся в крови. — Она почувствовала, что необходимо обратить на это его внимание.

— Ну что ж? Почему бы ей не быть в крови? — спросил Колмэн. Смущенная Рози почувствовала, что краснеет.

— Просто потому, что это дов-ольно неприятно. Не знаю почему. Но это неприятно.

— Какой повод, чтобы немедленно броситься мне в объятия! — сказал Колмэн. — Когда вас целует борода, это уже само по себе плохо. Но когда это окровавленная борода — вы только представьте себе!

Рози всю передернуло.

— В конце концов, — сказал он, — какой интерес, какое удовольствие совершать обычные поступки общепринятым способом? Жизнь au naturel.^[128] — Он покачал головой. — Нам необходимы чеснок и шафран. Вы верите в Бога?

— Н-не очень, — сказала Рози, улыбаясь.

— Жалею вас. Жизнь должна казаться вам невероятно тоскливой. А стоит вам начать верить, как все вырастает в тысячу раз. Фаллические символы вышиной в пятьсот футов. — Он поднял руку. — Ряд оскаленных зубов, вдоль которого можно бежать добрую сотню шагов. — Он ослабил на нее из-за своей бороды. — Раны, такие большие, что целая шестерка цугом может проехать в их гнойные глубины. Каждое самое незначительное действие приобретает извечный смысл. По-настоящему наслаждаться жизнью можно только тогда, когда веришь в Бога, и особенно в ад. Например, если в ответ на настойчивые приставания моей окровавленной бороды вы хотя бы на несколько минут сдадитесь, — насколько больше наслаждения вам это доставит, если при этом вы будете верить, что совершаете грех против Духа Святого, если все это время вы будете спокойно и бесстрастно думать: «Мало того, что это смертный грех, это, сверх того, уродливо, нелепо, это похоже на акт испражнения, на...»

Рози подняла руку.

— Вы просто ужасны, — сказала она. Колмэн улыбнулся ей. И все-

таки она не ушла.

— Кто не со мной, тот против меня, — сказал Колмэн. — Если вы не в состоянии быть «с», тогда уж решительно выступить «против», чем быть просто отрицательно-безразличной.

— Вздор! — слабо запротестовала Роза.

— Когда я называю свою возлюбленную нимфоманкой и сукой, она вонзает мне в руку перочинный нож.

— И что же, вам это доставляет наслаждение? — спросила Роза.

— Огромное, — ответил он. — Это гнусно до последней и самой низкой степени и в то же время исполнено глубочайшего извечного смысла.

Колмэн замолчал; Роза тоже ничего не сказала. Напрасно она желала, чтобы на месте этого опасного, грозного дикаря оказался Тото. Мистер Меркаптан должен был бы предупредить ее. Но ведь он же предполагал, что она уже знает этого субъекта. Она подняла на него глаза и увидела, что его блестящие глаза пристально смотрят на нее; он беззвучно смеялся.

— Вы не хотите узнать, кто я такая? — спросила она. — И как я сюда попала?

Колмэн кротко покачал головой.

— Отнюдь нет, — сказал он.

Роза почувствовала себя еще более беспомощной.

— Почему? — спросила она самым смелым и дерзким тоном, на какой только она была способна.

Колмэн ответил ей вопросом на вопрос:

— Зачем?

— Это было бы законное любопытство.

— Но я знаю все, что хочу знать, — сказал он. — Вы — женщина, или по крайней мере обладаете всеми вторичными половыми признаками таковой. Разрешите мне добавить, что развиты они не слишком пышно. Ноги у вас не деревянные. Ваши веки порхают по вашим глазам вверх и вниз, как подвижная штора сигнального фонаря, выводя на общепринятом коде буквы А. М. О. Р.^[129] — а не С.А.С.Т.І.Т.А.С.,^[130] или я очень ошибаюсь. Ваш рот выглядит так, точно он умеет и целовать, и кусать. Вы...

Роза вскочила с места.

— Я ухожу, — сказала она.

Колмэн откинулся на спинку стула и заржал.

— Кусайте, кусайте, кусайте, — сказал он. — Тридцать два раза. — И он принялся открывать и закрывать рот как можно быстрее, так что зубы защелкали с сухим костяным звуком. — Каждый кусок тридцать два раза.

Так сказал мистер Гладстон. А уж кому знать, — он снова защелкал своими острыми белыми зубами, — кому знать, как не мистеру Гладстону.

— Прощайте, — сказала Роза, открывая дверь.

— Прощайте, — ответил Колмэн и сейчас же вскочил на ноги и погнался за ней.

Роза вскрикнула, выскользнула за дверь и, захлопнув ее за собой, перебежала через переднюю и завопилась с замком наружной двери. Он не отпирался. Она дрожала от страха, ее тошнило. Дверь позади нее с треском распахнулась. Раздался взрыв хохота, и руки Дикаря легли ей на плечи, его лицо выглянуло из-за ее плеча, и белокурая борода, перепачканная кровью, защекотала ей шею и лицо.

— Ох, не надо, не надо! — умоляла она, отворачивая голову. Потом вдруг разразилась горячими слезами.

— Слезы! — в экстазе закричал Колмэн. — Настоящие слезы! — Он порывисто нагнулся, осушая их поцелуями, глотая их на лету. — Я пьянею, — сказал он, поднимая голову, как цыпленок, глотнувший воды, и причмокнул губами.

Безудержно рыдая, Роза никогда в жизни не чувствовала себя менее похожей на знатную пресыщенную леди.

ГЛАВА XXI

— Итак, — сказал Гамбрил, — я снова здесь.

— Уже?!. — Нестерпимая головная боль заставила Майру Ви-виш после завтрака с Пайерсом Коттоном вернуться домой отдыхать. Она накормила свою алчную болезнь пирамидоном и теперь лежала на кушетке с обивкой по эскизам Дюфи под своим портретом во весь рост работы Жака-Эмиля Бланша. Ее головная боль не прошла, но ей было скучно. Когда горничная доложила о Гамбриле, миссис Вивиш приказала впустить его. — Я очень больна, — сказала она голосом умирающей. — Посмотрите на меня, — она показала на себя, — и на меня же. — Взмахом руки она указала на портрет, легкий и блестящий, как шампанское. — До и после. Как рекламы, знаете. Каждая картина рассказывает повесть. — Она слабо рассмеялась, потом сделала гримаску и, втянув воздух полуоткрытыми губами, приложила руку ко лбу.

— Дорогая Майра, — Гамбрил пододвинул стул к кушетке и уселся, как врач у изголовья пациента. — До и после — чего именно? — спросил он почти по-докторски.

Миссис Вивиш едва заметно пожала плечами.

— Не знаю, — сказала она.

— Не грипп, надеюсь?

— Нет, не думаю.

— Не любовь, случайно?

Миссис Вивиш на этот раз не рискнула засмеяться; она удовольствовалась тем, что страдальчески улыбнулась.

— Это было бы справедливым возмездием, — продолжал Гамбрил, — за то, что вы сделали мне.

— А что я вам сделала? — спросила миссис Вивиш, широко открывая свои бледно-голубые глаза.

— Всего лишь разбили мне жизнь.

— Какой вы еще ребенок, Теодор. Расскажите, в чем дело, без этих глупых возвышенных фраз. — В ее умирающем голосе слышалось раздражение.

— Дело вот в чем, — сказал Гамбрил. — Вы помешали мне встретиться с единственным человеком в жизни, с которым мне по-настоящему хотелось встретиться. А вчера, когда я попытался с ней встретиться, ее уже не было. Она исчезла. И вот я остался в безвоздушном

пространстве.

Миссис Вивиш закрыла глаза.

— Мы все в безвоздушном пространстве, — сказала она. — Вам, знаете, не придется испытывать недостатка в обществе. — На мгновение она замолчала. — Тем не менее мне очень жаль, — добавила она. — Почему вы мне не сказали? И зачем вы послушались меня, вместо того чтобы ехать, и все тут?

— Я не сказал вам потому, — ответил Гамбрил, — потому что в то время я сам не знал. А не поехал я потому, что не хотел ссориться с вами.

— Спасибо, — сказала миссис Вивиш и погладила его руку. — А что вы намерены предпринять теперь? Не ссориться же со мной, — боюсь, что это было бы весьма сомнительным утешением.

— Собираюсь завтра утром уехать из Англии, — сказал Гамбрил.

— А! Классическое лекарство!.. Надеюсь, не охотиться на крупную дичь? — Она подумала о Гамбриле среди тикки-тикки и цеце. Он очень милый мальчик, очень милый, но... но что?

— Избави Бог! — воскликнул Гамбрил. — За кого вы меня принимаете? Крупная дичь! — Он откинулся на спинку стула и захохотал от всего сердца, в первый раз после вчерашнего вечера, после возвращения из Робертсбриджа. Тогда у него было такое чувство, что он никогда больше не будет смеяться. — Неужели вы можете представить меня в пробковом шлеме, с крупнокалиберным ружьем для охоты на слонов?

Миссис Вивиш приложила руку ко лбу.

— Я представляю себе вас, Теодор, — сказала она, — и я стараюсь думать, что вы будете выглядеть вполне естественно; но это потому, что у меня болит голова.

— Я еду сначала в Париж, — сказал Гамбрил. — После этого — не знаю. Я поеду туда, где можно сбывать Пневматические Брюки. Это — деловая поездка.

На этот раз, несмотря на головную боль, миссис Вивиш рассмеялась.

— Я собирался устроить прощальный банкет, — продолжал Гамбрил. — Мы проедемся перед обедом — конечно, если вы будете чувствовать себя достаточно хорошо — и соберем несколько человек друзей. Потом, в глубочайшем унынии, мы будем есть и пить. А утром, небритый и полный отвращения, я сяду в поезд на вокзале Виктория, благодаря судьбу за то, что покидаю Англию.

— Мы так и сделаем, — слабо и неукротимо сказала миссис Вивиш с кушетки, которая на этот раз и в самом деле была почти что смертным одром. — А пока что мы выпьем еще раз чаю, и вы будете занимать меня

разговором.

Принесли таннин. Гамбрил приготовился разговаривать, а миссис Вивиш слушать — слушать и время от времени смачивать виски одеколоном и вдыхать нюхательную соль.

Гамбрил заговорил. Он говорил о брачных обрядах осьминогов, о сложных церемониях, совершаемых в подводных зеленых гротах Индийского океана. При наличии шестнадцати ног сколько различных перемещений, комбинаций, объятий? И посреди каждого пучка ног — рот, похожий на клюв макао.

На обратной стороне Луны, как уверял его один приятель — мистик Умбиликов, души умерших в форме маленьких пузырьков, похожих на разваренное саго, громоздятся и громоздятся до тех пор, пока они не начинают сжимать и давить друг друга все сильнее и мучительней. В мире непосвященных эта давка на обратной стороне Луны известна под ошибочным наименованием ада. Что же до созвездий, то Скорпион был первым созвездием, которое обзавелось подобающим позвоночником. Ибо усилием воли он пожрал свой панцирь, он уплотнил его и перестроил внутри собственного тела и превратился таким образом в первое позвоночное. Это, как вы, вероятно, понимаете и сами, было памятным днем в космической истории.

Квартирная плата в этих новых домах на Риджент-стрит и Пиккадилли достигает трех или четырех фунтов за квадратный фут. Тем временем вся красота воплощенной мечты Нэша^[131] разрушалась, и снова хаос и варварство безраздельно воцарились даже на Риджент-стрит. Призрак Гамбрила Старшего расхаживал по комнате.

Кто живет дольше: тот, кто в течение двух лет принимает героин и умирает, или тот, кто живет на ростбифах, воде и картошке до девяноста пяти лет? Один пребывает свои двадцать четыре месяца в вечности. А все годы пожирателя ростбифов прогжиты им только во времени.

— Я могу рассказать вам все о героине, — сказала миссис Вивиш.

Леди Козерог, насколько он мог понять, по-прежнему принимает у себя в постели. Как восхитился бы Рубенс ее шелковыми подушками, ее гигантскими кочанами розовой капусты, ее круглыми розовыми жемчужинами, более крупными, чем те, которые капитан Немо нашел в достопамятной раковине. И теплое сухое трение тела о тело, когда она ходит, выставляя вперед сначала одну ногу, потом другую.

Кстати, об осьминогах: плавательные пузыри глубоководных рыб наполнены почти абсолютно чистым кислородом. C'est la vie.^[132] Гамбрил

пожал плечами.

На альпийских пастбищах кузнечики начинают свой полет, жужжа, как заводные. Потом эти бурые невидимки вдруг обнаруживаются, когда они поднимаются над цветами — быстрая синяя молния, летучая алая полоса. Потом цветные крылья закрываются надкрыльями, и они снова превращаются в невидимых скрипачей, трущихся нога об ногу, наподобие леди Козерог, у подножия огромных, как башни, цветов.

Продавцы поддельных антиков придают желтоватый оттенок своим средневековым изделиям из слоновой кости тем, что дают их на несколько месяцев толстым женщинам носить, как амулеты, на груди.

На итальянских кладбищах фамильные склепы делаются из стекла и железа, как теплицы.

Сэр Генри Гридль наконец женился на даме со свиным рылом.

Фреска «Воскресение из мертвых» работы Пьеро делла Франчески^[133] в Сан-Сеполькро — лучшая картина в мире, а тамошний отель вовсе не плох. Скрябин — Le Чайковский de nos jours.^[134] Самый скучный пейзажист — это Маршан. Самый лучший поэт...

— Скучно, — сказала миссис Вивиш.

— Может быть, я должен говорить о любви? — спросил Гамбрил.

— Хотя бы, — ответила миссис Вивиш и закрыла глаза. Гамбрил рассказал историю про Джо Питерса, Конни Астикот и Джими Баума. Историю про Лолу Кнопф и баронессу Гномон. Про Маргариту Радикофани, самого себя и пастора Мейе-ра. Про лорда Кеви и маленького Тоби Нобса. Когда он кончил рассказывать, он увидел, что миссис Вивиш заснула.

Это было не слишком лестно. Но, подумал он, немного поспать будет очень полезно для ее головной боли. И, зная, что, если он замолчит, она, вероятно, проснется, разбуженная неожиданным молчанием, он продолжал мирно разговаривать сам с собой.

— Когда я поеду в этот раз за границу, — продолжал он свой монолог, — я примусь всерьез за автобиографию. Номер в гостинице — лучшее место для работы. — Он задумчиво почесал в затылке и даже потянул себя за кончик носа, что было одной из его дурных привычек, которым он предавался в одиночестве. — Мои знакомые, — снова заговорил он, — подумают, что я пишу о двуколке, и о матери, и о цветах и так далее просто потому, что этим местом, — он почесал в затылке немного сильнее, чтобы показать себе, что он имеет в виду свою голову, — я знаю, что о таких вещах принято писать. Они сочтут меня бесцветным

подражателем великих писателей, тщетно пытающимся убедить себя и других, будто и я пережил все те душевные и духовные катастрофы, которые полагается переживать великим людям. И может быть, они будут правы. Может быть, «Жизнь Гамбрила» будет таким же явным Ersatz,^[135] как и «Жизнь Бетховена». С другой стороны, они могут с удивлением обнаружить, что это неподдельный товар. Тогда увидим! — Гамбрил медленно покачал головой и переложил два пенни из правого кармана брюк в левый. Он огорчился, обнаружив, что медяшки незаконно затесались в компанию серебряных монет. Серебро в правом кармане, медь — в левом. Это один из тех законов, нарушение которых приносит несчастье. — У меня предчувствие, — продолжал он, — что на днях я могу превратиться в святого. В неудачливого, колеблющегося святого, вроде потухающей свечки. Что же до любви — о да, о да, конечно! — что же до людей, с которыми я встречался, то я подчеркну, что я был знаком с большинством европейских знаменитостей и что я говорил о них то же, что сказал после своей первой любовной истории: только и всего?

— Вы в самом деле сказали такую вещь после вашей первой любовной истории? — спросила миссис Вивиш; она проснулась.

— А вы нет?

— Нет, я сказала: это все, это все на свете, это Вселенная. В любви бывает или все на свете, или ровно ничего. — Она закрыла глаза и почти немедленно снова заснула.

Гамбрил продолжал свой колыбельный монолог.

— «Эта прелестная книжечка»... Шотландец. «Этот винегрет непристойностей, сплетен и псевдопсихологии»... Эхо Дарлингтона. «Родной брат мистера Гамбрила — святой Франсуа Ксавье, его двоюродный брат — граф Рочестер, его троюродный брат — Человек Чувства, его четвероюродный брат — Давид Юм...» Придворный журнал. — Гамбрилу уже надоела эта шутка. — Подумать только, на что уходят мои таланты, — продолжал он, — подумать только. Herr Jesu, как восклицала в трудные минуты Fraulein Ниммернейн. Подумай, милая корова, подумай! Сейчас не время для травы. Подумай, милая корова, подумай же, подумай. — Он встал со стула и на цыпочках пробрался в другой конец комнаты, к письменному столу. Индийский кинжал лежал возле пресс-папье; миссис Вивиш пользовалась им как разрезательным ножом. Гамбрил взял его и повертел в руках. — Большой палец на лезвие, — сказал он, — и наноси удар, снизу вверх. Берегись. Сделай выпад. Проникает до рукояти. Отточен остро, — он провел двумя пальцами по лезвию, — направляй, пока не войдет до ручки. 3-зип. — Он положил

кинжал и пошел к своему стулу, по пути скорчив рожу перед зеркалом над камином.

В семь часов миссис Вивиш окончательно проснулась. Она потрянула головой, желая проверить, не перекачивается ли внутри черепа боль.

— У меня, кажется, все в порядке, — сказала она. Она вскочила на ноги. — Идем! — воскликнула она. — Я чувствую себя готовой на все.

— А я чувствую себя пищей для червей, — сказал Гамбрил. — Однако *Versiam' a tazza piena U generoso umor.*^[136] — Он принялся напевать Пуншевую Песню из «Роберта-дьявола», и под звуки этой наивно-веселой мелодии они вышли из дома.

Их такси в тот вечер обошлось им в несколько фунтов. Они частавили шофера сновать подобно челноку из одного конца Лондона в другой. Каждый раз, когда они проезжали через Пик-кадилли-сэркус, миссис Вивиш высовывалась из окошка посмотреть на световые рекламы, плясавшие нескончаемую пляску святого Витта над памятником графу Шефтсбери.

— Как я обожаю их! — сказала она, когда они проезжали мимо них в первый раз. — Эти колеса, вертящиеся до тех пор, пока из них не начинают сыпаться искры; этот гудящий мотор и эта чудесная бутылка портвейна, которая наполняет стакан и потом исчезает и потом появляется снова и снова наполняет стакан. Какое чудо!

— Какая гадость, — поправил ее Гамбрил. — Эти штуки — эпилептический символ всего, что есть в современности самого скотского и глупого. Посмотрите сначала на это свинство, а потом сюда. — Он показал на городскую пожарную часть на северной стороне площади. — Вот здесь стоит скромность, достоинство, красота, покой. А там мелькает, там приплясывает и корчится — что? Беспокойство, растерянность, отказ от мысли, все, что угодно, лишь бы не было тишины...

— Какой вы восхитительный педант! — Она отвернулась от окошка, положила руки ему на плечи и взглянула на него. — Вы ужасно смешной! — И она поцеловала его.

— Вы не заставите меня переменить мнение, — улыбнулся ей Гамбрил. — *Erpur' si muove*^[137] — я не сдаюсь, как Галилей. Они вертятся, и они отвратительны.

— Они — это я, — с чувством сказала миссис Вивиш. — Эти штуки — это я.

Сперва они проехали в конюшню Липиата. Под аркой в стиле Пиранези. Вербки для белья, протянутые от окна к окну через улицу, были

похожи на те канаты, которые составляют неотъемлемую и загадочную часть обстановки Настоящей Тюрьмы. В тупике воняло, ребята кричали; смех девчонок, похожий на лай гиены, гулко отдавался в узком проходе между стенами. В Гамб-риле моментально пробудилось все его чувство социальной несправедливости.

Запершись на весь день у себя в комнате, Липиат писал — писал о всей своей жизни, о своих идеях и о своих идеалах, писал Майре. Стопка исписанных листков росла и росла. К вечеру он закончил: он написал все, что хотел. Он доел остатки вчерашней булки и выпил воды, так как вдруг вспомнил, что целый день жил на пище святого Антония. Потом он приготовился думать: он растянулся на закраине колодца и посмотрел вниз, в безглазую тьму.

От времен войны у него остался револьвер. Вынув его из письменного стола, где он хранился, Липиат зарядил его, положил на ящик, служивший ему ночным столиком, и растянулся на кровати. Он лежал совершенно неподвижно, ослабив мускулы, тяжело дыша. Мысленно он видел себя мертвым. Посмешище! Единственное, что оставалось, — это броситься в колодец.

Он взял в руки револьвер, он посмотрел внутрь ствола. Черный и глубокий, как колодец. Дуло, приложенное ко лбу, было как холодный рот.

В мысли о смерти не было ничего нового. Не было даже возможности подумать о ней что-нибудь новое. Все те же старые мысли, все те же страшные старые вопросы.

Приложить холодный рот ко лбу, пальцем надавить собачку. И вот он уже падает, падает. И уничтожающий грохот выстрела будет таким же, как отдаленный звук смерти на дне колодца. А после, когда все смолкнет? Старый вопрос, по-прежнему тот же самый.

После он будет лежать, истекая кровью. Мухи будут пить его кровь, точно красный мед. А потом придут люди и вынесут его ногами вперед, и следователь посмотрит на него в морге и объявит, что он покончил с собой в припадке сумасшествия. А потом его зароят в черную яму, зароят, и он сгниет.

А кроме этого, будет что-нибудь еще? В мыслях, в вопросах не было ничего нового. И ответа по-прежнему не было.

В комнате становилось темно; краски пропадали, очертания предметов расплывались. Мольберт с портретом Майры черным силуэтом выделялся на фоне окна. Близкое и далекое сливались, делались неразличимыми, становились частью тьмы. Бледные сумерки за окном сгущались. Ребята пронзительно кричали, предаваясь играм под зелеными газовыми

фонарями. Безрадостный, злобный смех девчонок издевался и призывал. Липиат протянул руку и дотронулся до револьвера.

Внизу, у наружной двери, раздался резкий стук. Он поднял голову, прислушался, уловил звук двух голосов, мужского и женского. Голос Майры он узнал сразу; второй голос, решил он, принадлежит, вероятно, Гамбрилу.

— Как ужасно, что есть люди, которые живут в подобных местах, — говорил Гамбрил. — Посмотрите на этих детей. Следовало бы карать по закону тех, кто производит детей на этой улице.

— Они всегда принимают меня за Гамельнского Крысолова, — сказала миссис Вивиш.

Липиат встал с постели и прокрался к окну. Ему было слышно все, что они говорили.

— Сомневаюсь, чтобы Липиат был дома. Света нет.

— Но у него плотные занавеси, — сказала миссис Вивиш, — и я знаю наверно, что стихи он пишет всегда в темноте. Может быть, он пишет стихи.

Гамбрил рассмеялся.

— Постучите еще, — сказала миссис Вивиш. — Поэты никогда не замечают ничего вокруг, знаете. А Казимир всегда поэт.

— II Poeta^[138] — с большой буквы. Как д'Аннунцио в итальянских газетах, — сказал Гамбрил. — Вы знаете, что у д'Аннунцио есть книги, напечатанные на прорезиненной материи, специально для ванны? — Он еще раз постучал в дверь. — Я прочел это как-то на днях в «Corriere della sera».^[139] Его любимое чтение в ванне — это «Цветочки Франциска Ассизского». Ав мыльнице у него лежит вечное перо со специальными чернилами, которые не боятся воды, так что он может, когда ему вздумается, добавить парочку своих собственных Fioretti.^[140] Надо будет посоветовать это Казимиру.

Липиат стоял у окна, скрестив руки на груди, и слушал. Как легко они перебрасываются его жизнью, его сердцем, точно теннисным мячом! Он вспомнил все те случаи, когда он легкомысленно злословил о других людях. Его собственная особа всегда казалась при этих разговорах священной. В теории знаешь, что другие говорят о вас так же пренебрежительно, как вы сами говорите о них. На практике же этому трудно поверить.

— Бедный Казимир! — сказала миссис Вивиш. — Боюсь, его выставка кончилась провалом.

— Безусловно, — сказал Гамбрил. — Полный и абсолютный провал. Я предложил своему капиталисту использовать Л ипиата для наших реклам. Они великолепно получатся у него. И у него в кармане заведутся деньги.

— Самое худшее в этом то, — сказала миссис Вивиш, — что такое предложение смертельно обидит его. — Она подняла глаза на окно. — Не знаю почему, — сказала она, — но у этого дома ужасно мертвый вид. Надеюсь, с бедным Казимиром ничего не случилось. У меня такое чувство, что с ним что-то неладно.

— Ах, эта пресловутая женская интуиция! — засмеялся Гамбрил. Он снова постучал.

— Не могу отделаться от чувства, что он лежит там мертвый, или в бреду, или еще что-нибудь такое.

— А я не могу отделаться от чувства, что он пошел куда-нибудь обедать. Боюсь, нам придется отказаться от него. Очень жаль. В сочетании с Меркаптаном он очень хорош. Как медведь и волкодав. Или скорее как медведь и пудель, как медведь и кинг-чарльз — или как там называются эти маленькие собачки, которых берут с собой в постель дамы на французских гравюрах восемнадцатого века. Идемте.

— Постучите-ка еще раз, — сказала миссис Вивиш. — Может быть, он действительно занят, или спит, или болен. — Гамбрил постучал. — Теперь слушайте. Шш.

Они замолчали; вдали продолжали галдеть ребята. Послышалось громкое цоканье копыт: в ворота одной из ближайших конюшен въехала повозка. Липиат стоял неподвижно, скрестив руки, опустив голову на грудь. Секунды шли.

— Ни звука, — сказал Гамбрил. — Должно быть, нет дома.

— Очевидно, — сказала миссис Вивиш.

— Тогда идемте. Мы зайдем сейчас к Меркаптану.

Он слышал их шаги на улице, слышал, как захлопнулась дверца такси. Был пущен мотор. Сначала громко, потом все тише, и наконец еле слышно машина удалялась, набирая скорость. Ее шум растворился в общем шуме города. Они уехали. Липиат медленно зашагал обратно к своей постели. Он вдруг пожалел, что не сошел вниз в ответ на последний стук. Эти голоса — с края колодца он обернулся, прислушиваясь к ним; с самого края колодца. Он лежал совсем тихо в темноте; и ему казалось теперь, что он отделился от земли, что он один, что он покинул маленькую темную комнату и витает в безграничной тьме где-то вне, по ту сторону всего. Его ум успокоился; он начал думать о себе, обо всем, что он знал, точно со стороны, точно откуда-то издалека.

— Божественные огни! — сказала миссис Вивиш, когда они снова проезжали через Пиккадилли-сэркус.

Гамбрил промолчал. В прошлый раз он сказал о них все, что мог.

— А вот и еще такая же реклама, — обрадовалась миссис Вивиш, когда они проезжали возле Бэрлингтон-Хауса, мимо фонтана Сандемановского портвейна. — Если бы у них был еще автоматический джаз, приводимый в действие тем же механизмом! — с сожалением сказала она.

Зеленый парк оставался пустынным и заброшенным в лунном сиянии.

— Напрасная красота, — сказал Гамбрил, когда они проезжали мимо. — Нужно быть счастливым влюбленным, чтобы наслаждаться летней ночью под деревьями. — Интересно, подумал он, где теперь Эмили. Они сидели молча; машина везла их вперед.

Мистер Меркаптан, по-видимому, уехал из Лондона. Его домоправительница рассказала им длинную историю. Настоящий большевик пришел вчера, ворвался в дом. И она слышала, как он кричал на мистера Меркаптана в его собственной комнате. А потом, к счастью, пришла какая-то дама, и большевик ушел. А сегодня утром мистер Меркаптан вдруг, ни с того ни с сего, решил уехать дня на два, на три. И она ничуть не удивилась бы, если бы оказалось, что его отъезд имеет какое-то отношение к этому страшному большевику. Хотя, конечно, мистер Пастер ничего об этом не говорил. Но она помнит его вот таким, и он вырос на ее глазах, так что она-то уж, можно сказать, знает его вдоль и поперек, и ей нетрудно догадаться, почему он поступил так, а не как-либо иначе. Лишь с великим трудом им удалось вырваться от миссис Голди.

Тем временем, пребывая в полной безопасности за спиной целой армии лакеев и швейцаров, мистер Меркаптан беззаботно обедал в Оксхэнгере со своим вернейшим другом и пламеннейшей поклонницей, миссис Спигл. Ей он посвятил свои блестящие миниатюры «Любовь среди Толстокожих»; ибо именно миссис Спигл заметила вскользь как-то за завтраком, что человеческий род следует разделить на два основных вида — на Толстокожих и на тех, чья кожа, подобно коже ее, миссис Спигл, а также мистера Меркаптана и некоторых других, тонка и «восприимчива», как выразил ее мысль мистер Меркаптан, «ко всем ласкам, и в том числе к ласкам чистого разума». Мистер Меркаптан подхватил это случайно брошенное замечание и развил его в целую теорию. Толстокожих варваров он разбил на целый ряд разновидностей: Тупоголовые, Безголовые, Богофилы, Трудолюбивые — деловитые, сплоченные и жесткие, как навозные жуки, — Филантропы, Русские и так далее. Все это было очень

остроумно и тонко-ядовито. В Оксхэнгере мистер Меркаптан был всегда желанным гостем. Когда по городу бегают на свободе опасные толстокожие вроде Липиата, благоразумно было воспользоваться этой возможностью. Он знал, что миссис Спигл встретит его с распростертыми объятиями. Так оно и было. Он явился к самому обеду. Миссис Спигл и Мэйзи Фар-лонгер уже кончали рыбу.

— Меркаптан! — Казалось, миссис Спигл вложила в это восклицание всю душу. — Садитесь, — продолжала она, воркуя как горлица. Пение слышалось в каждом ее слове. Она посадила его рядом с собой. — Н'вы пришли как н'раз вовремя, чтобы рассказать нам все о н'ваших лесбийских н'похождениях.

И мистер Меркаптан, разразившись своим богато оркестрованным хохотом — писк и рычание вместе, — уселся и наполовину по-французски — отчасти *a cause des valets*,^[141] сказал он, кивнув на мажордома и лакея, отчасти же потому, что этот язык более соответствовал подобным излияниям, — принялся, прерываемый и подстегиваемый воркованьем миссис Спигл и радостными возгласами Мэйзи Фарлонгер, подробно излагать, со всем возможным остроумием, свои похождения на греческих островах. Как приятно, говорил он себе, находиться среди подлинно цивилизованных людей! В этом блаженном доме с трудом можно поверить, что существует такая порода людей, как Толстокожие.

А Липнат по-прежнему лежал, вытянувшись на своей постели, витая, как ему самому казалось, где-то далеко, в темных межзвездных пустотах. Оттуда, из этих далеких, абстрактных пространств, он, казалось, смотрел бесстрастным взглядом на свое тело, растянувшееся на закраине отвратительного колодца; смотрел назад, на свое прошлое. Все, даже его неудачи, казалось таким маленьким и прекрасным; страшные катаклизмы казались не больше чем мелкой рябью; от всех воплей к нему доносились только призрачные, нежно-гармоничные звуки.

— Нам не везет, — сказал Гамбрил, когда они снова сели в такси.

— Не знаю, — сказала миссис Вивиш, — может быть, нам как раз очень везет. Вам в самом деле хотелось повидать Меркаптана?

— Ни капельки, — сказал Гамбрил. — А вам в самом деле хочется видеть меня?

Миссис Вивиш опустила уголки своего рта в страдальческой улыбке и не ответила.

— Разве мы не проедем в этот раз через Пиккадилли-сэркус? — спросила она. — Мне хотелось бы еще раз посмотреть на огни. Они дают человеку на время иллюзию веселья.

— Нет, нет, — сказал Гамбрил, — мы едем прямо к вокзалу Виктория.

— Может быть, сказать шоферу, чтобы он?..

— Ни в коем случае.

— А, ну что ж, — сказала миссис Вивиш. — Может быть, оно и лучше без возбуждающих средств. Помню, когда я была очень молода и когда я впервые начала выходить в свет, как я гордилась тем, что открыла шампанское. Мне казалось, что быть чуточку пьяной удивительно приятно. Что этим можно очень гордиться. И в то же время как ненавидела я вино! Мне был противен его вкус. Порой, когда мы с Каллиопой мирно обедали вдвоем, и не было мужчин, и не нужно было соблюдать декорум, мы угощались роскошным самодельным лимонадом или даже малиновым сиропом с содовой. Дорого бы я дала, чтобы снова пережить то восхитительное ощущение, какое вызывал во мне малиновый сироп!

Колмэн оказался дома. После небольшой задержки он сам открыл дверь. Он был в пижаме, а лицо его было запачкано красно-коричневыми пятнами, его борода была замарана тем же самым высохшим красящим веществом.

— Что вы с собой сделали? — спросила миссис Вивиш.

— Омылся в крови агнца, только и всего, — ответил Колмэн, улыбаясь, и его глаза заискрились голубыми огоньками, как электрическая машина.

Дверь в противоположном конце маленькой передней была открыта. Глядя через плечо Колмэна, Гамбрил видел ярко освещенную комнату и посреди нее подобный большому четырехугольному острову широкий диван. На диване, спиной к двери, полулежала энгровская одалиска, только более тонкая, более змеевидная, более похожая на гибкого розового боа-констриктора. Большая темная родинка на ее правом плече показалась Гамбрилу очень знакомой. Но когда, испуганная громкими голосами позади себя, одалиска повернулась и увидела в полном замешательстве, что бородатый дикарь оставил дверь открытой и что ее могли увидеть или, вернее, что ее видели какие-то чужие люди, — раскосые глаза с тяжелыми белыми веками, тонкий нос с горбинкой, широкий и полный рот показались еще более знакомыми, хотя они были видны всего лишь на какую-нибудь долю секунды. Лишь на какую-то долю секунды одалиска предстала в облике Розы. Потом ее рука лихорадочно схватилась за одеяло, розовый боа-констриктор изогнулся и перевернулся; и через несколько секунд там, где лежала одалиска, оказался длинный предмет, завернутый в белую простыню, похожий на жокея с проломленным черепом, когда его уносят с круга.

Ну, знаете... Гамбрил был просто-таки возмущен; он не ревновал, но был поражен и справедливо возмущен.

— Что же, когда вы кончите ваше омовение, — сказала миссис Вивиш, — вы, надеюсь, не откажетесь поужинать с нами. — Колмэн стоял между ней и дверью; миссис Вивиш не видела, что было в комнате.

— Я занят, — сказал Колмэн.

— Оно и видно. — Гамбрил говорил насколько мог саркастически.

— Разве видно? — спросил Колмэн и обернулся. — А ведь в самом деле видно. — Он сделал шаг назад и закрыл дверь.

— Это последний ужин Теодора, — умоляла миссис Вивиш.

— Все равно, даже если это его последняя вечеря, — сказал Колмэн, радуясь случаю немного покощунствовать. — А что, разве его будут распинать?

— Нет, он всего лишь уезжает за границу, — сказал Гамбрил.

— У него разбито сердце, — объяснила миссис Вивиш.

— А, финал платонического щупанья? — И Колмэн разразился своим искусственным демоническим хохотом.

— Да, пожалуй, — мрачно сказал Гамбрил.

Выведенная из своего первоначального неловкого положения тем, что закрылась дверь, Роза откинула угол одеяла и высунула голову, руку и плечо с родинкой. Она осмотрелась, широко раскрыв свои раскосые глаза. Она слушала, полуоткрыв губы, заглушённые голоса, доносившиеся из-за двери. Ей казалось, что она просыпается, что она впервые слышит этот отрывистый хохот, впервые смотрит на эти белые голые стены и на эту привлекательную и страшную картину. Где она? Что все это значит? Роза приложила руку ко лбу и попыталась думать. Ее мыслительный процесс состоял обычно из ряда картин; одна за другой проплывали они перед ее глазами и сейчас же исчезали.

Ее мать, снимающая пенсне, чтобы протереть стекла, — и ее взгляд сразу становился нетвердым, мутным и беспомощным. «Нужно всегда давать джентльмену перелезть через забор первому», — сказала она и снова надела пенсне. За стеклами ее взгляд сейчас же становился ясным, пронизывающим, твердым и внушительным. Роза боялась ее взгляда. Он видел, как она перелезала через забор раньше Уилли Хоскинса; юбка задралась слишком высоко.

Джемс, читающий книгу за столом; его тяжелая круглая голова, подпираемая рукой. Она подошла сзади и обняла его за шею. Очень осторожно, не поднимая глаз от страницы, он разнял ее руки и тихонько оттолкнул ее — это было не больше чем намек, это только

подразумевалось, — показывая ей, что он в ней не нуждается. Она ушла в свою розовую комнату и заплакала.

В другой раз Джемс покачал головой и терпеливо улыбнулся. «Ты никогда ничему не научишься», — сказал он. Она ушла к себе в комнату и тоже заплакала.

В другой раз они вместе лежали в постели, в розовой постели; только не было видно, что она розовая, потому что было темно. Они лежали очень тихо. Ей было тепло и хорошо и ничего не хотелось. Иногда физическое воспоминание о наслаждении точно прикасалось к ее нервам, и она вздрагивала, она вся передергивалась. Джемс дышал так, точно он заснул. Вдруг он зашевелился. Он два-три раза погладил ее по плечу, ласково и деловито. «Я знаю, что это значит, — сказала она, — когда ты меня так поглаживаешь». И она погладила его, раз-два-три, очень быстро. «Это значит, что ты собираешься спать». — «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Думаешь, я тебя не изучила за все это время? Я знаю это поглаживание наизусть». И вдруг все ее теплое, тихое ощущение счастья испарилось; оно ушло без следа. «Я всего только машина для спанья, — сказала она. — Вот что я такое для тебя». У нее было такое чувство, точно она сейчас расплчется. Но Джемс только засмеялся и сказал: «Глупости!» — и неуклюже вытащил руку из-под ее спины. «Спи», — сказал он и поцеловал ее в лоб. Потом он встал с постели, и она слышала, как он неуклюже натывается на мебель в темноте. «Черт!» — выругался он. Потом он отыскал дверь, открыл ее и вышел.

Она подумала о тех историях, которые она сочиняла, когда ходила за покупками. Изысканная леди; поэты; необыкновенные приключения.

У Тото были чудесные руки.

Она увидела, она услышала мистера Меркаптана, читающего свой «опыт». Бедный папа, читающий вслух статьи из «Хиб-бертова журнала»!

А теперь этот окровавленный дикарь. Он тоже мог бы читать вслух «Хиббертов журнал» — только задом наперед, так сказать. На руке у нее был синяк. «Вы думаете, в этом нет ничего греховного и отвратительного? — спросил он. — Ошибаетесь: есть». Он расхохотался и принялся целовать ее и раздел ее и ласкал. И она плакала, она боролась, она старалась вырваться; но под конец ею овладело наслаждение, более острое и мучительное, чем все, что ей доводилось испытывать. И все время Колмэн склонялся над ней, и борода у него была в крови, и он улыбался ей в лицо и шептал: «Ужасно, ужасно, стыд и позор!» Она лежала в каком-то оцепенении. Потом вдруг раздался звонок. Бородатый ушел от нее. А теперь она проснулась, и это — ужас, это — позор. Она вздрогнула; она

соскочила с постели и стала проворно одеваться.

— Нет, в самом деле, неужели вы не придете? — настаивала миссис Вивиш. Она не привыкла, чтобы ей отвечали отказом на ее настойчивые просьбы. Ей это не нравилось.

— Нет. — Колмэн покачал головой. — Пусть это будет последняя вечеря. Но у меня здесь свидание с Марией Магдалиной.

— Ах, женщина! — сказала миссис Вивиш. — Так бы сразу и сказали.

— Зачем мне было говорить, — сказал Колмэн, — раз я оставил дверь открытой?

— Фи, — сказала миссис Вивиш. — По-моему, это очень противно. Идемте отсюда, — она потянула Гамбрила за рукав.

— До свиданья, — вежливо сказал Колмэн. Он запер за ними дверь и пошел назад через маленькую прихожую.

— Как! Собираетесь уходить? — воскликнул он, входя в комнату. Роза сидела на краю постели и надевала туфли.

— Уйдите, — сказала она. — Вы мне противны.

— Но это же великолепно, — объявил Колмэн. — Все идет так, как нужно, так, как я хотел. — Он сел подле нее на диван. — Право же, — сказал он с восхищением, — какие красивые ноги!

Роза отдала бы все на свете, лишь бы очутиться сейчас в Блок-сем-гарденс. Пусть даже Джемс живет только своими книгами... Все на свете.

— На этот раз, — сказала миссис Вивиш, — мы просто-таки должны проехать через Пиккадилли-сэркус.

— Это будет всего на каких-нибудь две мили дальше.

— Подумаешь! Это не так уж много.

Гамбрил высунулся в окошко и дал инструкции шоферу.

— И к тому же мне нравится кататься просто так, — сказала миссис Вивиш. — Мне нравится ехать ради того, чтобы ехать. Это похоже на Последнюю Поездку Вдвоем. Милый Теодор! — Она положила руку ему на ладонь.

— Благодарю вас, — сказал Гамбрил и поцеловал ее руку. Маленькое такси, жужжа, мчалось вдоль пустого Пелл-Мелла. Они молчали. Сквозь плотный воздух видны были самые яркие из звезд. Это был один из тех вечеров, когда люди чувствуют, что истина, добро и красота — одно. Утром, когда они излагают свое открытие на бумаге, когда другие читают его, оно представляется до крайности смешным. Это был один из тех вечеров, когда снова переживаешь первую любовь. Это тоже кажется немножко смешным на другое утро.

— А вот и мои огни, — сказала миссис Вивиш. — Блестят, мигают,

гаснут, — да, полная иллюзия веселости, Теодор. Полная иллюзия.

Гамбрил остановил такси.

— Сейчас половина девятого, — сказал он. — Если так будет продолжаться дальше, мы останемся голодными. Подождите минутку.

Он забежал в магазин и через минуту вышел, неся пакет сандвичей с копченой лососяной, бутылку белого вина и стакан.

— Нам еще далеко ехать, — объяснил он, садясь в такси. Они съели сандвичи, они выпили вино. Такси катилось и катилось.

— Какое чудо, — сказала миссис Вивиш, когда они свернули на Эджвер-род.

Отполированная колесами и блестящая, как драгоценная старая бронза, дорога расстилалась перед ними, отражая фонари. У нее был заманчивый вид дороги, ведущей в никуда.

— Когда-то на этой улице были удивительно приятные паноптикумы, — с нежностью вспомнил Гамбрил. — Маленькие лавчонки на задних дворах, где за два пенса можно было увидеть настоящую русалку, которая оказывалась чучелом моржа, и татуированную леди, и карлика, и живые статуи, и мы, ребята, думали, что это будет что-нибудь очень голое и волнующее, а потом оказывалось, что это жалкие безработные официантки, одетые в плотное розовое трико.

— Как вы думаете, теперь их больше нет здесь? — спросила миссис Вивиш.

Гамбрил покачал головой.

— Они ушли вместе с победным шествием цивилизации. Но куда? — Он вопросительно развел руками. — Не знаю, в каком направлении шествует цивилизация — то ли к северу, к Килбэр-ну и Голдерс-грин, то ли за реку, к Элефанту, Клафаму и Сай-денхэму и ко всем этим таинственным пригородам. Так или иначе, плата за помещения здесь повысилась; и больше нет настоящих русалок на Эджвер-род. Да, нам будет что порассказать нашим детям!

— Вы думаете, они у нас когда-нибудь будут? — спросила миссис Вивиш.

— Кто знает?

— Такие вещи нужно бы знать, — сказала миссис Вивиш. — Дети — это будет самая отчаянная попытка из всех. Самая отчаянная и, может быть, единственная, имеющая шансы на успех. История знает случаи... С другой стороны, она знает другие случаи, доказывающие обратное. — Она часто думала об этой попытке. Было столько основательных доводов за то, чтобы не делать ее. Но когда-нибудь, может быть — она всегда формулировала

свою мысль именно так.

Такси свернуло с шоссе на более тихие и темные улицы.

— Где мы теперь? — спросила миссис Вивиш.

— Въезжаем в Долину Девы. Скоро мы будем на месте. Бедный старина Шируотер! — Он усмехнулся. Чужая влюбленность всегда смешна.

— Интересно, мы его застанем? — Занятно было бы снова встретиться с Шируотером. Ей нравилось слушать, как он говорит с ученым видом, похожий на ребенка. Но когда ребенок ростом в шесть футов, шириной в три и толщиной в два, когда он пытается влезть всеми четырьмя ногами в вашу жизнь — тогда, право же, нет... «Чего вы хотели от меня?» — спросил он. «Просто посмотреть на вас», — ответила она. Просто посмотреть; больше ничего: мюзик-холл, не будуар.

— Приехали. — Гамбрил вылез из такси и позвонил в звонок третьего этажа.

Дверь открыла маленькая горничная нахального вида.

— Мистер Шируотер в амбулатории, — сказала она в ответ на вопрос Гамбрила.

— В лаборатории? — переспросил он.

— В госпитале. — Теперь все ясно.

— А миссис Шируотер дома? — коварно спросил он. Маленькая горничная покачала головой.

— Я ее ожидала, но она не вернулась к обеду.

— Не будете ли вы любезны передать ей, когда она вернется, — сказал Гамбрил, — что мистер Тото очень сожалеет, что не успел поговорить с ней, когда увидел ее сегодня вечером в Пимлико.

— Мистер — кто?

— Мистер Тото.

— Мистер Тото сожалеет, что не успел поговорить с миссис Шируотер, когда он видел ее сегодня вечером в Пимлико. Хорошо, сэр.

— Не забудете? — сказал Гамбрил.

— Нет, не забуду.

Он вернулся к машине и объяснил, что они снова проехали зря.

— Тем лучше, — сказала миссис Вивиш. — Если бы мы кого-нибудь застали, пропало бы это чувство Последней Прогулки Вдвоем. А это было бы грустно. И вечер такой хороший. И знаете, мне кажется, что на этот раз я могу обойтись без моих огней. Что, если бы мы просто покатались немного?

Но Гамбрил не мог этого допустить.

— Мы еще не поели как следует, — сказал он и дал шоферу адрес

Гамбрила Старшего.

Гамбрил Старший сидел на своем железном балкончике среди горшков с высохшей землей, в которых некогда росли герани, покуривал трубку и серьезно смотрел в расстилавшуюся перед ним тьму. Скворцы, расположившиеся гроздьями на четырнадцати платанах сквера, уже спали. Не было слышно ни звука, только шелестела листва. Но иногда, примерно каждый час, птицы просыпались. Что-то — может быть, сильный порыв ветра, может быть, приятный сон с червяками или кошмар с кошками, снившийся одновременно всей стае, — внезапно пробуждало их. И тогда они начинали говорить все разом, громкими пронзительными голосами, в продолжение, может быть, полминуты. Потом они все моментально засыпали, и опять не было слышно ни звука, только шелестела колеблемая ветром листва. В такие минуты мистер Гамбрил вытягивал шею, напрягал зрение и слух в надежде увидеть, услышать что-то — что-то важное, значительное, объясняющее поведение птиц. Конечно, это ему никогда не удавалось; но тем не менее он был счастлив.

Мистер Гамбрил принял их на балконе с утонченной вежливостью.

— Я только что думал приниматься за работу, — сказал он. — Но теперь, поскольку пришли вы, у меня есть предлог, чтобы посидеть еще немного здесь. Я в восторге.

Гамбрил Младший сошел вниз посмотреть, что можно раздобыть в смысле еды. Пока он ходил, его отец рассказал миссис Вивиш о тайнах птиц. Восторженно рассказывал он ей — и легкий шелк его седеющих волос взлетал и падал от порывистых жестов — о том, как собираются, неведомо где, большие стаи, как они летят по золотому небу, оставляя здесь — небольшой отряд, там — целый легион, летят до тех пор, пока все не находят свои постоянные места ночевки и от стаи не остается ни одной птицы. В его изложении этот вечерний полет принимал эпические размеры, словно это было переселение народов или движение армии.

— И мое твердое убеждение, — сказал Гамбрил Старший, расцвечивая красками свой эпос, — что они пользуются каким-то видом телепатии, каким-то способом непосредственно передавать друг другу мысли. Когда наблюдаешь за ними, невольно приходишь к этому заключению.

— Очень милое заключение, — сказала миссис Вивиш.

— Этой способностью, — продолжал Гамбрил Старший, — обладаем, я думаю, мы все. Все животные. — Движением руки он показал на себя, на миссис Вивиш и на невидимых птиц на платанах. — Почему мы больше не пользуемся ею? Вопрос напрашивается сам собою. По той простой причине, моя дорогая юная леди, что полжизни мы общаемся с

предметами, не обладающими сознанием, — с предметами, с которыми невозможно поддерживать телепатические сношения. Отсюда развитие пяти чувств. У меня есть глаза, не дающие мне наткнуться на уличные фонари, уши, предупреждающие меня, что я нахожусь поблизости от Ниагары. И доведя эти орудия до высокой степени совершенства, я применяю их же при общении с другими существами, обладающими сознанием. Я не развиваю своих телепатических способностей, предпочитая пользоваться сложной и громоздкой системой символов, чтобы сообщить вам мою мысль при посредстве ваших органов чувств. У некоторых особей, однако, эта способность развита от природы настолько — подобно музыкальности, или способности к математике, или к игре в шахматы, — что они невольно входят в непосредственное соприкосновение с сознанием других людей, хотя бы они этого или нет. Если бы мы умели пробуждать и воспитывать эту скрытую способность, большинство из нас могло бы сделаться довольно сносными телепатами, точно так же, как большинство из нас при желании может сделаться довольно сносными музыкантами, шахматистами и математиками. Конечно, всегда будет некоторое количество людей, не способных общаться непосредственно. Точно так же, как есть люди, не способные отличить гимн «Правь, Британия» от баховского концерта D-minor для двух скрипок, и есть люди, не способные понять природу алгебраического знака. Обратите внимание на всеобщее развитие музыкальности и математических способностей за какие-нибудь двести лет. К двадцать первому столетию, я думаю, все мы станем телепатами. А тем временем эти очаровательные птицы опередили нас. Будучи не настолько умными, чтобы изобрести язык или выразительную пантомиму, они нашли способ сообщать свои простые мысли непосредственно и немедленно. Они все засыпают одновременно, просыпаются одновременно, говорят одно и то же одновременно; они одновременно меняют направление во время полета. Без вожака, без команды, все вместе, в полном унисоне. Когда я сижу здесь по вечерам, мне иногда кажется, что я чувствую, как их мысли ударяются о мою мысль. Это случилось со мной раз или два; я знал, за секунду до этого, что птицы сейчас проснутся и начнут свою полуминутную болтовню в темноте. Погодите! Шш! — Гамбрил Старший откинул голову, прижал руку ко рту, точно приказывая себе замолчать, он мог заставить весь мир исполнить этот приказ. — По-моему, они сейчас проснутся. Я это чувствую.

Он замолчал. Миссис Вивиш посмотрела на темные деревья и прислушалась. Прошла целая минута. Потом старый джентльмен весело расхохотался.

— Глубочайшее заблуждение! — сказал он. — Никогда они так крепко не спали.

Миссис Вивиш тоже рассмеялась.

— Может быть, они передумали как раз тогда, когда просыпались, — сказала она.

Появился Гамбрил Младший; его сопровождал звон стаканов и легкое постукивание фарфора. Он держал в руках поднос.

— Холодное мясо, — сказал он, — и салат, и кусок холодного яблочного пирога. Могло быть хуже.

Они придвинули стулья к рабочему столу мистера Гамб-рила Старшего, и там, среди писем и неоплаченных счетов и эскизов герцогских дворцов, они поели холодного мяса и яблочного пирога и выпили двухшиллингового *vin ordinaire*^[142] этого дома. Гамбрил Старший — он уже поужинал — посматривал на них с балкона.

— Я рассказывал тебе, — сказал Гамбрил Младший, — что вчера вечером мы видели сына мистера Портыюза — пьяного в доску?

Гамбрил Старший воздел руки.

— Если бы ты знал, сколько несчастий причинил этот юный кретин!

— А что он сделал?

— Проиграл в карты не знаю сколько взятых взаймы денег. А у бедного Портыюза нет никаких сбережений — даже теперь. — Мистер Гамбрил покачал головой и принялся расчесывать и сучить бородку. — Это ужасный удар, но Портыюз, конечно, сохраняет невозмутимое спокойствие и твердость... Вот! — Гамбрил Старший прервал себя и поднял руку. — Слушайте!

На четырнадцать платанах скворцы вдруг проснулись.

Поднялся страшный галдеж, как во время бурного заседания итальянского парламента. Потом все смолкло. Гамбрил Старший слушал как зачарованный. Его лицо, когда он повернул его к свету, было одна сплошная улыбка. Его волосы растрепались, казалось, сами по себе, изнутри, так сказать; он откинул их со лба.

— Вы их слышали? — обратился он к миссис Вивиш. — Интересно, о чем они могут разговаривать в такой поздний час?

— А вы чувствовали, что они готовы проснуться? — осведомилась миссис Вивиш.

— Нет, — чистосердечно признался Гамбрил Старший.

— Когда мы кончим, — с набитым ртом говорил Гамбрил Младший, — ты обязательно покажешь Майре свой макет Лондона. Она будет в восторге — в нем не хватает только электрических подвижных

реклам.

У его отца вдруг сделался очень смущенный вид.

— Не думаю, чтобы он мог очень заинтересовать миссис Вивиш, — сказал он.

— Что вы, мне очень интересно. Серьезно, — заявила она.

— Да, собственно говоря, его здесь нет. — Гамбрил Старший принялся ожесточенно дергать себя за бородку.

— Его здесь нет? Что же с ним случилось?

Гамбрил Старший не стал объяснять. Он попросту пропустил вопрос сына мимо ушей и снова заговорил о скворцах. Позднее, однако, когда Гамбрил и миссис Вивиш готовились уходить, старик отвел сына в сторону и зашептал объяснения.

— Мне не хотелось распространяться об этом перед чужими, — сказал он, как будто речь шла о незаконном ребенке прислуги или о починке ватерклозета. — Но дело в том, что я его продал. В музее Виктории и Альберта давно прослышали, что я делаю макет; они все время хотели его приобрести. И я отдал его им.

— Но почему? — удивленно спросил Гамбрил Младший. Он знал, с какой отеческой нежностью — нет, более чем отеческой: он был уверен, что отец больше привязан к своим макетам, чем к сыну, — с какой гордостью он смотрел на этих детей своего духа.

Гамбрил Старший вздохнул.

— Виноват этот юный кретин.

— Какой юный кретин?

— Сын Портьюза, конечно. Видишь ли, Портьюзу пришлось продать, вместе с другими вещами, свою библиотеку. Ты не имеешь понятия, как много это значит для него. Все эти бесценные книги. Собранные ценой таких лишений. Мне захотелось купить некоторые из них, самые лучшие, для него. В музее мне дали очень хорошую цену. — Он вышел из угла и бросился помогать миссис Вивиш надеть пальто. — Разрешите мне, разрешите, — сказал он.

Медленно и задумчиво Гамбрил Младший вышел вслед за ним. По ту сторону добра и зла? Во имя ухвертки... Пузатый пони бежал рысцой. Дикий водосбор, свисающий в тенистой роще орешника, крючковые шпоры, воздушно-пурпурные шлемы. Двенадцатая соната Моцарта была как инсектицид: ухвертки не заводились в ней. Грудь Эмили были твердые и остроконечные, и под конец она заснула совсем спокойно. В свете звезд добро, истина и красота становились одним. Напиши об этих открытиях в газетах, quos, утром, legimus sacantes.^[143] Они спустились по лестнице.

Такси ждало у дверей.

— Опять Последняя Поездка, — сказала миссис Вивиш.

— Госпиталь Голгофы, Саутверк, — сказал Гамбрил шоферу и вошел вслед за ней внутрь.

— Едем, едем, едем, — повторила миссис Вивиш. — Мне нравится ваш отец, Теодор. Как-нибудь, в один прекрасный день, он улетит вместе с птицами. А как это мило со стороны скворцов просыпаться воттак, среди ночи, ради того только, чтобы его позабавить. Особенно если принять во внимание, как неприятно, когда тебя будят ночью. Куда мы едем?

— К Шируотеру, в его лабораторию.

— А это далеко?

— Невероятно далеко, — сказал Гамбрил.

— Благодарение Богу, — голосом умирающей набожно прошептала миссис Вивиш.

ГЛАВА XXII

Шируотер сидел на своем стационарном велосипеде, непрерывно нажимая педали, как человек в кошмаре. Педали были присоединены к небольшому колесу под столом, а обод колеса, вращаясь, терся о тормоз, приспособленный специально для того, чтобы сделать работу велосипедиста тяжелой, но не чрезмерно тяжелой. Из трубки, выходящей из-под пола, вытекала струйка воды, падавшей на тормоз и охлаждавшей его. Но никакая струйка воды не падала на Шируотера. Его дело было нагреваться. И он нагревался.

Время от времени его собаководный молодой друг Лансинг подходил и заглядывал в окошечко экспериментальной камеры — посмотреть, что творится внутри. Внутри этого деревянного домика, который мог бы напомнить Лансингу, если бы он отличался склонностью к литературным аналогиям, тот ящик, в котором Гулливер покинул страну Бробдиньянгов, творилось всегда одно и то же. Каждый раз, когда Лансинг заглядывал, Шируотер сидел на своем посту, в седле кошмарного велосипеда, и без конца нажимал и нажимал педали. Вода струилась на тормоз. И Шируотер потел. Большие капли пота сочились из-под волос, бежали полбу, повисали, как бусины, на бровях, попадали в глаза, скатывались по носу и вдоль щек, падали, точно капли дождя. Его толстая бычья шея была влажная, все его голое туловище, руки и ноги намокли и блестели. Пот лил с него, падал дождем на кусок прорезиненной ткани и стекал по ее складкам в большой стеклянный резервуар, стоявший под отверстием в центре ткани, там, где все складки сходились, как в фокусе. Автоматический терморегулятор, поставленный под камерой, поддерживал температуру на одинаково высоком уровне. Заглядывая в камеру через запотевшие стекла окошечка, Лансинг с удовлетворением отмечал, что столбик ртути неизменно показывал двадцать семь пять по Цельсию. Вентиляторы в стенках и в крыше камеры были открыты — в воздухе Шируотер не испытывал недостатка. В следующий раз, подумал Лансинг, они герметически закроют камеру и проверят, какое действие оказывает чрезмерное потевиеплюс легкое отравление углекислотой. Это было бы крайне интересно; но сегодня их интересовало только потение. Убедившись, что температура держится на нужном уровне, что вентиляторы открыты, как нужно, и что вода по-прежнему струится на тормоз, Лансинг стучал в окошко. И Шируотер, медленно и неустанно катящийся на велосипеде по своей

кошмарной дороге, поворачивал на звук голову.

— Ну как? — шевелились губы Лансинга, и его брови вопросительно подымались.

Шируотер кивал своей большой круглой головой, и капли пота, повисшие на бровях и усах, падали, как маленькие жидкие плоды от порыва ветра.

— Хорошо! — И Лансинг возвращался к своим толстым немецким книжкам у настольной лампы в другом конце лаборатории.

Постоянный, как температура, Шируотер медленно и неуклонно катился вперед. С небольшими короткими перерывами на еду и отдых, он катился с самого завтрака. В одиннадцать он ляжет на складную кровать, стоящую в лаборатории, а завтра в девять часов утра снова войдет в камеру и снова покатится дальше. Он будет ехать весь завтрашний день и послезавтрашний; и после этого, пока хватит сил. Раз, два, три, четыре. Катись, катись, катись... За сегодняшний день он проехал, должно быть, миль шестьдесят или семьдесят. Он подъезжает к Свиндону. Он почти у самого Портсмута. Кембридж и Оксфорд остались позади. Он скоро будет в Гарвиче, он катится по зелено-золотым долинам, где писал свои пейзажи Констебл. Он где-то в окрестностях Винчестера, у Чистой реки. Он минует березовые леса Арунделя и выедет к морю...

Во всяком случае, он далеко, он спасается бегством. А миссис Вивиш следует за ним, она неспешно идет за ним, покачиваясь, осторожно ступая между двумя пропастями. Катись, катись! Концентрация водородных ионов в крови... Величественно и спокойно смотрят ее глаза. Веки вырезаются арками на этих светлых кругах. Когда она улыбается, это похоже на распятие. Завитки ее волос — как бронзовые змеи. Ее неширокие жесты сдвигали со своих мест огромные куски Вселенной, и при слабом умирающем звуке ее голоса эти обломки обрушивались на него, Шируотера. Его мир не был больше безопасным, он больше не стоял на прочном фундаменте. Миссис Вивиш ходила среди развалин и даже не замечала их. Нужно строить все сызнова. Катись, катись! Мало того, что он спасается бегством: он еще приводит в действие строительную машину. Нужно строить, соблюдая пропорции. «В пропорции», — сказал старик. Старик появлялся посреди расстилавшейся перед ним кошмарной дороги; он сучил свою бородку. Пропорции, пропорции! Сначала была груда беспорядочно сваленных грязных камней; потом стал собор Святого Павла. Из этих обломков нужно построить жизнь, соблюдая пропорции.

Есть работа. И есть разговоры о работе и о теориях. И есть люди, способные говорить о работе и теоретизировать. С его точки зрения, это

было все, на что они способны. Ему придется выяснить, что они делают еще; это интересно. И ему придется выяснить, что делают другие люди; люди, не способные говорить о работе и не очень способные теоретизировать. Почки у них такие же хорошие, как у всех прочих.

И есть еще женщины.

На своей кошмарной дороге он оставался неподвижным. Педали вертелись под его ногами, пот градом катился с него. Он спасался бегством и в то же время приближался. Ему придется приблизиться еще больше. «Женщина, что мне до тебя?»

Ничего: слишком много.

Ничего. Он замуровывал ее в свою постройку, большая колонна рядом с колонной работы.

Слишком много — он спасался бегством. Если бы он не заключил себя, как в клетку, в эту камеру, он продолжал бы бегать за ней, продолжал бы — весь из обломков, разбитый и ненужный — бросаться к ее ногам. А она не хотела его. Но пожалуй, было бы хуже, пожалуй, было бы в тысячу раз хуже, если бы она захотела.

Старик стоял на дороге перед ним, он громко кричал, суча бородку: «Пропорции, пропорции!» Шируотер вертел и вертел ногами свою строительную машину, составляя отдельные части своей жизни, неуклонно, неустанно составляя из них единое пропорциональное целое, купол, который будет висеть, легкий, просторный и высокий, не опираясь ни на что, в пустом воздухе. Он вертел и вертел, спасаясь бегством, миля за милей, в усталость, в мудрость. Теперь он в Дувре, он катится через Ла-Манш. Он пересекает пролив, разделяющий две страны, и поту сторону его он будет в безопасности: дуврские утесы уже остались позади. Он повернул голову, точно для того, чтобы еще раз взглянуть на них; капли пота упали с его бровей, с отвислых кончиков его усов. Он отвернулся от голой деревянной стены и посмотрел через левое плечо. Лицо смотрело на него через наблюдательное окошко — лицо женщины.

Это было лицо миссис Вивиш.

Шируотер вскрикнул и сейчас же отвернулся. Он с удвоенной энергией заработал ногами. Раз, два, три, четыре — он бешено мчался по кошмарной дороге. Теперь она преследует его в галлюцинациях. Она преследует, и она настигает его. Так, значит, воля, мудрость, решимость и знание бесполезны? Остается только усталость. Пот стекал по его лицу, струился по зубчатому руслу спинного хребта, вдоль ключиц к тому месту, где сходятся ребра. Его набедренная повязка была мокра, хоть выжимай. Капли непрерывно падали на прорезиненную ткань. Икры и мускулы бедер

болели от усталости. Раз, два, три, четыре. Он сделал по сто оборотов каждой ногой по очереди. После этого рискнул еще раз обернуться. Он почувствовал облегчение и в то же время разочарование, когда увидел, что лица в окошке больше нет. Он заклил видение. Он снова принялся нажимать педали, но уже не так лихорадочно.

В пристройке к лаборатории животные, предназначенные для служения физиологии, были разбужены внезапно открывшейся дверью, внезапно вторгшимся светом. Морские свинки-альбиносы выглядывали из-за проволочной сетки своей конуры, и их красные глазки были, как задние огни велосипедов. Беременные крольчихи повылезали из своих углов и двигали ушами и тыкались дрожащими носиками в загородку. Петух, которому Шируотер привил яичники, вышел на середину комнаты, не зная, что ему — кукарекать или кудахтать.

— Когда он с курами, — объяснил Лансинг посетителям, — он думает, что он петух. А когда он с петухом, он убежден, что он курица.

Крысы, которых кормили молоком из лондонской молочной, вылезли из своего гнезда, нетвердо держась на ногах, с беспокойным голодным писком. Они тощали и тощали с каждым днем; через несколько дней они подохнут. Но зато старая крыса, сидевшая на диете деревенского молока сорта А, не потрудилась хотя бы шевельнуться. Она была жирная и гладкая, как бурый волосатый плод, созревший и готовый лопнуть. Для нее не существовало ни подкрашенной мелом водички, ни сушеного навоза и коховских палочек. Она каталась как сыр в масле. На следующей неделе, впрочем, судьба готовила ей заражение искусственным диабетом.

В своей стеклянной пагоде маленькие черные аксолотли, геральдическая эмблема Мексики, пресмыкались среди скудной травы. Жуки, у которых были отрезаны головы и заменены головами других жуков, неуверенно ползали взад и вперед; одни из них повиновались своим головам, другие — половым органам. Пятнадцатилетний павиан, омоложенный по Штейнаху, осветился электрическим фонарем Лансинга: он тряс прутья решетки, отделявшей его от голозадой бородатой юной красавицы с зеленой шерстью в соседней клетке. Он скрипел зубами, сгорая от страсти.

Лансинг раскрыл перед посетителями все секреты. Огромный, невероятный, фантастический мир открывался перед ними по мере того, как он говорил. Были тропики, были холодные моря, кишачие живыми существами, были леса, полные ужасных деревьев, тишины и мрака. Были ферменты и бесконечно малые частицы ядов, носящиеся в воздухе. Были левиафаны, кормящие молоком своих детенышей, были мухи и черви, были

люди, живущие в городах, мыслящие, познавшие добро и зло. И все непрерывно менялись, минута за минутой, и каждый, в силу какого-то немислимого колдовства, оставался все время самим собой. Все они были живы. А по другую сторону двора, в загоне, где спали или беспокойно двигались животные, в огромном госпитале, подымавшемся к небу, как прорезанный окнами отвесный утес, мужчины и женщины переставали быть самими собой и боролись, чтобы остаться самими собой. Они умирали, они цеплялись за жизнь. Другие окна выходили на реку. Огни Лондонского моста были справа, огни Блекфрайс-ского моста — слева. На противоположном берегу собор Святого Павла парил над землей, словно поддерживаемый лунным светом. Как время, текла река, безмолвная и черная. Гамбрил и миссис Вивиш облокотились о подоконник и смотрели в окно. Как время, текла река, неустанно, точно кровь из раны в теле Вселенной. Они долгое время молчали. Они смотрели, не говоря ни слова, через поток времени на звезды, на созданный человеком символ, чудесно повисший в лунном свете. Лансинг вернулся к своей немецкой книге: ему некогда было бессмысленно глазеть из окна.

— Завтра... — задумчиво прервал молчание Гамбрил.

— Завтра, — перебила миссис Вивиш, — будет таким же ужасным, как сегодня. — Она изрекла эти слова голосом умирающей, как истину из потустороннего мира, преждевременно раскрывшуюся ей, лежащей на смертном одре.

— Что вы, что вы! — запротестовал Гамбрил.

В своей термокамере Шируотер потел и нажимал педали. Теперь он был по ту сторону Ла-Манша: он чувствовал себя в безопасности. Но он все катился и катился: если он будет продолжать в таком темпе, к полуночи он достигнет Амьена. Он спасался бегством. Он спасся. Он строил прочный легкий купол своей жизни. «Пропорции, — кричал старик, — пропорции!» И купол висел, пропорциональный и прекрасный в темном страшном хаосе его желаний, крепкий и прочный и непоколебимый среди его разбитых мыслей. Темная река времени текла и текла.

— А теперь, — сказала миссис Вивиш, выпрямляясь и встряхиваясь, — теперь мы съездим в Хэмпстед взглянуть на Пайерса Коттона.

Примечания

1

Бакалавр искусств, воспитанник Оксфордского университета.

Магистр искусств.

Пародия на библейское: «Всякое дыхание да хвалит Господа».

4

Очень симпатичная (ит.).

5

Милое имя (ит.).

Начало молитвы «Тебя, Господи, хвалим» (лат.).

Благословен (лат.).

Risorgimento — «Второе итальянское Возрождение» — период с конца XVII века до освобождения и объединения Италии, то есть до середины XIX века.

Пий девятый (ит.).

Силлабус — список (лат.) — список осужденных церковью заблуждений, опубликованный Пием IX в 1864 году.

Самый фешенебельный ресторан в Лондоне.

Пьяццетта Джованни Баггиста (1683–1754) — венецианский художник.

«Кутила не спит целую ночь не только терпеливо, но и с охотою и удовлетворяет свое вожделение» (лат.).

«Часы слишком новые, времена слишком плохие, будем бдительны»
(лат.).

Стеатопигия («толстозадие») — ненормальное развитие ягодиц, наблюдающееся у некоторых диких племен Центральной Африки.

Украшенное цветами ложе Господа, ризница церкви, благозвучная кифара Господа, кимвал, славящий Христа, хранительниц;) тайн веры, молись о нас (лат.).

Бехистун — селение в Иране, знаменитое высеченными на скалах барельефами и клинописью, приписываемой Дарию I.

Patio — внутренний двор (исп.).

Филиппо Брунеллески (1377–1446) — итальянский архитектор и скульптор; считается первым архитектором эпохи Возрождения, потому что он один из первых начал изучать памятники античного (главным образом римского) зодчества и брать их за образцы. Самым знаменитым его произведением считают купол церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции, о котором говорит Гамбрил Старший. Его последователями были Микеланджело и Леон Баггиста Альберти (1404–1472), также широко пользовавшиеся римскими образцами. Виднейшим представителем этой школы в XVI веке был Андреа Палладио (1508–1580) В Англии увлечение древнеримской и итальянской архитектурой эпохи Возрождения было особенно сильным в конце XVII — начале XVIII века; главным представителем «итальянской школы» английских архитекторов является Кристофер Врен (1632–1723), строитель собора Св. Павла в Лондоне. Джованни Баттиста Пиранези (ум. 1778) прославился своими гравюрами, изображающими знаменитые архитектурные памятники, главным образом древнеримские и итальянские (эпохи Возрождения).

Слава Дижона (фр.).

Человек мыслящий — зоологическое название человека (лат.).

Дословно: «Суть слезы вещей, и мы меняемся в них» (лат.). Ср.
Горация: «Времена меняются, и мы меняемся в них».

Дословно: «Сколько людей, столько и приходится спорить» (лат.).

Одна из марок бургундского.

Это можно почувствовать, милый друг... объяснить этого нельзя (фр.).

Ростан Эдмон (1868–1918) — французский поэт-драматург, эпигон романтизма, автор сборника стихов «Пустые мечтания», драм: «Принцесса Греза», «Сираноде Бержерак» и др.

Сон, греза (фр.).

Кребильон-сын, Клод (1707–1777) — французский романист, прославившийся скабрёзностью своих произведений.

Человек в натуральном виде — это воняет. А человек а-ля Герберт Уэллс — это воняет недостаточно (фр.).

Недопустимо (фр.).

Как поживает Ваша Грозность? (ит.).

Евангельское изречение с заменю «скопцов» «бобрами».

Бобер (лат.).

Кишки в порядке? (фр.)

Жаренные в масле (фр.).

Верующие и выполняющие обряды (фр.).

Образцовый первозданный человек, не знавший грехов и болезней.

Прямая кишка (фр.).

Жареные почки (фр.).

Подруга моих бессонных ночей и моих довольно-таки грязных дней, которая не понимает по-французски, которая ненавидит меня со страстью, равной моей, и которая будет есть почки, чтобы оказать честь физиологу (фр.).

Святой Карл с четырьмя фонтанами (ит.).

О, варварство, варварство! (исп.)

Геродот рассказывает («История», II, 2), что египетский царь Псамметих, желая узнать, какой язык самый древний, отдал двух грудных детей на воспитание к немоу пастуху. Первое слово, произнесенное детьми, было «бёкос», что по-фригийски означает «хлеб»; из этого Псамметих заключил, что самый древний язык — фригийский.

Любимая ночь, ты — прекрасная ночь, о, успокой мое... (нем.)

Могу ли я надеяться? (фр.)

Прекраснейшая (ит.).

Я спрашиваю себя (фр.).

Помни о смерти (лат.).

Помни о жизни... «Будем жить, моя Лесбия, и любить» (лат.). Из известной элегии «К Лесбии» римского поэта I века до н. э. Каталла.

Какая аристократическая душа! (фр.)

Какой ужас! (фр.)

В стиле Людовика XV (фр.).

Раз мы дошли до этого, я должен предупредить вас без излишнего стыда, что мне не сравниться с графом S..., воспетым Казановой (фр.).

Намек на четвертую часть «Путешествия Гулливера»: Гулливер попадает в идеальное государство, где царят лошади, а люди («йэху») играют роль домашних животных.

Impasto (ит.) — густой слой масляной краски для достижения светового эффекта в живописи.

Искусствовед (нем.).

Бассано Якопо (1510–1592) — второстепенный итальянский художник, ученик Корреджо.

Дуччо ди Буонинсенья (ок. 1255–1319) и Симоне Мартини (1283–1344) — итальянские художники раннего Возрождения (т. н. «примитивы»).

Дурное место (фр.).

Стиль — это человек (фр.).

О, эти женщины... эти женщины! (фр.)

Непременное условие (лат.).

Обязательный (фр.).

Взгляд (фр.).

Вместо «fort» — сильным местом (фр.).

Из Рабле. В переносном значении — место всяческого материального изобилия.

Морис Баррес (1862–1923) — французский писатель; в юности проповедовал крайний эгоцентризм, а позднее, после империалистической войны, превратился в ярого шовиниста.

«Задиг, или Судьба», соч. Вольтера.

Чиппендейл и Хепплуайт — знаменитые английские мебельщики XVIII века, каждый из которых создал свой стиль.

Белое с черным. (фр.).

Доменико Цампьеро, по прозвищу Доменикино (1581–1641) — крупнейший представитель болонской школы; Никола Пуссен (1594–1665) — французский художник, глава классической школы.

Каприза (ит.).

Венского профессора Фрейда.

Импровизируя (ит.).

«Англия ждет, что сегодня каждый англичанин исполнит свой долг» — исторические слова адмирала Нельсона, сказанные им накануне битвы при Трафальгаре (1805).

Неизвестный (ит.).

Имеется в виду пожар 1666 года, когда сгорел почти весь Лондон.

Опыт учит (лат.).

Карла I, казненного во время революции 1649 г. Конная статуя его, работы Ван Дейка, стоит во дворе Виндзорского замка.

Я тоже? (ит.)

Здесь просят не плевать (ит.).

Членораздельно (лат.).

Невменяем (лат.).

По заключению (врача), выздоровеет через пять дней (ит.).

Выстрел из револьвера (ит.).

Это зависит (от обстоятельств) (фр.).

Реставрация — здесь имеется в виду период с 1661 по 1688 г., когда в Англии царствовали Стюарты, лишённые трона Кромвелем во время первой английской революции. Этот период характеризуется падением нравов английского общества (безудержная роскошь, кутежи, разврат).

Дай мне руку, Скажи мне да, Идем, здесь недалеко, Отправимся, милая, отсюда (ит., из оперы «Дон-Жуан» Моцарта).

Хочу и не хочу, сердце мое трепещет (ит.).

Счастлива, я знаю, буду (ит.; оттуда же).

Буквально — сухой сад (лат.); синоним гербария.

Будем жить, моя Лесбия (лат.).

Счастливой, я знаю, буду; Бей же, бей, прекрасный Мазетто (ит.), из оперы «Дон-Жуан» Моцарта, ария Церлины.

Слова Гамлета об актере: «Что он Гекубе? И что она ему?»

Безнадежные песни — самые прекрасные, и я знаю бессмертные (песни), которые одно сплошное рыдание (фр.). Стихи Мюссе.

Цитата из «Отелло» (ревность— чудовище с зелеными глазами).

Это очень изящная гимнастика. И к тому же это развивает таз (фр.).

Какой таз! (фр.)

Цитата из элегии Мильтона «Лисидас».

Джордж Голвин (1860–1904), по сцене Дан Лено — известный английский комический актер.

Гетайра — греческое произношение слова «гетера».

Паоло и Франческа да Римини — в Дантовом «Аде» — жертвы чистой, но незаконной любви.

Прославившаяся в 90-х гг. XIX в. красавица, аристократка, балерина брюссельского театра, отвергшая предложение стать женой короля.

Пить! пить! (фр.)

Жизнь моя, я тебя люблю (греч.).

Юность, юность, весна красоты (ит.).

Уильям Хогарт (1697–1764) — английский художник-карикатурист, прославившийся своими картинами, бичующими распущенность высшего общества того времени.

Супруг королевы Виктории, законодатель мужских мод и изысканного вкуса.

«Право первой ночи» (лат.), или «Право господина» (фр.).

Бог и мое право — господина (фр).

Точные слова (фр.).

Vomitorium — «изрыгалище» (лат.).

Кай Петроний — римский писатель времен Нерона, прозванный «арбитром элегантности».

Мания величия (фр.).

Ужасы (ит.).

Шарль Кондер (1868–1909) — французский художник-миниатюрист, специальностью которого была разрисовка вееров. Мари Лорансен — французская художница, подражающая в своих картинах неумелым детским рисункам.

Одним словом, что мое жилище находится действительно (фр.).

Поэтическое неистовство (лат.).

Галантный мужчина (ит.).

120

Друзья, подруги (фр.).

От всего сердца (фр.).

«В сторону Свана», первый том «В поисках утраченного времени»
Пруста.

123

До скорого свидания, моя подруга (фр.).

Приблизительно: «Задний ум галантных женщин» (фр.).

Значит, не для меня любовь и твоя красота. О жестокий рок, о злая ирония судьбы, о горькая участь! Если в твоём сердце умерла жалость, это значит, что мой низкий гений умеет пробудить его, лишь умертвив (ит.).

Как в Евангелии из прободенного бедра Христа.

О снeдь червей, о гpyда праха! (лат.)

В натуральном виде (фр.) — поварской термин.

Любовь (лат.).

Целомудрие (лат.).

Ричард Нэш — английский законодатель изящного вкуса начала XVIII века.

Такова жизнь (фр.).

Пьеро делла Франческа (ок. 1420–1492) — итальянский художник Умбрской школы.

Наших дней (фр.).

Подделка (нем.).

Нальем полные чаши благородной влаги (ит.).

«И все-таки вертится» (ит.) — слова Галилея.

Поэт (ит.).

«Вечерний вестник» — итальянская газета.

Цветочки (ит.).

Из-за слуг (фр.).

Обычного вина (фр.).

Которые читаем... сидя в уборной (лат.).